

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита

редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова

Верстка: О. Н. Вялкова

**12/2018**

## Содержание

### ПРОЗА

<b>Руслан ОМАРОВ. В тени капустного листа.</b> Рассказы. ....	3
<b>Георгий КУЛИШКИН. Сила жизни.</b> Рассказы. ....	24
<b>Сергей СЛЕСАРЕВ. Дурная война.</b> Рассказ. ....	37
<b>Леонид ШОР. Дядя Сергей.</b> Рассказ. ....	47
<b>Полина ДЕЛИЯ. Любовь, это вы?</b> Рассказ. ....	77
<b>Сергей ЛУЦКИЙ. Десяток ротанов на японской леске.</b> Рассказ. ....	88
<b>Мария БУШУЕВА. Кукольная старушка.</b> Рассказы. ....	98

### ПОЭЗИЯ

<b>Дмитрий ИСАКЖАНОВ. Сны с четверга на пятницу.</b> Стихи. ....	14
<b>Олег ХЛЕБНИКОВ. «...С миром расставаться не обязан».</b> Стихи. ..	34
<b>Ганна ШЕВЧЕНКО. Городские сезоны.</b> Стихи. ....	43
<b>Кристина КАРМАЛИТА. Место теней.</b> Стихи. ....	74

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

<b>Александр ФОМИЧЕВ, Роман ЯКОВЛЕВ. Путешествие сибирских зоологов в Ирак. Окончание.</b> ....	115
<b>Руслан ИЗМАЙЛОВ, Светлана КЕКОВА. Крест и звезда. Духовные смыслы русской поэзии XX века.</b> ....	139
<b>Екатерина ГИЛЕВА, Александр ГИЛЕВ. Ехать до тех пор, пока не кончится материк.</b> ....	152

### КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<b>Михаил ХЛЕБНИКОВ. «Продолжал отстаивать свои ошибочные взгляды...» К истории одного забытого романа.</b> ....	160
--	-----

#### *Картинная галерея «Сибирских огней»*

<b>Сюжет во времени. Беседа с художником Михаилом Омбыш-Кузнецовым.</b> ....	178
--	-----

<b>Содержание журнала за 2018 год</b> .....	187
---	-----

<b>Авторы номера</b> .....	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Руслан ОМАРОВ

## В ТЕНИ КАПУСТНОГО ЛИСТА

Р а с с к а з ы

### Атаргатис

Позднесоветский мистицизм, насколько я его застал, представлялся мне неряшливым в своей эклектичности. С одной стороны, марксистские жрецы окружили свое учение таким количеством кривых зеркал, что уже сами с трудом угадывали в получившемся нагромождении отражений прежний Трехначальный Завет. С другой стороны, вихри пятилеток окончательно похоронили его здание под налетом хаотических культовых рецепций. Никто ни во что толком не верил уже и при Леониде Полиастре, а когда он вознесся, краткие царствования следующих басилевсов окончательно смутили партийные умы. В провинциальных кабинетах зажили автохтонные идолы, из-под ленинских скрижалей робко выглянули иконные лики, и золотые корешки по-новому замерцали в огне зороастрийских лампад. Сейфы-божницы наполнились трехглазыми лягушками и жуками-скарабеем, а референтуры — диковатыми бородачами с дипломами истфака МГУ (мне почему-то казалось, что от них пахнет влажным пеплом). Словом, всюду были болезненные признаки упадка веры.

В это время в Согдиане раскопали остатки полиса и крошечный храм Атаргатис, сирийской богини плодородия. Из одного Междуречья она перекочевала в другое, неся свои кормящие груди и рыбий хвост сквозь земли и народы. Люди награждали ее новыми именами и сооружали ей священные пруды под каменными сводами. Она пришла сюда так же, как и сотни иных, уже забытых богов, — в военных повозках. Глубокая благодатная долина лежала на перекрестье торговых путей. За три тысячи лет она, как женщина, покорялась шести империям: персидской, македонской, арабской, монгольской, тюркской и советской, которая теперь отправляла отсюда легионы своих трудящихся за Гиндукуш — искать воды Ганга. Атаргатис пережила их все, стоя в темноте и улыбаясь в пустоту запечатанного святилища, где даже кости посвященных ей рыб давно обратились в прах.

Когда рабочие из экспедиции разобрали кладку, они увидели ее и пали ниц. Но не перед самой богиней, а перед грудой сокровищ, лежавших в пыли высохшего водоема. Тирские статеры и коринфские драхмы, хорезмские динары и византийские силиквы усеивали мозаичное дно, пересыпанные жемчугом, самоцветными кольцами, зернами нефрита, необработанными изумрудами. Странные китайские и индийские монеты соседствовали тут со скифскими подвесками из чистого золота и римскими геммами, вырезанными из розовых раковин Средиземноморья. Люди разных сословий веками приносили их сюда, чтобы бросить в пруд. И, конечно же, больше всего было достояния бедняков — зеленой меди, уже давно спаянной в безобразные комки, поглотившие лики царей и сатрапов. Ценность клада для науки была столь же велика, сколь и опасна. Пожилой профессор, увидев все это, слег в черной меланхолии, ибо сразу понял, что ждет находку...

— Всё растащат, — зло сообщил мне его сын, когда мы вместе гуляли в школьном саду на большой перемене. — Понаедут начальники, секретари и председатели. Каждый возьмет себе, что захочет. Как им отказать?!

— Никак, — согласился я, сразу вспоминая своих родственников. — Послушай, пока всё не разворовали, давай отправимся туда на выходные? Я на два дня попрошу у бабушки машину и кого-нибудь из взрослых. А, Дим?

Он посмотрел на меня мрачно и недоверчиво. Мы не были особенно близки: Дима учился с нами всего год, переехав из-под Москвы. В отличие от большинства одноклассников, его не ждали после уроков терпеливые шоферы в лаковых «Волгах», а всю обстановку родительской квартиры, предоставленной музейным главком, составляли книги. Он колебался, в нем боролись гордость и желание повидаться с отцом, которого он не видел с начала сезона. Наконец он нашел ненадежный компромисс, усмехнувшись:

— Там ведь в палатке придется спать, Омаров. И есть с рабочими.

— По-твоему, я в походы не ходил, что ли? — вяло возмутился я, отводя глаза.

Мы отправились в путь утром. Стояла поздняя весна, мы оделись легко, но Дима зачем-то еще повязал поверх рубашки пионерский галстук. Это было трогательно и немного смешно, ведь уже в ноябре нам предстояло сменить эти детские *ridicules de rouge*<sup>1</sup> на строгие комсомольские значки. Я удивленно посмотрел на него, однако промолчал. В Диме всегда было нечто такое, что взывало к товарищеской деликатности. Не зная, куда себя деть, я повозился на сиденье и сказал нарочито безразлично:

— Между прочим, нам палатку дали с собой. Шведскую... Гляди, вон ее в багажник грузят.

Но Дима даже не обернулся.

Раскопки и лагерь показались уже затемно. Никаких рабочих я не увидел. Вместо них всюду бродили осанистые мужчины в дорогах

<sup>1</sup> Здесь: красные нелепицы, мишура (фр.).



летних костюмах, с шакальным прищуром во взглядах. Дима прикусил губу и хотел было искать отца, но мы сразу же столкнулись с моей кузиной. Я отчего-то заранее знал, что увижу ее здесь, среди прочих высоко-рожденных мародеров. С ней была обычная свита: угрюмый диссидент, пророк гибели нашей империи; полковник-генштабист, в прошлом году устроивший для меня танковые стрельбы; пара неразлучных жожаков ВЛКСМ и еще какие-то бесцветные поклонники из Внешторга и Минкульта. Кузина смеялась, запрокидывая голову в тропическом шлеме. Вечерний ветер в конце концов сорвал с него шелковую ленту, и этот трофей Зефира сейчас же бросились ловить несколько мужчин, мешая друг другу.

— Ах, что за встреча! Кто твой друг? — спросила меня кузина, ласково взяв Диму за подбородок. — *Mon Dieu, il est beau, je vais le croquer!*<sup>2</sup>

Все засмеялись, а Дима сухо произнес, тщательно пряча неприязненное смущение:

— *Vous êtes trop bonne, mademoiselle...*<sup>3</sup>

— Ребенок находит меня доброй! Жаль, мы уже не познакомимся...

Нам пора, товарищи!

Полковник приподнял увесистый портфель, в котором что-то воровски звякнуло, а я заметил на кухне браслет тонкой чеканки с темно-золотым меандром. Этот орнамент, должно быть, помнил еще руки ремесленников, пришедших сюда вслед за фалангами Селевка. Я побоялся взглянуть Диме в лицо.

Под штабным тентом толпились люди, но путь к ним стерегли милиционеры:

— Мальчики, вы куда? Нельзя! Внутри инструктор ЦК!

Человек, посланный бабушкой, наклонился к уху сержанта и что-то пролаял. Тот отпрянул, освобождая дорогу, и мы вступили под брезент. Драгоценности рассыпаны были по столам, их сортировали и заносили в реестры подобно полицейской добыче. Димин отец, похожий на провинившегося ученика, стоял перед высоким сановником, а подле них сутелся помощник самой подлой наружности с рдяным вымпелом на пиджачном лацкане:

— Эти шекели с сионисткой менорой, что вы нашли... Вы должны понять, они никак не могут фигурировать в официальном каталоге. Не дай бог, попадут в зарубежные издания! *Absit omen!* Чур меня! Вы понимаете, что тогда будет? Это станет орудием реакции. Запомните, нет и не было никогда торговых путей из Израиля в Среднюю Азию... Особенно сейчас, и уж тем более через Афганистан!

— Конечно, — глухо согласился профессор и отвернулся, чтобы внезапно столкнуться взглядами с сыном.

Что-то настолько электрическое пробежало между ними в душном воздухе, что даже деловитые люди за деревянными столами на мгновение умолкли, а Дима, не сказав ни слова, вышел вон.

<sup>2</sup> Что за прелесть, так и хочется укусить! (фр.)

<sup>3</sup> Вы слишком добры, мадемуазель... (фр.)

Я едва догнал его у спуска к храму.

— Дим! Погоди! Дима, ну хочешь... я отберу у них это дурацкое серебро?

Ловя его за рукав, я сам понимал, что вряд ли смогу заставить инструктора ЦК пойти против громоздкой имперской шизофрении, так что слова мои были, в сущности, беспомощны. Но я не мог забыть, как он смотрел на отца.

— Не надо, — откликнулся Дима. — Пойдем лучше туда...

Ограбленная, уже никому не нужная богиня одиноко стояла у своего пруда, в нише меж двух колонн. Разноцветная смальта с них давно осыпалась. Дьяконы из комитета партийного контроля расчертили стены сакральными знаками и защитным кольцом развесили вокруг пруда кумачовые транспаранты. Каменные глаза Атаргатис укоризненно глядели на эти пентаграммы, на оставленный рабочими шанцевый инструмент, на электрические кабели, бегущие по полу ее святилища черными змеями. Дима выпрямился прямо перед ней, а я не дошел двух шагов. Скульптор вытесал ее из целого куска желтого песчаника. Росту в ней было немного, она напоминала русалочку, застигнутую врасплох и тут же брошенную ордой торопливых насильников. Завтра ее, наверное, вырубят из ниши и увезут в спецхран. Мы с Димой были последними, кто навестил Атаргатис в ее разоренном доме.

— Знаешь, — странным голосом сказал Дима, — отец мне рассказывал, что обычай бросать монеты в воду пошел от нее. Она ведь не всегда была такой, в Месопотамии ее называли Иштар и поклонялись ей как земной манифестации любви. Помоги-ка мне...

Он потянул за конец галстука и снял его с шеи. Затем, опираясь на мою руку, взобрался в нишу, где обвил вокруг шеи Иштар эту мятую ленту из дешевого ацетатного шелка, а углы бережно утопил меж двух каменных грудей. Наблюдая за ним расширенными глазами, я понял, что в этом не было ни единой капли глумливости или шутовства. Он вел себя так, как будто священнодействовал, но смысл происходящего ускользал от меня. Сначала я подумал, что это нечто вроде искаженной церковной инвеституры и он так возводит ее в достоинство очередного пионерского кумира-мученика. Но когда Дима спустился и обернулся посмотреть на свою работу, мне стало пронзительно ясно: он делал то же самое, что до него тысячи и тысячи паломников — совершал жертвоприношение! Ведь ему, в сущности, нечего было подарить богине, кроме одного — собственной детской невинности, с которой нам всем предстояло расстаться уже очень и очень скоро, в то время как она сохранит ее навсегда.

Не зная, что добавить от себя к этому таинству причастия, я вскинул ко лбу развернутую ладонь — в несмелом салюте. Дима кивнул, как будто ждал именно этого.

— А теперь, Омаров, — позвал он меня, — пойдем ставить твою шведскую палатку.

## Метаморфозы

Двоюродный мой дед был черный колдун и философ, во время оно насадивший в Средней Азии целый лес человеческих костей. Насытившись и выйдя в золотозвездную отставку, он посвятил себя комментариям к Апулеевым «Метаморфозам», надеясь, вероятно, стяжать лавры Джона Ди<sup>4</sup>. Между прочим, из-за своего увлечения герметизмом он слыл среди искушенных генералов МГБ столь безобидным чудачком, что мало кто обратил внимание, с каким балетным изяществом он предал сначала абакумовцев игнатъевцам, затем игнатъевцев — Берии, а после Берию и Кобулова — Хрущеву. Помимо точного аппаратного чутья он также обладал особнячком с обширной библиотекой, коллекцией бриллиантовых орденов и в свои восемьдесят лет легко говорил на трех языках и музицировал на флейте. Никто в нашей семье его не любил, а привратник (хоть и сдирал почтительно с головы кепку) трижды плевал через левое плечо, когда отворял для него калитку.

Однако дед частенько навещался к нам в гости. Стуча палкой, он входил ко мне в комнату, зубасто улыбался и вручал мне всякие мрачные диковинки: то обломок спутника со следами клыков, то мятую серебряную пулю — память о коллективизации, то пергамент с татуированной звездой из кожи какого-то командарма. Дед обожал меня, потому что родных внуков у него не было. Да и детей, мне кажется, тоже... Все эти странные артефакты, чтобы его не обидеть, я брал, но складывал в глухой ящик и тщательно запирали на замок. Затем дед усаживался в кресло и начинал рассказывать о способах превращения человека в осла. Этих трансмутаций, внимательно читая Апулея, он вычислил великое множество. К самым простым и массовым он относил лишение человека языка.

— Как это? — содрогался я. — Отрезать всем языки?!

— Ну что ты, дурашка... — гладил он меня по голове железными пальцами и смеялся так добродушно, что всякий мальчик бы догадался: случалось в его лубянской практике и такое. — *D'une autre manière, mon confiant fils...*<sup>5</sup>

И он пояснял, каким именно «другим» способом это достигается.

Руководствуясь постулатами марксистского учения о лингвистике, дед, вслед за Корифеем Всех Наук, считал, что речь — основа сознания. Трудно сказать, разделял ли дед еретические мысли Марра<sup>6</sup> о классовом протоязыке и «трудовых выкриках» или отрекся от них после мудрой статьи товарища Сталина, но выступал он явно с позиции диалектического синтеза. Если, говорил дед, человеку дать язык примитивный и безыскусный, с минимумом синтаксиса и морфологии, то человек становится послушен простым выразительным приказам. А если еще и грамотно

<sup>4</sup> Джон Ди (1527—1608) — английский ученый, изобретатель, герметист, астролог и каббалист, известный также своими исследованиями трудов античных авторов.

<sup>5</sup> Другим способом, мой доверчивый мальчик... (фр.)

<sup>6</sup> Марр Н. Я. (1864—1934) — российский и советский востоковед и кавказовед, создатель одиозной «яфетической теории», в которой он пренебрегал генетическим родством языков, выдвигая на первое место их «социально-классовую общность».



перепутать семантику, то управлять им будет и вовсе детской забавой. Хорошо подходят для этого вида колдовства всевозможные хтонические аргы, вроде блатной фени. В годы Великого Строительства — млея, вспоминал он Беломорканал — 58-ю статью в бараках нарочно смешивали с уголовниками, соблюдая точнейшие алхимические пропорции. Перекованная советская интеллигенция намертво пропитывалась жаргоном рабов и преступников и — на манер раковой опухоли — заражала им собственное представление о мире на многие поколения вперед. Основа подземного языка — безысходность и фатализм вечного заключенного! В результате все, что относилось к свободе воли, подменялось блистательной нижепоясной софистикой, убедительной в своей глумливости.

Этим некромантским подвигом дед гордился особенно, изучая современное население империи и находя в самых просвещенных ее представителях родовые признаки рабства и недоверия друг к другу, которые ему удалось встроить в коллективное бессознательное. Думаю, что обновленный мир, населенный покорными кадаврами, из всех своих подарков мне он считал самым ценным...

Захлопнув книгу памяти, дед, скрипя суставами, поднимался из кресла. В это время такая же старушка, ровесница века, приходила в наш дом, чтобы заниматься со мной французским. Давно изуродованными пальцами правой руки она сжимала томик Лафонтена или Беранже.

Дед ронял голову в галантном поклоне и скалился:

— *Chère Madame, vous ne vous souvenez pas de moi?*<sup>7</sup>

— Кто тебя, начальник, забудет, — суеверно отшатывалась от него старая октябристка, — тот ночью в абвере погаснет<sup>8</sup> и солнца не увидит...

— *Tès bien...*<sup>9</sup> — довольно подмигивал дед и уходил с торжественным боем часов, отмечавших полдень.

— Надежда Пална, — возмущался я, — почему же вы просто не дадите ему по морде?!<sup>10</sup>

— Не будем об этом... — строго отвечала она. — На чем мы вчера остановились? «*Le Loup et l'Agneau*»<sup>10</sup>! И так...

Я покорно вздыхал:

— «*La raison du plus fort est toujours la meilleure...*»<sup>11</sup>

## В тени капустного листа

Посередине урока математики Оскар Янович угощал меня гренками с повидлом.

Сперва он дожидался, пока я — в иконописной скорби — не извлеку наконец корни какого-нибудь простенького полинома. Затем протягивал над столом длинную руку и указательным пальцем подкидывал

<sup>7</sup> Вы не помните меня, сударыня? (фр.)

<sup>8</sup> *Абвер* (жарг.) — оперчасть в местах лишения свободы; *погаснуть* (жарг.) — быть жестоко избитым, замученным до смерти.

<sup>9</sup> Прекрасно... (фр.)

<sup>10</sup> «Волк и ягненок» (фр.), басня Ж. де Лафонтена, известная в пересказе И. А. Крылова.

<sup>11</sup> «У сильного всегда бессильный виноват...», букв.: «Прав тот, кто сильнее» (фр.).



обложку моей тетради. Тетрадка захлопывалась. Посмеиваясь и посма-  
тривая на меня, Оскар Янович проворно собирал в стопку желтый задач-  
ник Сканави и справочники. Очки он сбрасывал на кончик носа и, встав  
из кресла, становился похожим на долговязую птицу. Тень его дважды  
ломалась, падая на книжную полку за спиной и часовой циферблат. Усы  
топорщились.

— Теперь у пана есть пара минут, — сообщалось мне, — чтобы при-  
вести в порядок прическу. Слишком заметный след оставило на ней по-  
следнее интеллектуальное усилие... Несомненно отчаянное, но, увы, бес-  
плодное.

Вслед за этим Оскар Янович уходил из комнаты, величественный  
и всемогущий, словно шахматный ферзь, оставляя меня в растерянном  
одиночестве.

Так произошло и сейчас.

— Почему снова «бесплодное»? — вздохнул я.

— Потому что это уравнение вещественных корней не имеет, — до-  
неслось из крошечной кухни, где булка уже тонула во взбитом яйце и тре-  
щала накаленная просторная сковорода. — Для чего, скажите, мы только  
что обсуждали теорему Безу и линейные множители? Но гды ще человек  
спешы...

— ...то ще дьявол щеше<sup>12</sup>, — послушно отозвался я, потому что  
за целое лето успел выучить этот приговор наизусть. — Оскар Янович,  
а можно я Честертона пока почитаю?

— Зачем пан спрашивает, если, я уверен, он давно сидит с книгой  
на подоконнике? Но умоляю, осторожнее с капустой!

В глиняном горшке у Оскара Яновича росла декоративная капуста  
хрупкого кораллового цвета, которую он надеялся высадить в осеннюю  
клумбу. Я пощекотал капустный лист. Он был шелковист и упруг, и целое  
семейство таких же раскинулось для солнечной ванны посреди живой  
изумрудной тарелки. Они напоминали лотос. Моей ладони было тепло  
в их тени рядом с полуоткрытой в сад оконной створкой.

Луч света проникал в хозяйскую комнату вкрадчиво, будто в часов-  
ню, и я хорошо понимал почему. Все здесь подчинялось какой-то зага-  
дочной и строгой торжественности: готический геометризм кресельной  
спинки, упорядоченность книжных томов, глянец начищенных половиц  
и белизна вышитой салфетки, украшавшей секретер. Даже охотничья  
сцена на старом холсте хотя и встречала зрителя пестротой костюмов  
и барочной беззаботностью поз, но постепенно увлекала в столь правиль-  
ную и симметричную перспективу, что хотелось заглянуть за подрамник  
и убедиться, не прячется ли там пара хитрых зеркал. Однако я знал, что  
никаких зеркал с изнанки нет. Этот холст, семейную ценность, привезли  
Оскару Яновичу мы с отцом, когда по случаю навещали его девяносто-  
летнюю сестру в Познани. Самого Оскара Яновича за границу отчего-то  
не выпускали.

<sup>12</sup> Когда человек спешит, дьявол радуется (польск.).

— Как поживает отец Браун? — спросил он, вернувшись в комнату с подносом в руках, и я соскочил с подоконника, чтобы помочь.

— Про отца Брауна я уже прочел. Здесь о Хорне Фишере, но всего шесть рассказов. Сплошная политика.

— Вот как? Значит, Уайтхолл, клубы в Ковент-Гарден и тихие пикники в Кенсингтоне. Неужели там все-таки что-то происходит?

— Корни заговора тянутся на самый верх! — отчитался я.

— Когда нечто подобное случается с корнями, — добродушно заметил Оскар Янович, погладив фарфоровый чайник, — есть повод задуматься, не так ли? Советую тебе еще «Человека, который был Четвергом». Кстати, о корнях! Когда, скажите на милость, пан перестанет витать в облаках? В наказание он мне докажет, что в каждый треугольник можно вписать окружность, и притом только одну.

— Как?!

— Да, Езус, Мария и Иосиф, как угодно. И нечего изображать страстотерпца! Молодой человек, входя в общество, должен уметь *rouge le plaisir*<sup>13</sup> доказать какую-нибудь элементарную теорему, вроде этой. При случае и чтобы не показаться совсем уж деревенщиной. Почему? — спросил он, вручая мне тарелку с гренком, и ответил сам себе: — Потому что джентльмена, помимо иных достоинств, отличает безукоризненная научная картина мира... Пусть даже ошибочная.

— Ошибочная? А что не так с окружностью? — удивился я, надкусывая гренок и надеясь на забывчивость Оскара Яновича.

— Зависит от мерности евклидова пространства. Возьмем, к примеру, нечто сферическое, наподобие капустного кочанчика. С ним могут происходить совершенно непредсказуемые вещи, стоит бросить его в измерение выше привычного третьего.

— Например? — прекратил я жевать.

— Например, расположившись в пятимерной метрике, он достигнет высшей точки своего численного объема, а затем внезапно начнет худеть. Шестимерный кочан вмещает меньше пятимерного и так далее, а двадцатимерный обращается практически в ничто. Никакого respectable содержания! Пуфф! — Оскар Янович втянул щеки и стал похож на удивленную усатую рыбу. — Ты слышал что-нибудь более нелепое? В обществе могут счесть подобное поведение возмутительным и даже вызывающим, но за него отвечает Эйлерова гамма-функция, и с этим ничего не поделаешь. Как площадь поверхности, так и объем эн-гиперсферы единичного радиуса стремятся к нулю с ростом величины «эн». Жить с этим — все равно что родиться в Шропшире! Вот почему капустный кочан никогда не будет принят в салоне на Риджент-стрит!.. Чему ты улыбаешься?

— Не могу себе представить двадцатимерный кочан капусты, — признался я. — И даже четырехмерный. Хотя...

Я задумался, воображая надменного дворецкого, возвращающего визитную карточку унылому капустноголовому коротышке. «Увы, сэр,

<sup>13</sup> Забавы ради (фр.).

сегодня миледи никого не принимает. И завтра, сэр... Боюсь, вы снова не вовремя, сэр!» Я захихикал.

— Хотя погодите! Четвертое измерение — это же, кажется, время!

— Ради физического натурализма можно согласиться и с такой формулировкой.

— А что же тогда пятое?

— Положим, что это время, которое проживает само время, — пожал плечами Оскар Янович и отставил чайную чашку. — Вспомним Льюиса Кэрролла и его «Алису». Кто устроил для Болванчика, Мартовского Зайца и Сони безумное чаепитие? Старик Время! Но таким ли сварливым был этот почтенный джентльмен в молодости? А чем он занимался, будучи мальчишкой вроде тебя?

— И чем? — Я оперся щекой о кулак, преданно уставившись на Оскара Яновича.

— Разумеется, он, как и ты, воображал, что хитрее старого польского профессора, который, болтая про топологические обобщения, забыл о недоказанной теореме. Поэтому вернемся-ка, пан, на обычную евклидову плоскость и начнем сначала.

## Обманщик

В дни Сатурналий народ и Сенат роднились в одном торжественном союзе. Даже рабы надевали шапки вольноотпущенников и сажались за стол с господами. Традиция эта не умерла, она — сбрасывая кожу за кожей — змеей проползла столетия господства и рабства, чтобы однажды, в первой декаде мая, привести меня в громадный парк, где гладкощекие партсекретари лобызали морщинистых пролетариев в табачные уста. Праздновалась годовщина окончания большой войны. Детей из обоих миров для такого случая нарядили в парадную пионерскую форму и собрали на одной летней сцене. Оттуда мы нестройно пропели славу погибшим. После концерта меньшинству из нас предстояло вернуться в свои прохладные особняки, а большинству — в душные коммунальные ульи. Но еще несколько часов нам разрешалось провести вместе.

В парке был укромный фонтанчик — несколько величественных дубов куполом разбрасывали над ним могучие ветви. Островки солнечного света гипнотически вспыхивали и гасли в их кронах. Здесь же стояла скамья из черного камня. Я сбежал от родственников, чтобы отдохнуть на ней, вслушиваясь в шепот воды. Скамья однако оказалась занята. Незнакомый мальчик моего возраста сидел перед фонтанчиком и раскрытым ножом чертил на песке сложный круг из переплетенных знаков. Мне показалось, что я уже видел его раньше среди хористов из простонародья.

— На что это ты уставился? — спросил мальчик.

Я почувствовал себя глупо и поэтому просто пожал плечами:

— Не знаю... А что ты тут чертишь?

— А-а-а, это... Это гальдрастав<sup>14</sup>, вязь рун. Вегвисир, Бремя Пути и Встречи. Когда один одноглазый надувала пройдет этой вот тропинкой, — он указал острием ножа на цветочную арку, — он заметит знак и заберет меня с собой.

— О ком это ты?

— У него много имен, — сказал мальчик. — Всеотец, Высокий, Подстрекатель Битвы, Обманщик, Копьеносец... Еще его называют Повешенным, потому что он как-то девять дней подряд болтался в петле на дереве. С ним два ворона и два волка. Неужто ты раньше не слышал о нем? В такие дни он всегда ходит среди живых, чтобы напомнить о мертвых. Хотя тебе-то какая разница?

Мы обменялись взглядами. Он с усмешкой осмотрел мою белую пару с витым аксельбантом и галстуком тончайшего шелка, а я, стесняясь сам не зная чего, — его стоптанные ботинки и грубую штопку на воротнике.

— И почему ты хочешь с ним уйти?

— Потому что здесь с вами, паразитами, жизни никакой не стало, — ответил он.

— А... твои родители?

— Я детдомовский, — равнодушно сказал мальчик и вдруг встрепенулся: — Молчи. Вон он!

В проеме между кустов вдруг явился сутулый старик. Столь же трафаретно-тусклый, как и сотни других обезличенных войной и миром ветеранов, что бродили здесь по парковым аллеям под бдительным оком комсомольских надзирателей. Правда, росту в нем обнаружилось немало, особенно когда он выпрямился, отодвинув рукой ветку. Вместо одного глаза у него на лице лоснился застарелый шрам. Я заметил на нем грязный пиджак с облупившейся орденской планкой и фетровую шляпу, а в руках — палку или высокую трость. Мальчик встал старику навстречу и молча, не оглядываясь, пошел с ним рядом. «Какая чушь, — подумал я. — Это же просто-напросто его дед. Все он врал мне тут, голодранец несчастный, а я и уши развесил!»

Однако, подчиняясь непонятному инстинкту, зашагал вслед за ними.

Парк был достаточно протяжен, чтобы наш путь затянулся надолго. Он пролегал внутри архипелага человеческих островов. Солдаты старой войны, вытягивая черепаши шеи, толпились вокруг безразличных активистов со сборными табличками в руках. Хищноглазые дружинники кружили рядом, словно пастушьи овчарки. Мне показалось, что раньше на таких табличках писались номера полков, затем дивизий, а нынче — уже только фронтов. Ветеранов становилось все меньше, ковш государственной машины вычерпывал их с самого дна жизни, чтобы раз в году осыпать дешевыми почестями. Дед с мальчиком лавировали в толпе, постепенно удаляясь. Они свернули с главной аллеи и спустились по широкой лестнице. Где-то отрывисто рявкнул медью невидимый оркестр, я запнулся на ступеньке и еле удержался на ногах.

<sup>14</sup> Гальдрастав — средневековый исландский магический знак в виде переплетения рун.

Когда я поднял глаза, то увидел, что людей вокруг стало много больше. Среди нарумяненных стариков тут и там теперь попадались изможденные молодые мужчины, похожие на туберкулезников. Некоторые из них носили выцветшие гимнастерки и даже шинели, кто-то держал в руках оружие. Я решил, что это участники какого-нибудь театрализованного ритуала, потому что они, нигде не задерживаясь, шли и шли сквозь людей. Помотав головой, я поймал себя на странном чувстве, будто наблюдаю на экране две пленки, наложенные одна на другую. Однако поток этих пришельцев уплотнялся, густел и скоро заслонил от меня сам парк и его звуки. Они медленно, но неуклонно брели туда, где вдалеке деревья смыкались над асфальтом в подобие змеиной пасти. Мне вдруг стало страшно оставаться среди них...

— Зачем ты, смертный, идешь за нами?

Это спросил старик. Я налетел на них внезапно, действительно совершенно забыв, зачем и куда направляюсь. Мальчик стоял рядом с ним, держа его за руку. Я понял, что колени у меня трясутся, но тем не менее собрал в груди сгусток номенклатурной спеси и сказал здорово осипшим голосом:

— Иду куда хочу, товарищ! Прочь с дороги!

— Нечего тебе тут делать, — покачал своей нелепой шляпой Повешенный, переглянувшись с мальчиком. — Отправляйся-ка домой, пока можешь. Не то пожалеешь!

— Пожалее? — удивился я, тщетно ища среди серой солдатской реки повязки дружинников или милицейские околыши. — Как бы тебе самому не пожалеть, что ты меня здесь пугаешь, черная кость! Ты хоть знаешь, кто я такой?!

— Знаю, — по-волчьи ослабил старик. — Ты никто...

Он протянул руку и закрыл для меня ладонью весь свет. А когда отнял пальцы, вокруг не было ни армии мертвых, ни мальчика, ни его самого. Только привычный в своей монотонной суете майский парк с ленивыми прохожими.

Праздник давно окончился. Вспотевший от поисков, отцовский шофер окликнул меня у ворот...

Я редко потом вспоминал эту встречу, но всякий раз, как бурлящее общественное лицемерие гнало стада плебеев отмечать вместе с патрициями что-нибудь военное, почему-то оставался дома. А последние слова Повешенного, обращенные ко мне, сбылись. Взрослея вместе с умирающей империей, я постепенно, одну за другой, терял в траве нити, связывающие меня с детством. Так я обретал бесплотность и беспомощность тени царствовавшего здесь некогда сословия браминов. Пока окончательно не стал никем.

Дмитрий ИСАКЖАНОВ

## СНЫ С ЧЕТВЕРГА НА ПЯТНИЦУ

\* \* \*

Над городом наяда реет,  
Расплющив в небе волоса,  
А следом тянется за нею  
Густого дыма полоса.

Дурна погода, хоть стреляйся,  
Трепещет дева, как белье,  
Но не найти, как ни старайся,  
Под юбкой сраму у нее.

Во мгле теряются причины,  
В замках ломаются ключи,  
И нету за полночь мужчины  
Во всей вселенной, хоть кричи.

В миру — искусственная вера,  
А выше веры и его —  
Летит младенец, как химера,  
И ждет зачатия своего.

\* \* \*

Во всем очарование надлома  
И проблески предсмертной красоты.  
С утра сырой подъезд любого дома —  
Давильня, где последние цветы  
Пьянящую мелодию гниения  
Точат из раструбов увядших. Граммофон.  
Орфей, Козловский... Дорогая тень.  
И день перемножается на день,



И сумерки — на сумерки, когда бы  
Ты не включил воспоминанье... Лень  
Переменить пластинку.

В воскресенье

На рынке разговорчивые бабы  
Дают за так размякшие плоды,  
И зеркала стоячие воды  
Хранят в провалах памяти ухабы  
И резедой заросшие следы.

\* \* \*

Откроешь двери — тишина накатится  
До обморока призраком лиловым:  
Как будто беззащитная до платица  
На цыпочках ты подбегаешь снова.

В теплынь и сумрак комнаты оставленной  
Войдешь, какходишь в море ты, раздет —  
Душа заплачет над потерей маленькой,  
Качнется мир огромный ей в ответ.

И вдруг воскликнешь, тронув от машины ли  
Ключи или ракушки-гаража:  
«Объяли воды! Прямо до души моей  
Объяли, Господи! Не повернуть назад!»

\* \* \*

Вот так ты и останешься стоять:  
Вполоборота к лету, у окна,  
Навек привязана цепочкою событий  
К моей судьбе. Ты, милая, права:  
Свобода — мера той цепи. Но и она —  
Заложница таинственных соитий,  
Сложений сил заочных, и порвать,

Разъединить ее отныне не дано —  
И слава богу! — ни тебе, ни мне.  
Но — длить до бесконечности свободно,

Связь умножая. И когда опять  
Мы встретимся на темной стороне  
Заоблачных орбит, то сколь огромно

Ни стало б наше прошлое, оно,  
Поверь, для нас не будет слишком тесным.  
Как сфера не тесна телам небесным,  
Как не тесны двоим одни объятья.  
Вот так и стой. Не закрывай окно.

### Менгир

Рука стремится к голове — стереть  
Знак равенства...

Но так ли не стареть,  
Когда, как соль, слюда в песчаник вжата  
И голос крови говорит зверью,  
Что лучше камню вверить боль свою,  
Чем облакам, растрепанным, как вата.

Ночная помесь страха и тоски,  
Встав в изголовье, лижет мне виски,  
Как блудный пес, своим разумным носом  
В степи нашедший камень родовой,  
Ушедший в дерн до щели ротовой,  
Начертанной улыбчивым вопросом.

\* \* \*

Ночью, лежа на скомканной простыне животом,  
Слыша, как бьется собственное сердце,  
Думаю:

Сколько раз точно так же  
Я мог бы услышать другое.

Удар, удар.  
Удар...  
удар.

Неужели еще?

\* \* \*

Привиделось: я зверем был ночным,  
Лакал из лужи оттепельной жадно —  
Рождественские звезды над ничьим  
Лицом текли, не утоляя жажды,



Обрато ходу времени. На круг  
 Небес ложась геномом Зодиака.  
 Я был рожден в тот год, когда Собака  
 Пришла на свет к хозяйскому костру

И там легла. Божественный орган  
 Брал тишину любви таким крецендо,  
 Что стало страшно утром человеком  
 Не возвратиться вновь к твоим ногам.

\* \* \*

Привыкаю с пустотою внутри  
 Полагаться на небесную твердь.  
 Привыкаю с пустотой говорить  
 И в глаза ее пустые смотреть.

От игры такой — белейшего бел.  
 Словно свет в груди, а с виду — рябой.  
 Я бы криком кричал, если б смел  
 Не любить тебя, не плакать с тобой.

Было дважды со мною. Дай бог,  
 Чтобы не было подобного впредь.  
 Приходи ко мне, звезда, на порог,  
 Чтобы вместе нам с тобою гореть.

\* \* \*

*Т. Д.*

Во сне ей показалось, что его  
 С ней рядом нет. Что вновь душа пуста,  
 Как та постель, где прежде спали двое,  
 А ныне одному так мало места  
 В упорных поисках животного тепла,  
 В стремлении к желанной несвободе  
 Лететь, концом крыла не задевая  
 Зеркального молчания воды.

«Я вся теку. Ты — весь ушел в песок  
 Увертливой дорогою инкуба,  
 Оставив непосильную свободу  
 Дойти до края: вдоль и поперек,  
 Насквозь, и ткнуться головой в подушку,  
 Прижатую к стене...»

Открыв глаза,  
 Она заплакала. В осенней полумгле  
 За окнами казался inferнальным  
 Крик удаляющейся птицы. Как незрячий,  
 В крошечном одиночестве, рукой  
 Она попробовала влажную дорожку:  
 Соленая, как воск высокогорный...

Не повторяя русла, открывая  
 Свое лицо, она училась видеть,  
 И руки были ей поводирем,  
 Когда из тьмы небытия рождался  
 Рельеф Эдема: плечи, голова,  
 Копна волос...  
 Он. И закрыв глаза,  
 Уже ненужные, она легла обратно.  
 Не вытирая отражений звезд,  
 Упавших вниз, и загадав на счастье

Желание...

\* \* \*

Я проснулся ночью в чужой постели на окраине города  
 от курантов заблямкавших как шкатулка в центре  
 светло-серого сонного еще неживого твора  
 пасхального кулича неосвященной церкви  
 не угрызаясь совестью не содрогаясь внутренне, слушая  
 старый вальс кружащийся сам с собою смерчик  
 часовой пружины выпавшей из обоев — лучшую  
 музыку что я знал до смерти  
 в чужой постели на окраине города ночью в который раз  
 умерев и воскреснув в который не думая о прощении  
 ибо Бог простит но сам себя — никогда. И глаз  
 не закрыть пятаком.  
 Ничем.

**Без любви, но с благодарностью**

*Е. О.*

Семь лет назад в таком же городке  
 мы проходили площадь, словно стрелки  
 часов,  
 и возвращались к центру — убедиться,  
 что след, оставленный в пространстве, не сгорает.

И позже, в маленьком кафе, у стойки бара  
 делили время, словно мелочь, на двоих,  
 теряя сдачу. И в окно смотрели  
 так,  
 как я один смотрю теперь отсюда,  
 с погасшей улицы — вовнутрь ночного зала,  
 где девушка в трико — Лаокоон,  
 в упругих кольцах яростного танца  
 сражается сама с собой.

Но безуспешно.

\* \* \*

Девочка ходит, ключами звенит.  
 В небе кукушка влетает в зенит.

Оттуда не выпасть, а там — не прожить.  
 Девочка учится резать и шить.

Лопочет осока, танцует тростник.  
 Корень извилист и к речке приник.

На всякую нитку найдется конец.  
 Корона похожа в руках на резец.

На всякое «близко» находится «там».  
 Девочка ходит за мной по пятам.

\* \* \*

Два баяна на ладони,  
 Солнце в желтом колесе.  
 Танцевали в небе кони —  
 Оказалось, что не все.

С полки опустилась птица,  
 Оловянные глаза.  
 Дай, хозяйюшка, напиток —  
 Оказалось, что нельзя.

Дом стоит в ольховой неге,  
 Стадо катится назад.  
 Порубили в щепки мебель —  
 А никто не виноват.



\* \* \*

*Насте*

Сны с четверга на пятницу: ветрено или искренно,  
Холодно, холодно, холодно. Осень за той горой —  
Сепией или темперой, жалобной кардиосистолой —  
Ветками не отмашешься. Сырой — говорю — корой.

Сядем на подоконнике. Музыкай поцелуйною  
День начинаем, подреберною дырочкою в стене,  
Шепотом, паутинкою... Сумерек утра. Задуй его  
В бутылочку безымянную, брошенную вполне.

Сбудутся лета. Сбываются. Детство — как сумрак в ельнике.  
И тишина колокольная в ушах — по кому? — звонит.  
Спросишь, — немые тени летят с простыни: подельники,  
Пододеяльники, узники ленты цветной в зенит.

Холодно. Искренно. Ветрено. И гора — приближается  
С осенью за плечами. Хоть до зари замри.  
Краски бледнеют, и кольца воспоминаний смыкаются  
Медленно, туго — горло с детской ангиной внутри.

Не выдохнуть, не избавиться — не выпасть, не согнуть в мелочи.  
Губы еще шевелятся — слов не разобрать никак.  
«Оттуда не возвращаются. Доверчивай, мой доверчивый,  
Мой Телемак в косыночке, в юбочке мой Телемак».

\* \* \*

Ничего кроме голоса  
никого на потом  
то стерня-то и колетса  
за околицей дом

ничего не останется  
только мышшь да польный  
в диалектике танца  
тени тени углы

ничего кроме голоса  
сохрани сохрани  
тоньше веры и волоса  
безымянные дни

мы придем и разуемся  
 пахнут весны бельем  
 помолчим полюбуемся  
 и вздохнем.

\* \* \*

Детство, пройденное в потемках от дома к школе,  
 Незрячей душою выученное по Брайлю...  
 Солнце над ним никогда не вставало, что ли,  
 Или очки на физике разобрали?

Что еще вспоминаю? Ночные кошмары, ругань,  
 Стирка белья в субботу и понедельник судный,  
 И между ними — словно тулуп паскудный,  
 Куцый день седьмой. Но когда бы кругом

Не возвращалось все, вряд ли бы на ладонях  
 Отпечатались линии жизни: глубокие, словно реки  
 Эдема, извилистые, как погоня  
 За собственной тенью. Невольник речи,

Я твержу наизусть урок в опустевшем классе:  
 Обстоятельства действия, времени или места —  
 Второстепенные части речи. Второстепенные части  
 Речи. Второстепенные. Второстепенные, честно.

\* \* \*

Если крохотный моллюск, однажды перейдя  
 черту, отделяющую жизнь от смерти, все же  
 остается по эту сторону бытия, упав, как семя,  
 в благодатную почву, — в мягкий ил, а тот,  
 окружив его и став за миллион лет  
 известняком и сутью его, все пишет на камне  
 краткую историю жизни его и все  
 продолжающуюся — небытия;  
 если миг его смерти мы уподобим бросанию в  
 землю зерна, а эволюцию несуществования —  
 произрастанию доброго злака сквозь толщу  
 времен;  
 и если известно также, что долгое смотрение  
 на яркий свет ведет к тому, что, отвернувшись,  
 еще долго потом мы видим стоящие перед  
 глазами пятна, мешающие смотреть, —



То что легло однажды в мою ладонь  
и отпечтало на ней знаки и линии моей судьбы,  
в которой уже неразрывно присутствует все:  
прошлое и будущее;  
что было зародышем и первопричиной  
оттиска, называемого «моя жизнь», который  
все обступает и умножает кальций текущего  
времени;  
на что и когда я смотрел, что из глаз моих все  
нейдут яркие образы этой жизни;  
и что, наконец, я не вижу, но мог бы видеть,  
не будь перед моими глазами неизбывных  
пятен *этого* бытия?

\* \* \*

И золотая рожь, и павший колос  
Мне в равной мере сообщили голос,  
Которым движется сквозь мрак пустой породы  
И жирный чернозем, вослед светил  
Душа моя, наперсница Природы,  
Сообщница краеугольных сил.

Ей ничего от голоса не надо,  
Печальнице поры полураспада  
Осенних роц. Упавший лист истлел,  
Но как бы продолжается на память  
Движенья таинство. Вне равновесья тел,  
За гранью слуха...

Слова не поправить,  
Строки не вымарать...

Я — плоть земли, ее сырая глина.  
Пока не перетерлась пуповина,  
Я продолжаю говорить с живыми  
И мертвецами. Всех, кого я знал,  
И буду знать, и знаю, — я позвал  
Любого в дом свой и наполнил ими

Течение лет. Благословенны боль  
И радость, мне поставившие голос.  
Я и сейчас мычал бы, как слепой  
У паперти за грош, когда бы встарь  
Младенческая люлька не протерлась,  
Когда б Господь не обронил словарь  
У ног моих, когда б я не играл им...

\* \* \*

*Д. Р.*

Друг ситцевый, ветшает наша ткань  
И рвется. Сквозь прорехи мироздания —  
Другая жизнь: бриллиантовая грань  
И горький пепел разочарованья.

Любить ее — напрасная печаль  
Душе, корнями обращенной в детство.  
Какое баснословное наследство  
Сулила пламенеющая даль!

И может, все, что видим мы теперь,  
Есть только повторение в грядущем  
Минувших черт...

Незапертая дверь  
На сквозняке колышется беззвучно —

Как будто ангел на пороге встал  
Послушать, как младенец в колыбели  
Гулит. Еще никто не обещал  
Ему Спасения, и даже не успели

Крестить его, и в светоносный люк  
Плывут по воздуху, как виноград лиловый,  
Созвучья, сотворенные до Слова:  
То «гули-гули», то «люблю-люблю».



Георгий КУЛИШКИН

## СИЛА ЖИЗНИ

Р а с с к а з ы

### Знахарство

Анечка кричала и во сне. Ее тельце было усыпано сочащимися нарывами. Ей было больно голенькой, больно завернутой, больно одетой. Суча ножками и ручонками, она расчесывала, растревывала зудящие, сосущие ее, как пиявки, волдыри.

Отчаявшись, мама носила ее на руках, укачивала, причиняя новую боль. Уставая, мама надавливала ношей живот, где начинал толкаться я.

Она извела всех, наша Анечка. Соседи, двенадцать семей в наспех сколоченном бараке, провожали маму ненавидящими взглядами, бабы бормотали в спину: «Тоже, полковникша! Не может дитю нормально сиську дать!..»

Отец приходил поздно, когда уже решительно нечем было занять себя на службе и когда окончательно выматывался, слоняясь по улицам на больных ногах. У себя в комнате, у входа, он укладывал на полку-вешалку фуражку, вешал портупю, шинель. Потом, чтобы не сгибаться, пяткой задвигал под себя тяжелый табурет с овальной прорезью в центре сиденья, выпиленной ради удобства брать рукой, садился, ногою же вслепую нащупывал где-то сбоку ухватку в виде продолговатого клина из двух фанерок, одна из которых завершалась выемкой, очертаниями повторяющей контур каблука. Левою ногой он упирался в ухватку, а правый сапог подрант у каблука поддевал выемкой. И так, болезненно скалясь, вытаскивал себя из сапога.

Подцепив на босу ногу опорки с отхваченной, как у шлепанцев, пяткой, он склонялся за банным армейским тазиком. Отмахивался на мамино движение сделать самой и выходил на общую кухню в противоположной от крыльца стороне барака. Там заставал семью Чайчуков — заядлых полуночников, строем выходящих перед сном на помывку ног. Склонный к веселью, посмеивался, видя, как младшие в шесть рук помогают деду не потерять устойчивость и задирают ему нижнюю конечность к сливной



лохани под краном. Сев на тот же табурет, тазик с водой ставил на пол и опускал в воду намученные ступни.

— Что в областной? — спросил он почти безразлично, без всякой надежды в голосе.

— Ничего не могут понять, — убирая глаза, ответила мама.

Она давно уже чувствует себя виноватой в том, что врачи не могут помочь ее ребенку. Его раздражает это ее прятанье лица, которого и он не хочет видеть. Оно почернело, из него словно вытянули, выпили все соки. Он тоже отводит лицо, уставившись в таз. Но за этим не спрячешься. Все остается: и беременность жены, и забившаяся от него в дальний угол молчаливая умненькая падчерица Талочка, и Анечка, кричащая в реечной деревянной кровати. И никуда не деться от очевидного: жизнь из жены высасывают дети — эти вот дети, которых он так хотел и так хочет. Дети и он.

Вода, обманув первым холодком, не дает облегчения. Отец с подлинной веселостью глядит на свои пальцы, скрюченные и влезшие на большой, подумав вдруг, что ни один фокусник не показал бы этакий кукиш пальцами ноги, а эти вот нате-ка, сами собой...

После контузии его заново учили ходить. И обучили — с костылями, с палочкой. Выписанный, спустя время он стал управляться и без палочки. И эта исковерканность стопы была бы сущим пустяком, если бы не пыточные клещи судороги, изнутри, тягой сухожилий ломающие ее.

— Чему ты? — спрашивает мама.

— Как говорил наш зампохоз, дурному не скучно и самому!

— А все-таки?

Улыбка осветляет ее лицо, и он с заразной, всегда покорявшей ее жизнерадостностью предлагает:

— А вот попробуй, попробуй, как я, дулю скрутить на ноге!

Она отвечает невольным смешком. Не тому, что он сказал, а его веселью. Под смешок говорит:

— А дулю имеем мы. С квартирой.

— Ты опять?

— А как же не опять? Ну как?! Наш крик с ума тут всех сводит. Я из комнаты носа показать не могу. И Аникеевы получили ордер. Аникеев и ты — можно сравнивать? А ордер ему!

— Я не пойду клянчить, ты же знаешь!

— Я пойду, я! Ты бы не запрещал — давно бы пошла!

— Иди!

— А вот и пойду! Анечку завтра возьму с собой и пойду! Пусть послушают!

— Иди.

— Ты серьезно?

— А ты?

— Я-то уж... Уж я-то...

— Ну вот и сходи. Многие так — женами. Какой галчонок шире клюв разинул — тому галка и дает.

Какая большая, какая лишняя для их скорба квартира! Пугающие темными пустотами антресоли в прихожей, ненужная кладовая. На кухне дровяная печь. Со встроенной духовкой и громадным угрюмым кубом над ней, в котором от огня в печи согревается предназначенная для купания вода, самотеком бегущая по трубе из нижней части бака к емкости, помещенной в самый жар, а из емкости, урча, как в утробе, — обратно в куб, в его верхотуру. Впритык к кухне — комнатка с раздавшейся, как шлюпка, ванной и двумя похожими на музыкальные инструменты медными кранами. За ванной комнатой — туалет с настоящим фаянсовым унитазом. Отдельный, чистенький, новый... Свой!

Каким была бы счастьем квартира, не привези они с собой гибнущего, в крик молящего о помощи ребенка.

Через денек-другой обжились, раскинули на две комнаты и кухню немногие предметы мебели, в большинстве казенной.

К ночи из открытой ванной, держа под струей больную ногу, отец спросил о последнем, на кого еще могли надеяться:

— Как там у профессора?

— Мази прописал.

— Мази... — повторил он, подумав, сколькими мазями, грязями — чем только не мазали его самого.

— Те, что нам выписывали в районной.

— А ты?

— Сказала, что уже пробовали.

— Ну?

— Назначил три других. А вижу: сам не верит...

Из маленькой комнаты, где была с детьми, мама заглянула к нему, в большую. По дыханию услышала, что не спит. Присела на диван, где он, скорчившись, поджав колени к подбородку, лежал на боку.

— Куда же нам податься? — сказала будто себе самой. — Ведь больше некуда.

Он не ответил. Только крепче притиснул к груди несчастную ногу.

Если не слышать осевшего в хрип плача ребенка, было тихо, но ее вопрос словно повис над ним, донимая еще мучительнее, чем нога. Он сел, нашарив опорки, вышел на кухню. Там клацнул шпингалет, значит — за водкой. Бутылку сунули между рамами окна, в холод. Слышала, как обушковой стороной столового ножа он сбивает сургуч с головки. Как, поддетая, пискнула отформованная в перевернутый колпачок картонная закупорка. Слышала, как наливает, представляя, что в стакан смыло и сургучные крошки.

Он вернулся, внеся запах пролитого спиртного. Молча лег, скорчился.

— Как же это — девочка вся в метинах от болячек? — шепнула мама. — Что же с ней будет?

— Будет, будет! — с накопленной в страдании озлобленностью простонал он. — В Сибири ее давно бы уже не было!

Оглушенная жестокостью того, что он сказал, она сидела немо и чуть дыша. Потом, словно найдясь чем оправдаться за ребенка:

— Она выкричала нам квартиру!

— И нас выкричит из нее! — снова садясь, чтобы встать, процедил сквозь сцепленные зубы.

— Тебе будет плохо! — упрасивающим голосом произнесла она, поняв, куда он.

— А то мне так — хорошо!

В кухне, чтобы никому не мешать светом, на листке ученической тетрадки она вывела школьным почерком: «Мама!»

И задумалась. Не задумалась — тронула чувством: что там, в душе?

Сухой посторонний звук заставил вздрогнуть. Рукавом она промокнула на бумаге каплю, другой рукой, будто умываясь, провела по лицу.

«Мамочка, я не знаю, что делать...»

Планкой с отверстием и узкой прорезью отец поддевал пуговицу на шинели. Суконный лоскут сдабривал зеленой пастой и до цвета червонного золота надраивал им пуговицу за пуговицей. Затем бархоткой до идеального лоска охаживал сапоги. Одетый, как перед зеркалом стал перед ней.

Оглядев с одобрением, мама кольнула, ласково улыбнувшись:

— Шпоры забыл!

Он вспыхнул улыбкой, со смехом вспомнив о кавалерийских шпорах, тренькающих в ходьбе, которые он — зачем? — соблазнившись, купил в гарнизонном.

...Бабушка выбиралась из вагона, держа впереди себя две раздутые, как шары, авоськи. Она не везла ничего своего: все, что везла, было для них.

Вместе с плетеными ручками авосек он подхватил ее руки, помог спуститься. Ее заметная седина, оплывшие формы, белесые глаза без ресниц, рыхловатые губы, подкисшее в бессонной дорожной ночи пожилое дыхание... Она старше его, в годах женившегося на молоденькой, всего на четыре года, а вот — старушка. Со слезами, заполнившими глаза, она целует его и пробует поймать взгляд. Обняв, он прячется, проколотый чувством, что эту старушку, тещу, он любит больше, чем братьев и сестер, чем покойницу маму, которая родила его девятнадцатым и которая не узнала его, когда он, выросший у старшего брата, приехал повидаться после училища.

Чтобы сдержаться в себе, не покориться нахлынувшему, он произносит проверочное для русака с севера и востока слово:

— Паляница.

— Паляница! — поправляет бабуня.

— Паляница.

И снова не угадывает.

— Да ну тебя! — замаргивая слезы, смеется она.

Дома Талочка не отпускает подол, который пахнет бабушкой. Стараясь не мешать и зная, что мешает, она семенит следом. Самые ветвистые узоры всегда на кухонном окне. И там же, за форточкой, похожая на кормушку для птиц полка-холодильник. Нынче киевские гостинцы громоздятся на ней горой. Талочка накушалась от пузика, но все же ей приятно думать, что за стеклом, на морозце, вкуснейшая бабунина буженина и в колобках, обернутых воощеной бумагой, принесенные дедушкой с работы кремы: шоколадный, розовый, желтый, белый... Эти кремы пахнут Киевом — тем временем, когда она была всем родной и всеми любимой. А здесь названная в честь бабуни кудрявая красавица Анечка отняла у нее это место. Здесь она чужая папе, который появился последним из всех родных и который увез их из Киева. И маме, затравленной Анечкиной болезнью, не до нее. Вот только бабуня... Бабуня не отмахнется, бабуня не оттолкнет.

В поставленном на табурет тазике бабуня поливает Анечку чем-то похожим на чай. Талочка рядом. Не выпуская из левой ручки бабушкин халат, правой она черпает из тазика и тоже поливает сестренку.

После купания Анечка засыпает. Она не плачет, и мама испуганно караулит у кровати. Ей кажется, что хорошее не могло случиться так сразу и что девочка не плачет из-за того, что дело совсем плохо.

Но утром Анечка без слез просит поесть, и подобие улыбки озаряет ее личико, когда бабушка снова принимается поливать ее травяной заваркой.

Вечером бабуня усаживает ее в полный тазик и разрешает играть плавающей деревянной уточкой.

— Мама, что это?

— Да чистотел же, господи! Сама всегда собираю у нас за домом. Сорняк такой, травка.

На третий день бабуня, беспокоясь, как там без нее дедушка, уехала вечерним поездом. А на шестой или седьмой на кожеже Анечки не осталось не только ранок, но и никаких следов от них.

Торопясь как можно быстрее оповестить профессора о существовании чудодейственной травы, мама, схватив в охапку ребенка, помчалась в институт.

Из-под белоснежной, по форме смахивающей на монашескую скуфейку шапочки профессора торчали, вызывая своей неприбранностью симпатию, седые волосы. Он был душевно рад неожиданному и совершенному выздоровлению ребенка и словно бы чем-то испуган.

— Деточка... — отозвался он наконец на горячее, вздохнул втолковывание мамы, что это чистотел, обыкновеннейший, доступный любому и каждому чис-то-тел. — Деточка, — повторил он, отведя глаза, — простите меня! Ради всего святого, простите! Я знаю и знал об этой травке. Но не могу прописывать. Меня обвинят в знахарстве.



Маме сделалось дурновато. Она опустила на смотровой топчанчик, где показывала ребенка, непроизвольно обняла вдруг взволнованный живот...

Неделю спустя я начну отделенную от мамы жизнь на этом свете. На дворе будет конец декабря пятидесятого.

## Шульц

Война отозвалась и в дворовых окликах. Голиков — Гольц, Кальченко — Кальц. Неотмываемо прилипло прозвище к Шушкову. И пустило корни. Шульцем вслед за детворой, окрестившей сына, взрослые стали звать отца, прибавляя — старший. А внук Шульца-старшего уже с пещицы был Шульцем.

Так вот, Шульца первого, то есть нашего, о котором речь, дважды оставляли на второй год, и, как все второгодники, он имел обыкновение якшаться с теми, кто младше. Корнями из лесной деревни, Шульц с денежной выгодой ловил птиц, удачливее кого бы то ни было удил рыбу, больше всех нас, вместе взятых, находил грибов, собирал орехов, терна для наливки. Он был из породы охотников и собирателей, и в грабительских набегах на районные кагаты\* на поля и сады ему виделось всегда нечто прибыльное, добычливое, лишь между прочим приправленное озорством.

Выпроваживая нас двоих самой ранней электричкой в осенний, уже убраный колхозный сад, его матушка, режущее-голосистая и, как и сын, круглолицая, кричала в форточку:

— Толя-й! Опять без чувала-й?! — и выбрасывала вещмешок, в котором, присев на корточки, уместился бы и сам Шульц.

На верхних ветках дремучих, как баобабы, яблонь оставался урожай, до которого не добрались сборщики. С беспечностью канатоходца Шульц бесстрашно погуливал по веткам раскидистой кроны, снимая только отборные, не тронутые ни червем, ни пороком, отменно вызревшие плоды. И бросал их сверху точно мне в руки, чтобы, поймав, я бережно укладывал их в свою спортивную, через плечо, сумку и его чувал.

Он не ведал страха и еще и поэтому, даже свалившись, всегда оставался невредим. Я, невыразимо боявшийся высоты, соскребал по сусекам последние остатки мужества, чтобы поднимать глаза и всего-навсего видеть его. А он, не глядя под ноги, ступал себе и ступал, подбираясь к самой заманчивой добыче.

Вдруг, как подрубленная, ветка скользнула вниз, сгибаясь на сломе и переворачивая Шульца. Он падал, с треском проламываясь сквозь сучья, и вместе с ним катилось в пятки мое сердце. Наконец с утробным мягким «уп!» он встрял головой в жирный, недавно перепаханный чернозем междурядий. По плечи воткнулся в разрыхленный гребень и секунды две стоял вверх тормашками, подогнув ноги и словно бы держа баланс разве-

\* Кагат — примитивное хранилище овощей, корнеплодов в поле; бурт.

денными в стороны руками. Потом, потеряв равновесие, плавно завалился набок, вывернув, как репу из грядки, собственную голову из пашни, и рассмеялся, сверкая зубами и не в силах раскрыть залепленных грязью глаз.

В присутствии Шульца воровская трясучка никогда не брала надо мной власти. Рядом с ним никакая опасность не воспринималась всерьез. Будто развлечение он принимал побои от сторожей, ни разу не бросив при этом добычи. Ему ничего бы не стоило смыться, но, уводя погоню от младших, он петлял перед носом гонителей, получая палками по плечам, а то и по низко сидящей, круглой, как шар, крупной голове.

Как-то преследователи швырнули ему в спину молоток. Едва не сбив с ног, он угодил бойком прямехонько в загривок. С неделю, веселя весь двор, Шульц демонстрировал менявшуюся день ото дня цвет гулю.

Никто, кроме Шульца, не отваживался прыгать в воду с верхней фермы моста.

— Лучше нет красоты, чем посрать с высоты! — уверял Шульц, взбираясь на самую макушку сварной опоры, необычайно высоко задиравшей провода ЛЭП, чтобы перевести их над гигантской железнодорожной насыпью.

Оттуда, как бомбы, падали его полновесные катяхи, вдрызг разбиваясь о взлобок фундамента.

На этой насыпи, круто возводящей пути на мост над мостом — в точке пересечения трех направлений, — семафор останавливал составы, которые потом паровозу бывало трудно стронуть в гору. Он надрывался, сыпал из расплющенных книзу труб песок на полотно и бешено раскручивал маховые колеса. И часто, так и не тронувшись, начинал условными гудками звать подмогу — второй паровоз, который, подпихивая в хвост, выручал собрата.

В сезон торговли арбузами зов буксующего локомотива скликал нас, словно рев угодившего в западню мамонта — первобытных охотников. Поворотом путей состав в этом месте сгибалось в дугу — мы подбирались к выпяченной стороне, невидимой для стрелка из замыкающего тамбура и для бригады машинистов.

В бурьянах под насыпью, с дистанцией метров в пятнадцать один от другого дожидались припрятанные Шульцем мостовики\*. Тем из них, который оказывался ближе, Шульц вышибал реечную решетку на раскрытом ради проветривания окошке пульмана. Засим с проворством ящерицы он вскарабкивался по борту к задранному под самую кровлю оконцу и, мелькнув подошвами, исчезал в нем.

Через секунду узкая, как амбразура, прорезь начинала обстреливать нас отборными, всласть раздобревшими на бахче полосатиками. Поймать удавалось лишь какой-нибудь третий или четвертый, но и того, что мы, подобно вратарям, ловили в объятия и складывали под ноги, было за глаза.

\* Мостовик — камень для мощения дорог; булыжник.

Избыточное изобилие порождало варварство. Объевшись, мы раскальвали очередной «каун», ударив о рельс, и выгребали липкими лапами лишь сахарную серединку, пренебрегая всем прочим.

Еще Шульц виртуозно стрелял из рогатки. Зарядить в кожаный казенник он любил «чугунок» — осколок разбитой сковородки. Бракотаннанные эти сковороды мы во множестве находили в отвалах чугунолитейного. Но высшим шиком считались сантиметровые в диаметре шарики от подшипников. Их не расстреливали попусту, их берегли, чтобы хвастать отменным боезапасом.

Растянутая резина вибрировала на ветру, когда он целился, взводя заряд далеко за висок на уровне глаза.

— Ща тому воробью башку снесу... — сквозь зубы похвально Шульц.

Провыв в воздухе, уносился «чугунок» — и обезглавленный воробей замертво падал с ветки.

Придет время, и Шульца, которому ничего не стоило сигануть с лубой высоты, призовут в десантники. Там меткостью он прославит и роту, и полк, за что его трижды поощрят отпуском, однако на побывку так и не отпустят: ступавшие за ним по пятам взыскания всякий раз отодвигали дату отъезда.

Впрочем, это случится еще не скоро. А пока что мы на птичье. Продаем щеглов. Разбойного вида переростки, промышляющие перекупом, предложили забрать задешево, зато всех сразу. Шульц посмеялся над предложением, а те толклись рядом, в приятельской беседе выведав, где он отлавливает столь помногу бойких и голосистых красавцев.

Вскоре на нашем пустыре у запретной зоны, когда, наладив крыло из сети и рассыпав приманку, мы со шнуром в руках прятались за кустом, у снастей объявилась знакомая по птичье троица. Не тратясь на слова, они перехватили ножами постромки, которыми сеть крепилась к колышкам, перерезали наш шнур и по-хозяйски стали сворачивать собственно снасть.

— Э! — крикнул, выскакивая из засады, Шульц.

Двое с раскрытыми ножами поджидали нас; третий, самодовольно скалясь, напоказ неторопливо сворачивал сеть. Метрах в десяти Шульц остановился, достал рогатку.

— Детство в жопе играет! — сказал один из разбойников, кивнув другому на рогульку с резинкой.

— Первому точно в лоб! — объявил Шульц, выпуская заряд.

Отметина обозначилась позже, а сразу о меткости попадания известил звук. Удар отозвался так звонко, будто шарик из подшипника отскочил от высушенного пустого черепа. В лице подстреленного ничего не изменилось, лишь из глаз вынесло вдруг всякое представление о том, где это он и что с ним.

— А тебе, сука, ща выбью левый глаз! — известил Шульц второго и прицелился, до предела растянув резину.

— Ты, притырок! — возопил второй, так зажмурив приговоренный глаз, что слиплись щека с бровью. — Заканчивай, декарат! — требовал с

угрозой, но заслонялся руками и отмахивал локтем третьему, чтобы бросил сеть, будь она проклята.

...Раз поздней осенью, огибая кладбище, мы идем к своему пустырю вдоль вспомогательного пути, по которому снует туда и обратно рабочая дрезина. На открытой платформе, похожей на телегу, она подвозит то рабочих, а то шпалы, щебень, литые пластины с костылями. Укрывая от непогоды вожатых, над рычагами управления возвышается хлипкая кабина, всегда дребезжащая в ходу и остекленная на все четыре стороны.

Шульца, который водится с нами, малышней, те, в кабине, посчитали, должно быть, за недоразвитого, за дурачка и, подкатив сзади, на обгоне выплеснули на него помой. Плеснувший, прощально помахивая порожним ведром, весь так и светился счастьем. Напарник, надавая газу, оглядывался и тоже ржал.

Шульц замер, беспомощно разведя руки и спиной ощущая то, что затекло за шиворот. Потом, весь натопорщенный, снял, чтобы отряхнуть, перешедшую от бати восьмиклиночку и, выворачивая плечо, скопился себе на спину, облепленную картофельными очистками, текучими плевками и окурками. Поднеся рукав, принял. Воняло прокисшей мочой.

Мы спустились к дымившейся свалке, развели костер. В болотце, по которому мы плавали на плотках, сколоченных скобами из шпал, и устраивали морские сражения, Шульц прополоскал кепку и обмыл, черпая горстью, «москвичку» — укороченное пальтецо, ношеное-переносное и тоже доставшееся от бати. Смеяться было за подлость, но смех разбирал неудержимо. Голый по пояс потерпевший, с укором и злобой зыркающий на нас, нет-нет а и сам взгогатывал, словно икотой донимаемый смехом.

От высушенных на кольях, подкоптившихся вещей отдавало гарью свалки, зато не мочой. Созревший за время просушки план мести поторапливал — Шульц одевался на ходу. Через кладбище, а там короткой улочкой в бор, окраина которого прикрывает техническую базу авиаучилища, где на списанной технике, точь-в-точь как медики на трупах, практикуются технари.

У самой ограды из натянутой на столбы «колючки», будто нарочно нам в подарок, свалены в кучу окончательно пришедшие в негодность механизмы и неисчислимое множество всякой диковинной всячины, представлявшей некогда собой вертолеты и истребители. Там, пролезая под проволокой, мы разживались медными трубками для самопалов, подшипниками под самокаты, шикарными зубчатыми колесами, которые гоняют по улицам загнутой кочергой, и бесподобной, в широких и длинных лентах цветной авиационной резиной. Теперь нужда была именно в ней, в резине. Добыв несколько внушительных свитков, совершили марш-бросок к сараю, где Шульц позаимствовал у бати бур, предназначенный для подледного лова, и неказистый топорик.



В ольхе, растущей по окаему\* пустыря, срубили правильную рогатину вышиною в человеческий рост и приторочили к ней две резиновые ленты, по ширине с мальчишескую пядь, а в длину развернувшиеся метра на три. Взамен кожаного лоскута пошла подобранная на свалке, насквозь промасленная машинистами шапка-ушанка.

Как бруствером прикрываясь бугорком, от которого вниз сбегала тропа к свалке, Шульц, забуриваясь коловоротом и порция за порцией выдергивая землю, проделал ровное, трубообразное углубление, принявшее в себя весь по начало развилки ствол рогатины. Зарядили мостовиком — из тех, которыми вышибались решетки при воровстве арбузов. И засели за бруствером в засаде.

Уже стемнело, когда дрезина весело, как лошадка домой, накатывала в нашу сторону, поспешая по шабаше восвояси. Ярко освещающая остекленный куб, горела внутри пузатая голая лампа, такая же жизнерадостная, как и парочка вечно зубоскалящих вожатых.

По-бурлацки заваливаясь всем своим весом и прижимая к груди всунутый в шапку мостовик, Шульц взводил камнеметное орудие. Резиновые ленты гудели басом; дрезина, озаренная внутренним светом, задорно подвывая движком, стремительно приближалась; а Шульц, упираясь каблуками, кряхтел, из последних сил отпячиваясь назад.

— По врагу... прямой наводкой... огонь! — скомандовал Шульц и отпустил ушанку.

Он плюхнулся на задницу, но прежде, чем коснулся земли, дрезина, словно взорвавшись изнутри, оглушительно бабахнула, прыснула во все стороны стеклами и погасла. Перепуганные не на шутку, мы кинулись наутек. Шульц же, выдернув рогатину, пригибаясь добежал до костра и, бросив ее в огонь, только потом, привычно при отступлении держась позади нас, тоже дал деру.

Несколько дней мы не решались появляться у свалки. Однако Шульц убедил, что прятаться — это все равно что признать вину. И мы вернулись на пустырь и наше адмиралтейское болото с линкорами из шести шпал и двухшпальными крейсерами.

Воскресла на подсобных путях и обновленная дрезина. Кабину ее обшили фанерой, оставив ветровые оконца. Те ли вожатые стояли за рычагами или кто другой, высмотреть не удалось. Одно знаю точно: никто больше не скалился, высовываясь из будки.



---

\* Окаем — кайма, край.

Олег ХЛЕБНИКОВ

**«...С МИРОМ РАССТАВАТЬСЯ  
НЕ ОБЯЗАН»**

\* \* \*

Бьется птичка в клетке грудной —  
хочет вылететь в небеса.  
А щебечет вон тот, другой,  
красноперый — я только за  
продолженье жизни земной  
без меня уже, без меня,  
потому что когда со мной,  
безнадежней день ото дня.

**Пришелец**

*Памяти Александра Аронова*

Решил я побыть на Земле —  
получилось неплохо.  
А что тут полсвета во мгле,  
что на сломе эпоха,  
так это, считай, повезло,  
да и с кем не бывает.  
Творец — не вселенское зло —  
сыновей убивает.  
Но я-то явился среди  
голубого июля  
в такой безопасной среде,  
где ни бомбы, ни пули.  
Хотя громыхало вдали,  
но меня не задело,



и жили в объятьях Земли  
и сознание, и тело.  
Россия досталась — страна  
на границе с хаосом.  
Но были зима и весна,  
даже лето и осень.  
Они отвлекали меня  
от сигналов из Центра.  
Мне нравилась эта Земля  
непроявленным чем-то.  
Здесь можно б устроить все так,  
чтобы всем и поболее.  
Но мне не хватило — пустяк! —  
подготовки и воли.

\* \* \*

Смотрю на портрет будущего —  
на немощного старика.  
Зачем по утрам ты будишь его,  
старая карга?

Тебе от него толку-то —  
только воздать за грешки.  
И у меня их столько-то,  
одна отмазка — стишки.

\* \* \*

Я навек молодой поэт —  
в шестьдесят даже с лишним лет.

Это лишнее мне не лишнее.  
Вот вся жизнь моя, так возьми ж ее!

Или лучше пока не бери —  
номер мой невзначай набери.

И скажи мне хоть что-нибудь главное  
или можешь — смешное, забавное.

Я с Тобою похохочу —  
я ведь тоже добра хочу.

\* \* \*

Листья, как автомашины,  
шуршат за мной тревожно.  
Я же, как умалишенный,  
оглядываюсь грозно.

В сущности, сухие листья  
любых машин опасней...  
Впрочем, жизнь покуда длится  
прекрасной.

\* \* \*

Жалко, что не буду на земле —  
и на море, озере и речке,  
даже — в мартовской промозглой мгле  
и на деревенской душной печке.

Я уже на свете жить привык,  
и не надо мне иного света —  
хватит этого. Я не проник  
в его тайны, не постиг сюжета.

Даже если старым стариком —  
полуслеп, рассеян, безобразен —  
буду доживать свой век тайком,  
с миром расставаться не обязан.

Что-то все же видеть я смогу,  
слышать, чувствовать и помнить много.  
А потом — уж ладно, на бегу,  
с палочкой, за бородою Бога.

\* \* \*

Уходящая натура —  
это я, отныне я.  
Уходящая наутро  
иль на склоне дня.

Уходящая куда-то —  
знать бы только: мне куда?  
Попрощаемся, ребята,  
раз и навсегда.

Вам туда же? А куда же,  
нам не сообщили даже.

Сергей СЛЕСАРЕВ

## ДУРНАЯ ВОЙНА

Р а с с к а з

Петр нашел утку —дохлую, со свернутой шеей.

Утка была его: жирная, ладная первогодка с черным пятном на крыле. Петр думал оставить ее к Новому году, чтобы поднабрала еще жирка и потом, замаринованная с апельсинами, черным перцем и розмарином, с ароматной хрустящей корочкой, порадовала всех за столом. Но теперь придется резать другую. Если к декабрю еще останутся утки...

На дворе стоял еще сентябрь, и птица всю набирала вес. Каждый день Петр выпускал ее гулять на пустырь за двором. Пустырь небольшой, наполовину заросший травой, но с огромной ямой, заполненной водой, — почти прудом с топкими, из черной грязи берегами, с подернутой зеленой ряской гладью. Никаким зерном, никакими добавками так не откормишь птицу, как она добрела на такой воде: грязной, мутной, но кишасей червями, мошками, личинками, водорослями, исторгающей на поверхность жизнь из затхлого нутра — с заиленного липкого дна.

Что-то мистически-притягательное было в том, как птица кидалась к воде, шлепая по грязи и барахтая крыльями. Странное томление в груди словно вспыхивало искрами, когда одна, вторая, третья утка с разбегу бросалась в пруд и плыла, плыла к середине, подныривая под неопрятную гладь, вспарывая воду забрызганной зеленой ряской головой. И Чернокрылая, чье тельце остывало сейчас у ног Петра, еще вчера казалась самой резвой, самой красивой — так играло солнце на ее спинке, и черное пятно на крыле маяком призывно бросалось в глаза среди кипящей утки-ми воды...

Петр поднял тушку с земли и повертел. Ни капли крови, ни выдранного пера —ничего... Это явно человек: свернул шею и подкинул поближе ко двору, чтобы хозяева наткнулись при выходе.

— Может, все же собака? —спросила жена.

Она подошла незаметно и теперь нависала над калиткой крепко сбитым туловом: грубоватая, словно вытесанная наспех заготовка, с мощной грудью и огромными мужицкими ладонями сильной, удушающей хватки, способными раскалывать орехи легким нажатием пальцев. И говорила

она под стать: густо, неповоротливо, взвешивая слова на невидимых весах. Казалось, еще чуть-чуть — и услышишь, как скрипят тугие шестеренки и позвякивают гири у нее в голове.

— Вряд ли. Собака бы горло перегрызла, обожрала... А тут, сама смотри, ни единой царапины.

— Сосед, падла! — выругалась жена и тяжелой, покачивающейся походкой побрела к дому.

Потом резко вернулась и вырвала утку из рук Петра:

— Собакам сварю — чей-то добру пропадать!

И он не стал спорить и противиться, хоть и горело желание дохлой тушкой начистить соседскую харю до треска лоснящихся, покрытых жирными угрями щек. Да стреноживало сомнение: а вдруг не сосед, вдруг кто другой? Или сосед не крестьянин — неужто не жалко такую птицу губить?!

С соседом шла давняя война, непонятная, дикая. И началась она так незаметно, по-тихому, что, пожалуй, и не вспомнить сейчас, из-за чего разгорелся уголек раздора. Может, ненависть вспыхнула тогда, когда сосед резко пошел в гору, прикупил машину, вторую, третью... Вон во дворе и трактор — синий, слегка побитый жизнью «белорус» — с прошлой недели красуется; и каждый вечер, горделиво забирая подбородком чуть ли не до неба, сосед «выгуливает» его: прямыми, как деревянными, руками держит руль, меж губ чуть прижата сигарета, кепка заломлена набок, — медленно проезжает по улице в один конец, потом оборачивается и замирает у своего двора. Долго еще Петру, даже за плотно закрытыми окнами, слышится утробное тарыхтение «белоруса», долго... до самой ночи.

И ходит-то теперь сосед степенно, и здороваётся с односельчанами через раз, будто приветственное слово гвоздями к языку приколочено да гвоздодер дома позабыт. А был-то... был-то...

Кем он был-то?

Появился здесь однажды со скудными, заношенными вещами, что уместились на половине тракторной тележки, с забитой мужниной рукой женушкой, иссохшей, с резко выдающимися скулами. И все шастал по деревне, сутулясь и поглядывая, как собачонка, не перепадет ли чего, а черные глаза углями-антрацитами вспыхивали-отсвечивали на каждую ладную бабенку на улице. Может, и Петрову жену обмазал этим сажным взглядом не раз. Петр, думая об этом, чувствовал странное покалывание, обиду и на соседа, и на свою Галю — нескладную, но и притягательную огрубевшим, оплывшим от непосильной деревенской работы телом, источающим первобытный жар русской печи.

Сгоняя уток с пруда, и все лезли в голову дурные мысли. Где сосед теперь? Что делает? Может, стоял и смотрел, как Петр вздыхал над убитой уткой? Подкинул — и радуется! Нагадил — и доволен! И смеется, пересчитывает оставшуюся птицу, намечает новую жертву...

Утки шли неохотно, громко бранились, кивали головами. Утак шипел и топоришил перо на шее, поршнем гуляла глотка от недовольного то ли

рыка, то ли крика. И чудился Петру в этом утином протесте упрек: мол, не уберег Чернокрылую, такой ты беспутный хозяин, что и за птицей доглядеть не можешь. И косился утак при этом черной бусиной глаза, и боком обходил человека, тревожно и зло подергивая крыльями. А Петр в ответ с виноватым прищуром помахивал прутом, покрикивал по-доброму: мол, давай, не робей, веселей, вон хозяйка и мешанку уже рассыпает, картох намяла с пареной кукурузой, давай!

И тянулась-втягивалась во двор через широкую калитку утиная стая, покачиваясь лодками, по измятой земле. Ими измятой, их широкими лапами-лопатами. Ими... и Чернокрылой.

Крепко засела она в голове, уцепилась, угнездилась под твердым черепом — свербит, не дает покоя. Вчера вот только и была, что утка с черным пятном, а теперь стоит перед глазами мученицей с собственным именем, символом межсоседской войны. Все-таки какие порой смерть шутики выкидывает! Выцепит из потока жизни ничто, пустую душу, и словно на сцену бросит, высветит как прожектором: мол, смотрите и любуйтесь, цените и горюйте, расплачивайтесь своим покоем и благодушием...

Жена клушкой суетилась по двору — то подливала воды в корыто, то подсыпала мешанку — и все считала вымазанным в кукурузно-картофельной гуще пальцем птицу: одна, вторая, третья, белая, пестрая, утак, утка... Посматривала на мужа зорко, цепко, недовольно хмурилась, что не спешит закрывать калитку. А Петр стоял и глядел на пустырь; достал сигаретную пачку из кармана и долго крутил в руках, принаравливался, выбирал, а выбрав, затягивался жадно — и в холодных сумерках болезненным пятнышком вспыхивала и тут же гасла сигарета. Обжигался терпким, горьковатым дымом и думал, что вот он стоит и курит, и алое пятно сигареты, быть может, видно у самой фермы, от которой разносится легкий, подрагивающий в осеннем воздухе гул дойки. Может, даже соседская баба, доярка, сейчас гремит флягами со створожившимся ободком вчерашнего удоя у края и поглядывает в его сторону. Видно ли ей оттуда, как он затягивается — зло, нервно, будто выкуривает Чернокрылую из головы?

Так же нервно Петр курил на каждую соседову обиду: и на сплошной высокий забор, отбрасывающий по утрам тень на Петров огород, и на крутую крышу гаража, стряхивающую снег и дождевую каплю к Петру во двор.

Курил, а потом шел и дрался с соседом: заезжал в челюсть сразу, с порога, без долгих разговоров. В такие минуты Галя стояла на крыльце, с замиранием сердца вслушивалась в звенящий из-за забора мат, вздрагивала от визга соседки и гадала на тугие удары — кто кого. А потом не выдерживала — бежала и огромными ручищами разнимала мужиков, и сама материлась как заправский матрос. Сосед при виде грозной Гали прятал глаза и уползал в полутемное нутро дома, выглядывал в окно и щерился желтоватыми зубами; его жена грозилась участковым и звала всех вокруг в свидетели. А Галя тащила мужа по пыльной улице домой, и из окон смотрели им вслед любопытные взоры — значит, завтра побежит ураганным ветром сплетня от дома к дому, от магазина до почты, от автобусной оста-

новки до фермы, и будут все гадать и рядить, посадят в этот раз Петра или погуляет еще малость...

Но Галю эти разговоры не волновали; она рассуждала просто, буднично и сейчас больше думала, как выгоднее сварить псу похлебки, чем о дохлой утке и соседе. Загнала птиц в сарай и сидела на скамейке, в центре огромной кляксы света от крылечной лампы, бодро огромными пальцами щипала ошпаренную кипятком Чернокрылую, и подернутое кремовым жирком утиное тельце бросалось в глаза болезненным пятном.

Петр зло сплюнул тлеющий окурок под ноги, припечатал подошвой, замер у калитки.

— Ну что ты там? Долго еще будешь глаза мозолить? — донесся голос Гали.

Она разогнулась. Утиная тушка безвольно свисала с руки.

И Петр хотел было закрыть калитку, но тут из сгущающейся темноты вынырнул силуэт и поплыл мимо, и в тусклом, едва достигающем калитки свете лампы черным вспыхнули глаза соседа.

— Чё, соседушка, понравился мой подарок? — он увидел Галю и замер, и смотрел мимо Петра на пятно света у крыльца и на тушку Чернокрылой, близоруко щурил глаза.

И Петр понял, что тот его не видит, стоящего в тени, привлеченный электрическим мерцанием с крыльца. Понял и замер, не зная, как быть, только смотрел, как лыбится сосед, и вслушивался: что там жена, молчит? Молчит. Правильно делает, лишь бы не паялилась в ответ на этого скота!

Петр неуклюже повернулся посмотреть на нее, и треснул под ногами брошенный прут. Сосед вздрогнул и наконец выхватил глазами Петра — и даже падающая на лицо ночь не могла скрыть, как побледнели соседовы щеки и задрожал подбородок. Так и понесся прочь гулкой топот ног, стукнула калитка рядом, и загремел цепью, заскулил соседский пес.

— А, зараза! — выругался Петр. И долго еще топтался по двору, все проверяя, надежно ли прикрыты сараи да не покосился ли забор.

И за ужином, и ночью все стоял в голове этот соседский топот и тошнило от запаха разваренной собачей похлебки, томящейся на плите.

Кем он был-то — сосед? Гольтьбой, залетной вороной, перекасти-полем, избороздившим пол-области и нигде подолгу не задерживавшимся. Мужичонкой с бегающими глазками, что вечно, казалось, выпрашивали подачки.

А кем был Петр? Коренным, крепким хозяином, выросшим глубоко в здешнюю землю; и нес-то он по этой земле свою голову прямо и высоко — каждый день пять раз от дома на телятник и от телятника на ферму, — и кланялись ему в ножки мужики да бабы: как-никак заведующий! Над всеми коровами, быками да телками начальник; над кормами да бидонами-флягами с кремовым молоком и бледным, как мел, обратом, что возвращался с молокозавода, распорядитель. И сам сосед не околачивался ли у Петрова крыльца, разводя пьяные сопли, упрашивая вернуть его скотником на телятник?!



А теперь... Эх, нет теперь ни телятника, ни бычатника, и от самой фермы остался один огрызок, да и тот чужой: не сгинувшего колхоза, а так, непонятно чей, заезжего фермера из соседней деревни...

И сосед уже давно в ноги не кланяется, по деревне не побирается, а все словно мстит за тот пьяный поклон у крыльца: норовит укусить, принизить, не заметить. Поднялся на далекой вахте, отъел пузо, захрустел банкнотами в кармане. И все ему мало, все не налопается: и жену вон к доживающей свой век ферме приставил, и трактор прикупил — наверняка чтобы шабашить, вспашкой да боронованием зарабатывать. Жди теперь с замиранием, что с новой вахты привезет, учудит...

До уток вот добрался. Передушит, гад, одну за другой или, чего доброго, подкинет отравленного зерна — и прощай полторы сотни голов! Даже на псовую похлебку не сгодятся. Да и тушенку не из собаки же делать, не собакой же на рынке торговать.

И ворочали шальные мысли Петра с боку на бок, сбивалась простынь, жалобно, натужно поскрипывала кровать, и громким всхрапом отзывалась жена на соседней половине.

Запереть бы птицу во дворе, закрыть от стороннего взгляда, не выгонять на пустырь — так ведь и тут достанет, через забор подсыплет. А утка — птица тупая, прожорливая, клювом работает, как молотилкой: сначала проглотит, потом думает. Знает сосед: Петру не до вахт, пенсия да птица — вот и весь заработок. Пожелал отомстить за обидные побои, за давнишнее нытье у крыльца... Ни забор, ни гараж его и десятка Петровых уток не стоят!

Как толчком подняло с кровати, потянуло на улицу. И не помнил даже, как нацепил штаны да рубаху, как в спешке, путая ноги, обувал сапоги, как бежал по двору да, таясь от луны, вдоль забора пробирался к соседу.

Очнулся только у трактора, прилип ладонью к еще теплому мотору — и в удивлении замер: что я тут делаю, зачем, почему в руке канистра с бензином?

За спиной заворчал, загремело цепью: никак соседова собака волнуется, чует неладное, злое. Замирает Петр, втягивает голову в плечи, жмется к большому пыльному колесу, задерживает дыхание, словно на реке под воду ныряет, как в детстве за раковинами. И успокаивается пес, дремотно ворчит, снова гремит цепью и замолкает...

«Тупая скотина, — забавляет Петра мысль. — С таким-то сторожем и врага не надо!»

Смело, твердой рукой открывает он канистру и плещет бензином на колеса, на кабину... В нос ударяет нефтяным дурманом, но приятно вдыхать этот резкий и сладковатый запах мести. И тянется уже рука к коробку со спичками, чиркает — вспыхивает огонек и то сжимается, то разгорается под вздохами ночного ветерка. Завороживая, играет в глазах, шепчет на ухо: не робей, поспешай, он тебя уткой, да и ты не плошай — пусть знает, как задевать Петра Мордасова!

И в этом отсвете, в дуновении ветра вдруг чувствуется давнее, забытое, затаенное глубоко-глубоко, что и не вспоминается ясно, а легким маревом

дрожит перед глазами: как в детстве он стоит у окна и следит за большим огненным бутоном, что расцветает над дедовым сараем, и как бабка взмахивает руками и опускает, взмахивает и опускает, и все причитает: «Ироды! Спалили, ироды!..»

На его дворе стукнула дверь, выпустила на волю заспанную Галю. Петру даже отсюда хорошо было видно, как она застыла, подслеповато высматривая мужа, и расплывшаяся тень ее легла на перила крыльца. Как же похожа она на бабку сейчас! Как же похожа!

Нахлынуло то позабытое чувство утраты и горечи, когда наутро он бродил по черному пепелищу и настырный пепел лип к подошвам и щечкам, а дед сидел рядом на чурбаке и смахивал скупую слезу: сколько труда вложено, а прошла ночь — и унесла все с собой...

Вдруг и сосед будет сидеть и плакать вот так же, как и дед? Неужто за утку можно зараз перечеркнуть чей-то труд? И дальше-то — что?..

Догорела спичка, обожгла пальцы, но Петр дотерпел боль, смолчал, только зло сунул коробок обратно в карман и неистово забарабанил канистрой по забору, по калитке, так что соседский пес от ужаса взвыл, зашелся лаем, захрипел. Загорелся свет в доме, грохнула дверь, прошлепало гулко по двору — и угольный соседов взгляд завис перед Петром, и светились в нем и ярость, и страх, и отчаяние.

— На! Подавись! — сплюнул Петр и швырнул наземь канистру, потом развернулся и на ватных ногах удалился к себе. Только у калитки на миг оглянулся.

Сосед бегал вокруг трактора и, как Петрова бабка когда-то, то вскидывал руки, то опускал.

Больше утки у Петра не пропадали.



Ганна ШЕВЧЕНКО

## ГОРОДСКИЕ СЕЗОНЫ

\* \* \*

Над районом каркнула отмычка —  
это ночь крадется, как бандит,  
что за неприятная привычка —  
каждый вечер снова приходить.

Божий свет преступно убивает,  
а к утру становится бела —  
я-то знаю, ночи не бывает,  
это тень на здание легла.

Пожалей ты нас, умалишенных,  
тех, о ком печалится луна,  
для кого в карманах законных  
тьма на черный день припасена.

\* \* \*

Кольшутся волосы донных осин,  
и женщина глухонемая  
из дома плывет в овощной магазин,  
капусту и лук покупает.

Машина, медлительней, чем кашалот,  
идет по земле мутноватой —  
наш мир появился на свет из болот  
и станет болотом когда-то.

Подходит машина, скрипят тормоза,  
и фары тонируют светом  
ту женщину, что не умеет сказать  
и слышать не хочет об этом.

\* \* \*

Городские сезоны приходят вразброс,  
подмосковным властям потакая,  
атрибуты зимы — реагент и мороз,  
а в руке — карамель ледяная.

На неоновых вывесках новый завет —  
боги шлют распродажи и скидки,  
это поиски счастья, которого нет  
ни в одной безлимитной кредитке.

Вот поэтому хочется выйти во двор  
и вдохнуть отраженного света,  
чтобы рухнуло небо, как ржавый топор,  
на скамью муниципалитета.

Вот поэтому снег, глянцеват и медов,  
одеялом лежит златотканым,  
слово «вечность» сложилось из теплых носков  
в темноте на полу, под диваном.

### Уборка

Неподвижную стену  
луч прожжет добела —  
вытreshь попеременно  
все свои зеркала,  
словно делаешь запись  
на скулах лица,  
отраженья касаясь,  
как вод озерца.

Есть четыре картины,  
а образа нет —  
неподвижность гардины,  
скрывающей свет,  
вдруг наводит на думы  
о свойстве фактур.

Продолжаешь без шума  
свой утренний тур,  
есть под ванною Vanish  
и промывочный ерш —  
просypаться устанешь  
и однажды уснешь.

\* \* \*

О чем писать? О том, что в этот вечер,  
измаявшись от вынужденной лени,  
набросив куртку летнюю на плечи,  
сизу, поставив сумку на колени.

Сизу, прикрывшись тьмой для конспирации,  
внутри озелененного квартала:  
рябина, ясень, тополь, три акации  
(я их однажды все пересчитала).

А рядом на скамейке две соседки  
из сумерек достали сигарету —  
и тут же дым, мучительный и едкий,  
направился к широкому просвету.

Движения курящих ритуальны —  
стоит рука свечою восковою,  
и обруч дыма, будто специально,  
яснеет над моею головою.

\* \* \*

Горожанам, уставшим от хмари,  
нужно ехать в метро по прямой,  
там сквозняк свою нежность подарит  
им, летящим с работы домой.

Над мостами повесились грозы,  
воды выпучил ливень в петле,  
а внизу — наголоватые позы,  
отраженные в каждом стекле.

Недосказанность зреет в озоне,  
подготовились к реву такси,  
сыро, холодно в этом сезоне,  
зябко новые вещи носить.

Значит, необходимо согреться  
и прорвать неудобный настил,  
чтобы в каждое шумное сердце  
дождь зерно тишины поместил.



\* \* \*

Невзрачный район, как помарка,  
побелкой исправлен давно,  
здесь пахнет вином и зажаркой  
от послевоенных домов.

Здесь ветер гуляет по крышам,  
неслышно гудят провода,  
и в каждом строении рыжем  
из крана выходит вода.

Живут здесь легко и без веры,  
не парятся по мелочам,  
но месседжи в высшие сферы  
пытаются слать по ночам.

Ночная верхушка поселка  
украшена белой луной,  
стоит новогодняя елка  
на детской площадке одной.

Вода здесь выходит из дома  
и в снег превращается, чтоб  
волхвы испытали истому,  
увидев глубокий сугроб,

площадку, скамейку, качели,  
столбы, ледяное белье,  
звезду на рождественской ели  
и свет непрерывный ее.

\* \* \*

Ореолом своим звенит,  
источается светом лап —  
это солнце ползет в зенит,  
неклюжее, словно краб.

Тонок каждый его сустав,  
металлический панцирь бел —  
мы ведь тоже войдем в состав  
каталога небесных тел.

Оставляя дымящий шлейф,  
как бессмысленный атрибут,  
унесемся, преодолев  
силу трения о судьбу.

Леонид ШОР  
**ДЯДЯ СЕРГЕЙ**

Р а с с к а з

— Бульон, а ну, топай сюда!

Дядя Сергей — худой, на вид щуплый, невысокий — щурится, и глубокие морщинки у глаз делают его лицо таким, словно оно не отсюда. Иногда я думаю, что этот прищур дядя Сергей просто надевает на себя, когда хочет казаться не тем, кто он есть на самом деле.

— Подставляй горсть...

Он сыпает мне из свернутой в кулечек газеты жареных семечек. Я лузгаю вместе с ним.

— Что, вчера Витек опять нажрался? — полуспрашивает дядя Сергей, хотя и без меня знает.

— Ага.

— Бузил?

— Да. Кричал на тетю Нину.

— А Нинка все схавала и после на горбу его домой понесла... Дура. А как ее иначе назвать, скажи, Бульончик?

Дядя Сергей любит придумывать разные прозвища. Прозвища не обидные, так что я не против.

Он не ждет моего ответа, потому что, подтверждаю ли я то, что он сказал, или нет, для него неважно. Ему важно мне это сказать. Для него сейчас это намного важнее, чем слушать меня. Ну потому что какое может быть мнение тринадцатилетнего по такому жизненному вопросу?..

Дядя Сергей, думаю, многое может рассказать о жизни. Я натягивал спицу у велосипедного колеса и случайно услышал, как тетя Валя, мать дворового приятеля Мишки, говорила соседке:

— ...Ну, Нина, слушайте, десять лет... Это же не год-два, даже не три. Десять... Там у него, говорят, всё гуртом: разбой, убийство. У них банда была... А сейчас посмотрите: сидит весь такой, как будто и не при делах. Со всеми на «вы». К пацанам нашим примазывается. Я Мишке сказала, хоть раз увижу рядом с этим уголовником — отстегаю ремнем, на жопу неделю не сядешь.

Уже дома, за ужином, я решил все выяснить окончательно.

— А дядя Сергей правда в тюрьме сидел?



Мама сразу встрепенулась:

- С чего ты взял?
- Тетя Валя с тетей Ниной про него говорили.
- А он сам тебе не рассказывал?
- Нет.

Мама многозначительно-иронично заметила:

- Странно...

Отец знающе сообщил:

- То ли десять, то ли двенадцать.

Я присвистнул. Мать с наигранным удивлением переспросила:

- Лет?
- Дней!.. Лет, конечно.
- А ты откуда знаешь?

Мама слышала, что дядя Сергей сидел. Разумеется, не от него самого — от соседей. Ей, наверное, кажется, что своими вопросами ко мне и к папе она оберегает нашу семью от каких-то опасностей.

— Откуда знаю?.. — Отец вопросительно поднял глаза. — Весь двор знает.

- Щегол, куда спешешь? Садись рядом.

Дядя Сергей занял лавочку у третьего подъезда. Чаще всего его увидишь или здесь, или в беседке. А почему здесь — так это его подъезд. Пятый этаж, квартира направо.

- Откуда топаешь, из школы?
- Да.

- Портфель, смотрю, у тебя скоро лопнет. Хорошо учишься?

Он снова прищуривается. Его левый глаз непроизвольно дергается, будто подтанцовывает под неслышную музыку.

То, что у него такой глаз, я заметил давно. В первый раз я так откровенно засмотрелся на его танцующий глаз, что потерял нить разговора. Он тогда сказал: «Эй, братан, ты что, фотографируешь меня?» Про «фотографируешь» я сразу его понял, правда, только в том общепринятом смысле, что я хочу его запечатлеть, запомнить, оставить в памяти. Скрытое значение этой фразы я осознал лишь через три-четыре года. Хоть в его тоне была обычная шутливость, но в то же время сказанное прозвучало с какой-то непривычной серьезностью и даже, как мне показалось, отдаленной угрозой. Больше я так пристально дядю Сергея не разглядывал...

- Учись, учись. Ты кто — хорошист? Или отличник?

- Тройки тоже попадают.

— Попадают — это не страшно. У меня тоже попадались. И ничего не случилось. Я, наверное, хуже тебя учился.

- А у вас по каким предметам тройки были?

Дядя Сергей хмыкает, резко откидывает голову, в горле у него словно клекочет. Можно подумать, что он смеется, но у него прежнее выражение лица: те же сжатые губы, те же, будто с подсмотром, серые зрачки с застывшим отливом сине-голубых волн.



— Да по всем... Вру. Пятерки были по труду и физкультуре.

— И всё?

Он улыбается:

— А что, мало?

— Немало.

— А почему спрашиваешь? — И, не ожидая ответа, поясняет: — Я лодырь был. Если бы я не лодырничал, был бы отличником. У меня в первом классе за отличную учебу грамота была. Понял? А потом понеслась...

— Бульон, спички есть?

Как обычно, дядя Сергей на лавочке. Он сидит ко мне спиной, и он меня увидел! Как-то получается, что ему все, что происходит вокруг, видно. Сидя, он закидывает ногу на ногу, спину держит ровно и при этом время от времени покручивает головой.

Я для приличия роюсь в карманах, хотя отлично знаю: спичек у меня нет.

— Ты не куришь... — дядя Сергей будто напоминает сам себе. — Это хорошо, что не куришь.

В его словах понимание и досада. Кое-кто из дворовых пацанов, даже младше меня, уже вовсю курит и всегда выручает дядю Сергея спичками и сигаретами. Он смотрит по сторонам: неподалеку стоят женщины, но курящих никого.

— А вот батя твой курит, — находчиво вспоминает он. — А ну, сбегай домой стрельни спички у бати.

Я киваю и быстро иду к своему подъезду. Конечно, лучше всего ни у кого не просить, а просто незаметно стырить коробок из упаковки. Мама покупает спички упаковками. Они лежат в кухонном шкафу. Открываю дверь. Родители в зале, кухня пуста. Бесшумный бросок к шкафу — и коробок в кармане.

— Я скоро приду, — на ходу сообщаю родителям.

Когда дядя Сергей закуривает и хочет вернуть мне коробок, я отрицательно мотаю головой. Он доволен.

— Ну, спасибо, приятель. Садись, что стоишь?.. Как дед, здоров?

— Здоров.

— А что я его давно не вижу?

— Вчера был у нас.

— Значит, прозевал. Толковый мужик твой дед. Он уже ох когда был толковым!

Дядя Сергей закидывает руку поверх плеча за спину, будто бы указывает на накопленную за прошедшие годы поклажу, которую никто, кроме него, не видит и не ощущает. Или словно перекидывает невидимый мостик в какое-то далёко — легкое и безоблачное, — когда он еще был молодым.

Моего деда он знает по заводу. Дядя Сергей работал на заводе до армии. С тех времен и помнит деда. Тот уже был начальником цеха, и его почти все заводчане знали.



То ли из-за деда, то ли он прочел что-то в моих глазах, но у дяди Сергея заиграли ассоциации. Неожиданно он сказал:

— После завода меня в армию забрали. Там я и сел.

Я изо всех сил догадываюсь, что слово «сел» дядя Сергей использует в том самом, слышанном мною уже не раз значении тюрьмы, зоны. И я рискую:

— За что?

Вот так само вырвалось. А он не удивляется и спокойно поясняет:

— Сержанта отоварили. — Уточняет: — По башке ему настучали. Чтобы не борзел. Ну, меня и посадили, как зачинщика. Словили и посадили. — Слегка улыбаясь: — Я же после того, как сержанта отлупили, сбежал из части. Догадывался, что на меня всё повесят.

— Почему на вас? Его ведь все били.

— Не все. Я и еще двое. Те сосунки, а мое дело уже тогда было мутное. Все мои приводы в милицию и безпятиусловный — к армейскому делу подшили. Я у них был как какашка: все ходили, косились, боялись вступить. — И подытожил: — Моя первая трешка.

Тыльной стороной руки смахивает со штанины забытую шелуху. Штаны у него серо-пепельного цвета, выцветшие.

— Могли и больше дать. Пожалели, потому что, в натуре, гнида был сержант...

— А ну, иди сюда!

Мама стоит около подъезда и машет мне рукой. Я сконфуженно пожимаю плечами:

— Пойду, мама зовет. До свидания.

— Иди, раз зовет.

Я поворачиваюсь и ухожу. Мама раздражена:

— О чем ты с ним разговариваешь?

Я молчу.

Она крепко берет меня за руку и уводит в подъезд. Пока мы ждем лифт, она, понизив голос, выдает свою аргументацию:

— Это очень опасный человек.

— Откуда ты знаешь?

— Он сидел в тюрьме... — Многозначительная пауза. — Очень долго. И ты знаешь за что. После стольких лет там он не может оставаться нормальным.

— Ты же его совсем не знаешь.

— И знать не хочу! Я все тебе сказала.

— Ты поговори с ним сначала.

Мамины аргументы иссякают.

— Неважно, пускай он и выглядит нормальным, все равно я не хочу, чтобы ты с ним общался.

Я не возражаю. Маме не объяснишь: то, что мне говорит дядя Сергей, больше не расскажет никто, потому что ни у кого в нашем дворе нет его жизненного опыта.

Дней на пять дядя Сергей исчезает. Пустует беседка. Нет на вытоптанной пацанами траве шелухи от семечек (он один может за день горку нащелкать). Скамейка у его подъезда занята. Четыре женщины сидят, довольные, что дяди Сергея нет и они наконец могут спокойно отдыхать и разговаривать обо всем не стесняясь. Просто, когда дядя Сергей на скамейке, к нему из взрослых почти никто никогда не подсаживается.

Где он сейчас, для меня загадка. Ведь здесь его дом. Где еще кроме как в своей квартире он может спать? Конечно, у него есть приятели, я видел по крайней мере двоих. Может быть, он заночевал у кого-то из них? Хорошо, ну ночь, две, но его нет почти неделю. Может, с ним что-то случилось?..

— Бульончик! Бульон!

Дядя Сергей! Я только вышел из-за угла дома — сразу увидел его. А он меня. Сидит на лавке, семечки лузгает. Я чуть ли не бегом к нему.

Он ловит мой взгляд и предлагает:

— Подставляй лапу.

Я не знаю, хочу ли сейчас семечки, а вокруг уже разносится знакомый аромат. И у меня без раздумий вырывается:

— Спасибо. — И я протягиваю ладонь.

Я так рад, что дядя Сергей снова здесь! Замечает ли он это, не знаю. По его лицу трудно что-то понять. Даже когда он говорит явно смешные вещи, лицо его не смеется. На нем просто появляется какое-то другое выражение.

— Со школы? (Откуда же еще...) Не прогуливаешь?

— Нет... Иногда только.

— А я иногда только... в школу ходил. Ну, какие у нас новости?

Я качаю головой:

— Никаких.

— Меня не спрашивали?

— Кто?

— Мало ли... Гм... менты?

— Не спрашивали.

— Пса хоть кормили?

Пес — это Рыжик, дворовая собака. Все его кличут Рыжиком. Никто, кроме дяди Сергея, не зовет Рыжика псом. Когда он называет Рыжика — пес, это звучит весело. Рыжик бездомный. Дядя Сергей его опекает. Выносит ему из дома остатки мяса, рыбы, все, что на кухне остается. Рыжик съедает почти все. Даже бумагу, на которой ему выносят еду, вылизывает.

Мне очень хочется спросить дядю Сергея, где он пропадал целую неделю, однако что-то меня останавливает. Какая-то невидимая черта, которая между нами пролегает. Кто прочертил эту черту, я не знаю. А возможно, никакой черты нет, и, спроси я его, куда он на неделю исчез, он бы ответил.

И все-таки я не выдерживаю и пробую с другого бока:

— Вас искал дядя Валик.



Дядя Валик — это, кажется, единственный взрослый дворовый приятель дяди Сергея. Все говорят, что он изрядно выпивает, но я его пьяным не замечал.

— Давно?

— Вчера.

Дядя Сергей на секунду выглядит заинтересованным и сразу остывает. И, судя по следующим словам, даже этот его мимолетный интерес кажется наигранным.

— Похолодало, а? — Он, будто разогреваясь, хлопает себя по коленям. — А в Краснодаре тепло.

Кажется, действительно, «потеплело»... и из дяди Сергея можно что-то выудить.

— Откуда вы знаете?

Взгляд в мою сторону.

— Из прогноза погоды.

У него есть жена, тетя Лена. Она не похожа на других женщин нашего двора. Порой я вижу ее возвращающуюся с работы. Она стройная. От соседки я слышал, что у дяди Сергея раньше уже была жена, но она его не дождалась из тюрьмы. А тетю Лену он позже подцепил и привел в свою квартиру. А так как она разведенка и у нее двое детей, она вцепилась в него мертвой хваткой. И что вообще она ему не жена, а сожительница.

А мне кажется, что дядя Сергей ее любит не меньше, чем она его. Иногда они выходят во двор с детьми — девочкой и мальчиком. Дети еще маленькие, и они их всюду сопровождают.

Дядя Сергей учился в пятой школе. И я тоже, пока мы не сменили квартиру и меня не перевели в десятую, нынешнюю. Я однажды спросил его, помнит ли он в пятой кого-то из учителей.

— Помню такую лохматую, кличка была — Пудель. То ли математичка, то ли физичка.

— Математичка! Пудель — ее и сейчас так зовут!

— Ну и дебила директора. Это он меня из школы гнал. Мать пошла в гороно, плакать... Оставили.

— А за что хотели выгнать?

Он задумывается.

— Ты знаешь, столько раз меня хотели выгнать... В тот раз за что — и не вспомню.

Он щелкает семечки; чешуйки ныряют вниз как склеенные дельфинчики, нос к носу, и ложатся на асфальт. Иногда приземляются белыми брюшками вверх. Вокруг расходится подсолнечный аромат. Семечки, видимо, хорошо прожарены.

Дядя Сергей вдруг оживляется:

— Вспомнил! Я кубок разбил. Хрустальный. Подарок школе от нашей партии. Он на почетном месте стоял. А я на перемене нечаянно снес его. Визга было!

Вечером я выхожу из дома; у меня в руке пластина залитых то ли медом, то ли сахарным сиропом спрессованных жареных семечек — кози-

наки. Увидел дядю Сергея в окно. Я люблю козинаки и несу угостить его. Подхожу, отламываю кусок.

Он мотает головой:

— Не-е, это не для меня.

Растягивает в широкой улыбке рот — я вижу только четыре зуба.

По одному в каждой части рта.

— А семечки как грызете?

— Семечки — приловчился.

Мне неудобно спрашивать, что случилось с его зубами. Он ведь не старей. На вид лет сорок — сорок пять. Но и промолчать неудобно. Нужно как-то отреагировать.

— А что у вас с зубами?

— А что с зубами?.. Скоро новые вставлю. Золотые.

Я знаю, что золотые зубы — это очень дорого. Зато они, наверное, хоть и дорогие, но очень прочные. И красивые. И откуда у дяди Сергея деньги на такие зубы? Одевается он обыкновенно. Машины у него нет. Где он, интересно, работает?

У моих родителей тоже есть вставные зубы. Золотые и незолотые. И когда разговор касается золотых зубов, всегда подчеркивается их особая ценность. Однако у родителей золотых зубов немного. А если их полный рот — сколько же это будет стоить?

Дядя Сергей быстро шагает из подъезда. Я сижу на скамейке. Он щурится на меня и чуть кивает. Я здороваюсь. Рядом с ним толстый мужчина в костюме; верхние пуговицы рубахи расстегнуты, так что я вижу рыжеватые, курчавящиеся на груди волосы. У мужчины широкое лицо и толстая шея. И какой-то отвлеченный взгляд. Его взгляд пробегает меня, как пустое место.

— Пацан...

«Пацан» звучит так, как будто дядя Сергей что-то у меня спрашивает, но в то же время и ответа не ждет. А почему — он знает.

Я, конечно, ему отвечаю:

— Да?

Но они с толстым, не останавливаясь, проходят мимо.

— Ты кого-то ждешь?

Это мама. Я не заметил, как она подошла.

— Ты снова с ним болтал?

— Нет. Он шел мимо.

— А кто был с ним?

— Откуда я знаю?

— Бандитская физиономия... Вова, ты помнишь наш уговор — не подходить близко к нему?

— Я ни о чем не договаривался.

— Я тебя предупредила, а дальше думай сам.

За ужином одна из тем была — «физиономия» спутника дяди Сергея как еще одно подтверждение того, что с соседом лучше не общаться.



— Ты бы видел его... — мама обращается к папе, — толстенный, небритый, лицо пропитое и все в шрамах. — И как само собой разумеющееся: — А какие еще у него друзья могут быть?

Папа молчит. Я не молчу:

— Какие шрамы?!

— А ты не заметил? Шрамы по всему лицу.

— Это не шрамы.

— Странно, что не заметил, их и под щетиной было видно.

— У дяди Олега лицо тоже покоцанное — ты же его бандитом не называешь.

Дядя Олег — мамин двоюродный брат.

— У твоего дяди в детстве была кожная инфекция.

— Может, у того тоже была.

Мама, глядя на папу и указывая на меня:

— Ну что с ним говорить...

Папа накальывает еще несколько макаронин, обмакивает их в сметану и съедает. Потом запивает томатным соком. На губах остается красная полоса.

Мама замечает:

— Вытри губы.

Папе замечание не нравится, и он, вытерев рот, произносит:

— Ты бы зашла как-нибудь к нам в цех. Дым, масло, мазут, отходы... Посмотрела бы на литейщика в конце смены. А может быть, этот мужик — литейщик или шахтер. И какое у него должно быть лицо? Чистое, румяное? Какая работа — такие и лица.

Мама раздражается:

— Ага, шахтер... Я что, вчера родилась? Ты бы видел его глаза. Как у быка, в упор не видят. Говорят тебе, у него на лбу написано: уголовник. — И снова мне: — Как и твой любимый дядя Сергей.

...Сегодня я опять встретил дядю Сергея и толстого мужика. Они стояли у моего подъезда и разговаривали. Вернее, говорил дядя Сергей, а тот слушал. Мне показалось, не очень внимательно, так как смотрел в сторону. Я шел домой, но решил завернуть в беседку. Не очень хотелось проходить рядом с ними.

Время шло, а они всё не уходили. Мне уже надо было домой, и я медленно направился к подъезду. Успел услышать слова толстяка:

— С ним кто разговаривал? Никто. А так мало ли кто кого знает...

— Бульон, — прервал его дядя Сергей на полуслове. — Ты откуда?

— С тренировки.

— Спортсмен...

На его «спортсмена» было даже смешно возражать — так это прозвучало. Наверное, я сам рассмешил его своей тренировкой. Тренировки у всех ассоциируются с рослыми ребятами с большими мускулами. Ну а для меня спорт — это не очень серьезно.

При этом от спорта я не бегаю. Люблю футбол. Говорят, неплохо играю. Прилично шестидесятиметровку бегаю. Мои тренировки — это

изматывающая, нудная групповая езда на велосипедах. Возможно, кто-то в нашей группе и хочет чего-то достичь в этом виде спорта. Но таких всего двое-трое. Остальные, по-моему, просто сбрасывают лишний вес или спасаются от безделья.

После этой встречи дядя Сергей пропал почти на месяц. Иногда во дворе я встречал тетю Лену. Она смотрела на меня понимающе. Мы не разговаривали, но она подавала знаки, что с дядей Сергеем все в порядке. Ее улыбка, взгляд и даже подмигивание подбадривали меня.

И вдруг однажды я увидел его у входа в продуктовый магазин. А через секунду оттуда вышла тетя Лена и взяла его под руку. Я поспешил обогнать их и обернулся.

— Братан! — Дядя Сергей поравнялся со мной, потрепал по волосам. — Как дела?

— Нормально.

Назавтра он уже сидел на своей лавке, лузгал семечки и интересовался, что в родном дворе происходило в его отсутствие.

— Витка бухал? По улице пьяный опять бегал?

Я молча кивал.

— Звездюлей не получил?

— Дрался с дядей Андреем. Дядя Андрей потом повалил его на землю.

— Молодец, Андрюха! Зачем нам во дворе пьяницы?.. Как папан и маман?

— Нормально.

— Дед?

— Тоже.

Дядя Сергей сидел, по обыкновению, нога на ногу, в очень красивых коричневых туфлях. Таких я ни у кого не видел. Я на них засмотрелся, и он спросил:

— Нравятся? — С удовольствием повел стопой вправо-влево. — Италия...

Мне казалось, я понимал в хорошей обуви. Мама имела вкус и умела выбирать. Качественная обувь была одной из статей бюджета нашей семьи. Туфли дяди Сергея были кожаные, на низком каблуке, кожа тонкая и словно обтекает стопу.

— Дорогие?

— Сто двадцать.

— Ого...

Месячная зарплата моего отца была сто шестьдесят.

— Фуфло не носим, Вова.

— А где вы их купили?

— Далеко. — И, помолчав: — В Ленинграде. Был там?

— Один раз, с мамой, три дня.

— А я сам.

— А что вы там делали?

— Как что?.. Гулял. Красивый город.



— Вас поэтому не было целый месяц?

— Любопытный ты... И поэтому тоже. — Подмигнул: — Но болтать не надо.

Кто-то сказал маме, что к нему сегодня приходили двое милиционеров и еще один в штатском. Дяди Сергея не было дома. Они говорили с тетей Леной, а после разговора она стала громко возмущаться, почему им не дают спокойно жить, что дядя Сергей свое уже отсидел и что он не преступник. Когда они ушли, тетя Лена сразу оделась и куда-то заспешила.

Это дало маме повод вернуться к старой теме.

— Теперь понимаешь? — сказала она мне.

— Что?

— Ты слышал. Чтобы близко к нему не подходил!

— А что произошло? — Папа был рядом, однако по привычке пропустил начало, думая о своем.

— Милиция приходила к его приятелю.

— К какому приятелю?

Наверное, папа поначалу решил, что речь идет о ком-то из моих школьных или дворовых товарищей. Но мама посмотрела на него так, что он сразу понял, кого она имеет в виду.

— К Сергею?

— А к кому же еще...

— Его что, забрали?

— Нет... Дома не было.

Я встаю из-за стола.

— Ты куда?

— В комнату.

— А телевизор не будешь смотреть?.. Ты что, из-за него обижаешься? — И в сторону папы: — Скажи, в чем я не права?

Папа строит многозначительную гримасу, которую кто как хочет — так и может истолковать.

Я молча иду к себе. Объясняться, почему этот разговор мне неприятен, бессмысленно. Все равно никому ничего не докажешь. У папы всегда свой взгляд на происходящее, так же далекий от маминого, как и от моего. Что думает мама, я уже знаю.

Возвращаюсь с тренировки. Кто-то окликает меня по имени. Поворачиваюсь: дядя Сергей.

— Как успехи?

— Нормально.

— Ты где играешь, в полузащите или в нападении?

— Во что играю?

— В футбол.

Я мотаю головой. Ошибку дяди Сергея можно понять. Мы с пацанами часто играем в футбол на дворовой площадке. Конечно, с настоящим футбольным полем ее не сравнить. К тому же площадка асфальтовая.





Но все равно со стороны видно, у кого какой уровень. Я считаю, что играю неплохо. У меня есть несколько фирменных финтов. Один я перенял у Виталика. Он однажды включился в нашу игру. Мы были в восторге: еще бы, Виталик на три года старше и играл в юношеском составе «Сварщика», одного из двух городских клубов. Тогда я запомнил, как он меня обводил.

Дома я начал этот прием отрабатывать и несколько дней бегал с мячом по комнате из угла в угол, пока у меня не получилось. Маме это не очень нравится. Окончательно я закрепляю технические приемы на футбольной площадке. Когда игра идет, когда я в ударе, все отработанные дома финты включаются на автомате. В такие моменты хочется, чтобы на тебя смотрели.

Дядя Сергей любит футбол и, конечно, все замечает. И хоть он угадал, что я тоже люблю эту игру, он немного ошибся.

— Что не так? Проколотся? Ты не на футбол ходишь? А куда?

— Велосекция.

Дядя Сергей удивленно поднимает брови:

— Ты не хочешь стать Марадоной?

Я не знаю, что ему ответить. Может, я и не против быть похожим на Марадону, но только в воображении. Мне много чего нравится кроме футбола. У Марадоны же футбол — это главное.

— Смеетесь, дядя Сергей.

Краем глаза я вижу, как из четвертого подъезда появляется Вика. Вика очень симпатичная и нравится всем пацанам во дворе. Вика, Наташа и Аленка — три подружки, достаточно взрослые, чтобы уже начать встречаться с кем-то из нас. На этих свиданиях пока что ничего особенного не происходит. Максимум — трогаются и пробуют целоваться взасос.

Время от времени к нам во двор приходят Ирка и Юлька. Пацаны говорят, что те позволяют делать с собой очень многое. Иногда они спускаются в подвал потусоваться. Бывает, даже остаются там кое с кем из наших.

У всех этих девочек есть свои предпочтения. Вике и Аленке нравится Капитан. Капитан — это прозвище Сани, потому что его часто выбирают капитаном команды. В футбол Саня играет очень хорошо. Он быстро бегает, точно отдает пасы, ловко обводит. У него сильный и точный удар. Вратари хорошо знают Санин удар и всегда беспокойны, когда он владеет мячом.

Еще Саня — смелый парень, он не против и подраться, если ему кажется, что его обидели. Он среднего роста, стройный, очень симпатичный, у него правильные черты лица, чуть вздернутый нос, густые прямые русые волосы и большие светло-серые глаза. Вика и Аленка откровенно к нему липнут. Наташа скромнее и так открыто чувств не проявляет, но я подозреваю, что и она неравнодушна к Капитану.

Дядя Сергей кивает в сторону Вики:

— Хороша?

Я молчу.

— Красивая девчонка.

— Она дружит с Саней.



Дядя Сергей улыбается:

— Так отбей... — Потом хмыкает: — Или забей.

Я вздыхаю. Полувопросительно-полуутвердительно он говорит:

— Саня у вас первый парень на деревне? Донжуан?.. Лицо — это, конечно, важно. — Поворачивается ко мне: — А теперь слушай. Мама-ня меня еще шкетом на месяц-два летом к тетке в деревню отправляла. Отъедался, опивался я там молоком, сметанкой негуёво. Было мне лет пятнадцать.

Он мечтательно закатывает глаза и продолжает:

— Тетя дояркой работала, так что я часто в коровнике болтался. Работал у них один мужик — дядя Коля. Он на ферме и ремонтировал, и сторожил. Ростом был малый, да еще с горбом. А морда вытянутая, как у лошади. Рот закрывай не закрывай — передние зубы наружу. Слепovатый, ходил в очках с толстенькими стеклами. Харя в прыщах и такая... знаешь, как отрихтованная — ясно, от пьянки. Работал больше правой рукой, потому что на левую был парализованный на два или три пальца. Немолодой. Ему тогда было уже хорошо за полтинник. Звали его все — лысый хрен... Так ты бы видел, как вокруг него вились бабы! Молодые, старые... Кругом мужиков полно, а этот дядя Коля только своим голоском где-то заскрипит — бабочки на него уже слетаются. Так и кружат рядом до следующей дойки. А после дойки снова кричат на всю ферму: «Эй, дядя Коля, ты куда пропал, лысый хрен?» Вот только мужики косились на него. А что сделаешь, если бабы сами — ну, понимаешь? — прыгают на него... Вот так, Бульон.

Мне кажется, отношение мамы к дяде Сергею изменилось после одного случая.

Уже незаметно пролетела зима, теплая в нашем южном городе. Я иногда рылся в домашних шкафах, шкафчиках, в родительских вещах в поисках того, что от меня могли бы спрятать, и, бывало, находил среди вещей что-то интересное. Заглядывал и в трюмо, в мамини шкатулки и ларчики с кольцами, цепочками, серьгами. Я рассматривал разноцветные камни. Помню один — крупный, желтый, со шлифованными гранями. И еще фиолетовый. И маленькие бирюзовые. Смотреть на золото мне тоже очень нравилось.

Однажды в дальнем углу платяного шкафа я обнаружил непонятный сверток. Что-то тяжелое было обернуто в газетные листы и туго схвачено резинкой. Я аккуратно развернул. Внутри находились маленькие металлические предметы. Их было семь или восемь. Один был похож на гусеницу, другой на лошадку, и остальные напоминали каких-то зверей. Судя по тому, что сверток находился в гуще тряпья, эти металлические игрушки, цветом похожие на золото, подумал я, никому не нужны и родители о них уже давно забыли. Поэтому я решил все, что нашел, выгодно обменять.

Одной из самых популярных во дворе кроме футбола была игра в крышечки. В пластмассовые крышечки: ими закручивались производимые в СССР недорогие одеколоны и духи. Маленькие колпачки счита-

лись самыми ценными, называли их — «фестивальки». Наиболее высоко ценились желтые и черные фестивальки, потому что такие цвета реже встречались. Высоко, но чуть ниже котировались красные крышечки. Самый распространенный белый цвет ценился меньше всего.

Когда я появился на улице, игра шла вовсю. Каждый игрок подкручивал свою крышечку так, чтобы она, приземлившись на асфальт, встала, но не легла набок. Тот, у кого крышечка встала, должен был, хорошо прицелившись, попасть ей в лежащую. Попал — крышечка соперника забиралась. Не попал — начинали крутить заново.

Я достал из кармана свою находку. Игра остановилась. Кому-то мои зверушки понравились — предложили меняться на фестивальки. Начался торг.

Я уже успел обменять трех зверушек, когда увидел дядю Сергея. Он не спеша направлялся к нам. Поздоровался и спрашивает:

— Что здесь у вас интересного?

— Да меняемся вот...

Он подмигивает:

— Что, Бульон, базар открыл? Чем торгуешь?

Я показываю оставшиеся фигурки. Дядя Сергей берет одну из них, рассматривает.

— Где взял?

— Дома.

Он властно протягивает руку:

— Где крышки, на которые поменялся?

Это не просьба: его голос звучит так, что заставляет меня тут же вложить в его ладонь три выменянные крышечки. Он поворачивается к пацанам:

— Чьи?

Саня, Игорек, Денис сразу отзываются:

— Моя... моя... моя...

Новый приказ:

— Забираем крышки, возвращаем финтифлюшки.

Не пререкаясь, они забирают свои крышечки и отдают дяде Сергею блестящих зверушек. Он показывает их мне:

— Все?

— Все.

— Клади в карман, иди домой и верни на место.

Вечером, когда вернулись с работы родители, я рассказал им про сверток. Мама выглядела растерянной.

— Где ты его нашел?

Я показал.

— Ты что-нибудь брал отсюда?

Я не стал ничего скрывать и сказал:

— Обменял несколько фигурок на фестивальки. Но подошел дядя Сергей, фестивальки вернул пацанам, а мне — те штучки, которые я выменял.



Мама развернула сверток, внимательно всмотрелась:

— Все на месте.

— Сергей заслужил магарыч, — сказал папа.

И мама неожиданно согласилась:

— Да, заслужил.

Став старше, я понял, что металлические зверушки были золотыми. Возможно, они достались маме или папе по наследству, или это был их свадебный подарок — я не знаю.

После этого происшествия мама уже не так возмущалась, если видела меня с дядей Сергеем рядом. Но все равно почти всегда спрашивала, о чем мы говорили. Я отвечал, однако она считала, что я чего-то недоговариваю. И она была права, потому что пересказать истории дяди Сергея было невозможно.

Как-то еще в феврале Вовчик, мой дворовый тезка, привел своего знакомого. Его звали — Гендос, Гена. Оказалось, Гендос жил в соседнем городе. С Вовчиком он познакомился случайно — попросил подкурить. Покуривая, Гена обеспокоился, что ему нужно где-то ночь переспать. И Вовчик предложил наш подвал.

Подвалы были в каждом подъезде дома. Ребята моего круга собирались в подвале третьего подъезда. Пацаны постарше — в подвале второго. Когда-то у нас был на всех один общий подвал, но позже мы отделились. Потому что из общего нас порой гнали — например, когда кто-то из старших приводил девушку. Нас гнали, а мы пытались подсмотреть. Стараясь не греметь, поднимали крышку люка и тихо спускались по лестнице. Иногда кое-что подсмотреть удавалось.

В нашем же подвале мы были сами себе хозяева. Притащили туда старые матрасы, которые нашли на стройке. На них, видимо, отдыхали строители, а потом из-за ветхости выбросили. Еще мы принесли ящички, свечки, несколько железных чашек, ложки, вилки.

Гендос стал жить в подвале и играть с нами во дворе. Он сдружился со многими из нас и даже с нашими родителями. Со взрослыми он всегда здоровался и поддерживал любой разговор.

Моя мама сначала отреагировала на Гену положительно. Они познакомились на улице.

— А где он живет? — поинтересовалась она у меня. — Я в последнее время часто его вижу.

— Недалеко.

О том, что никто из нас точно не знает, кто такой этот Гендос и откуда, я, конечно, маме не сказал. Не говоря уже о том, что он спит в подвале.

Время от времени Гена напрашивался в гости. Говорил: пошли к тебе, посидим, выпьем чаю. Однажды после такого чаепития он спросил:

— Слушай, у тебя нет, случайно, перчаток лишних?

Я сказал, что лишних нет.

— Ну тогда дай свои на пару дней поносить.

— Бери.

Ровно через два дня он мне их вернул.

Дядя Сергей сразу заметил новое лицо во дворе.

— Это кто?

— Гена. Его Вовчик привел. Сейчас живет в подвале.

— Ага. Ну-ну...

Уже позже спросил вскользь:

— Этот, как его... Гена... он и сейчас в подвале живет?

— Ага.

— Ну-ну... Ты меньше с ним шарься.

Гена к дяде Сергею тоже отнесся настороженно.

Как-то раз Гендос зашел к Сане и высмотрел у него отцовские перчатки. Перчатки были старые, кожаные. Санин отец их почти не надевал. Генка их как взял, так и не снимал до вечера. А вечером вернул.

Всякий раз, когда бывал у меня дома, он стал просить что-нибудь из одежды. На два-три дня, не больше. Кофту, пуловер отца, футболку. Видя, что я мнусь — не мои все-таки вещи, — Генка свою просьбу так обернул:

— Жалко? Жмотишься?

Мне стало неприятно.

— Хорошо.

— Ну, спасибо.

Он перебивал в гостях у многих ребят. И почти всегда уносил что-то с собой, ненадолго. Еще он иногда просил вынести ему похавать. Я выносил хлеб с котлетой, бутерброд с сыром, карамельки. Он сразу все быстро съедал, что оставалось — рассовывал по карманам.

Так он прожил в подвале около двух месяцев.

Однажды делаю уроки — звонок. Открываю — на пороге Гена.

— В крышки сыграть выйдешь?

— Через полчаса.

Он огляделся. На вешалке висели куртки, пальто, плащи — все вперемешку.

— Чья это? — Он указал пальцем на папину кожаную куртку.

— Отца.

— Могу надеть?

Надел. Встал у зеркала.

— Сидит нормально?

— Да.

— Дай на день-два?

— Нет.

— Жмотишься?

— Она не моя, и папа часто надевает ее.

— Зажал.

— Она на виду, родители сразу заметят.

— Дай.

— Не дам.



— Почему?

— Потому.

Несколько дней я был сильно занят и во двор не выходил. А когда появился, мне сообщили, что Гена пропал. Перед тем как пропасть, он у некоторых ребят взял вещи — на этот раз подороже и только на вечер. У Сани он выпросил костюм отца, который тот надевал по праздникам, у Виталика — отцовские туфли, родители их привезли из ГДР. Вася одолжил мохеровый шарф, Антон — золотое кольцо с ценным камнем. Это было кольцо матери, но Гена надел его на палец и сказал, что оно похоже на мужское.

В этот же день Гена исчез вместе с вещами. Сначала мы решили, что это временно, что он скоро появится и вещи вернет. Однако Гена в подвал больше не вернулся. Саня неделю дома сидел: ему выходить на улицу запретили — за костюм. Антону за кольцо мать устроила скандал и написала заявление в милицию.

Гендоса нашли где-то через полгода. В милиции маме Антона сказали, что Гена обманывал, будто он живет в соседнем городе. В том городе он кантовался, так же как и в нашем, в подвале. А из нашего города переехал в следующий. Сказали еще, что родом он из Севастополя, из трудной семьи. Из дома сбежал и так по городам ездит. Вещей, которые Гена взял у нас, при нем уже не было.

Больше я Гену никогда не встречал.

— Корефан!

Дядя Сергей, оказывается, идет в паре метров. Как долго он уже идет за мной, не знаю. Может быть, давно, а может, нет.

— Ты был в Таганроге?

— Нет. А где это?

Про Таганрог я слышал. Этот город вроде бы на воде. То есть там море. То ли Черное, то ли Азовское.

— Часов шесть-семь поездом. У меня там живет племянник. На тебя чем-то смахивает. Жили бы рядом, я бы тебя с ним познакомил. Вы бы с ним сошлись. Он хоть малой, а рукастый. Велосипед может сам разобрать и собрать. Учится хорошо. А ты бы его подтянул в футболе... — И сразу о другом: — Генка и тебя наколол?

— Вы про вещи?

— Ага.

— Он просил папину куртку, но я не дал.

— Правильно. А друзья твои — слышал? — попали... Схавали бублик — теперь будут думать.

Мама, узнав горькую правду, сразу поверила, что Генка способен втереться в доверие, а потом вот так облапошить. Он ей с первого взгляда показался очень неглупым парнем.

— Просто он свой ум не в том направлении использует, — сказала она. — А этот Генка заходил к нам?

— Да.

— Просил какие-нибудь вещи?

Я соврал, что мы просто пили чай и никаких разговоров про вещи не было. Мои слова маму, кажется, не успокоили. Она вышла из кухни и, проверив вещи на вешалке, отправилась осматривать шкаф и трюмо. Я это понял по скрипу шкафных дверей и открываемых ящиков трюмо.

С дядей Сергеем мы встретились дня через три. Он щелкал семечки на скамейке и приветственно поднял руку. Хотя я в это время находился сзади, я знал: это он меня приветствует. Не заметил, чтобы он оборачивался. Ну да это же дядя Сергей! Я подошел и сел рядом.

— Погрызешь?

— Спасибо.

Сыпанул мне в ладошку горсть семечек. Может быть, мне показалось, но он был чуть более подвижен сегодня. Немного, как говорят, взвинчен. Все куда-то поверх моей головы поглядывал. Чаще, чем обычно, посматривал то вправо, то влево.

— Каникулы скоро? — спросил.

— Через полтора месяца.

— Хорошо на каникулах, а? — Он подмигнул. — Хочешь — спи по полдня. Ни тебе уроков, ни домашних заданий. Вот бы по жизни всё каникулы да каникулы.

Я улыбнулся. Мне это казалось нереальным.

Неожиданно он встал:

— Ну что, Бульончик, бывай!

Он протянул руку. Я коснулся его ладони изнутри: кожа там была жесткая и покалывала, как наждачная бумага. Я представил, что будет, если он крепко сожмет мою ладонь в своей.

— До свидания...

Он скользнул по мне вопросительным и острым взглядом, повернулся и быстро зашел в подъезд.

На следующий день мы с пацанами играли в футбол. Несмотря на то что за команду противника выступал Саня, моя команда выиграла, правда, с минимальным преимуществом — 5:4. После матча мы расселись на лавочках и немного поболтали. Постепенно стемнело, ребята начали расходиться. Остались только Антон и я. Антон учился со мной в одном классе.

Вдруг он как-то заговорщицки взглянул на меня и тихо спросил:

— Сказать тебе что-то?

Меня окутало предчувствие тайны.

— Говори.

Антон помолчал, а потом откинулся на лавке и бросил:

— Завтра скажу, в школе.

Во мне разгорелось любопытство.

— Да ладно тебе, давай сейчас.

Но он твердо ответил:

— Сказал, завтра.



В школе обещанное Антоном как-то затуманилось, однако на третьей перемене он сам об этом напомнил:

— Помнишь, я тебе вчера обещал кое-что?

— Ну?

Он придвинулся и вполголоса начал рассказывать:

— Я вчера после школы вышел во двор на турнике подтягиваться. Сделал первый подход. Спрыгнул. Стою отдыхаю. И тут подваливают ко мне трое. Двое в пиджаках. Один из них в черных очках. Второй высокий, здоровый. А третий — в плаще. А под плащом... — Антон пристально посмотрел прямо в глаза, возможно, предвкушая степень моего удивления или даже ошарашенности, — милицейская форма! И знаешь, какое у него было звание?

— Какое?

— Подполковник!

Я не очень поверил, потому что в нашем дворе милиционеры в таких чинах, кажется, еще не появлялись. Поэтому я уточнил:

— А сколько было звездочек на погонах?

Антон глянул на меня снисходительно:

— Две больших.

Я упорствовал:

— А полос?

Он злорадно хмыкнул:

— Две! Успокоился?

— Угу... Вот только как ты разглядел погоны под плащом?

— А вот и разглядел. Когда у него шнурок развязался и он нагнулся его завязать. А еще один из них к нему так и обратился: товарищ подполковник.

— Ну и что они у тебя спрашивали?

Антон перешел на шепот:

— Про дядю Сергея...

Я замер, мой голос задрожал:

— Ч-что?!

Антон чувствовал себя хозяином положения. Он не спешил отвечать, кашлянул, оглянулся по сторонам, переждал, пока мимо нас пройдет верещащая девчонья компания, и продолжил:

— Спросили: «Ты дядю Сергея из третьего подъезда знаешь?» Я говорю: «Знаю». Тот, что в черных очках, спрашивает: «Ты когда видел его в последний раз?» Я говорю: «Позавчера». — «А где?» — «На лавочке». — «В котором часу?» — «Не помню, часов в шесть или в семь». А он: «И сколько он на лавочке просидел?» Я ему снова: «Точно не помню. Может быть, час, а может, два». А потом этот милиционер спрашивает: «А общается он во дворе с кем?» Я говорю: «Со всеми». А он: «Может, он с кем-нибудь дружит?» Я ему: «Правда не знаю...»

Антон хитро и многозначительно посмотрел мне в лицо, намекая, что он мог бы им сказать про меня, но не сказал, и я, видимо, за это должен быть ему благодарен. Однако я напустил в глаза такого тумана, что взгляд Антона просто утонул в нем.



— А потом подполковник говорит: «Вас как зовут, молодой человек?» Я говорю: «Антон». И он тогда мне так строго: «Все, о чем мы вас, Антон, спрашивали, остается между нами. Никому ни звука. Вы меня поняли?»

Антон держал себя с достоинством обладателя секретнейшей информации. Он продолжал ощущать себя им, несмотря на то, что все мне разболтал.

Я был взволнован. Только мое волнение было совсем другого рода, не то, которое хотел вызвать во мне Антон. «Дядю Сергея бы успеть предупредить!» — я сказал это, конечно, про себя. Антон ни о чем не должен догадаться.

Он немного отодвинулся и словно услышал мои мысли:

— Арестуют его...

Но я наперекор даже самому себе не хотел в это верить:

— Почему ты так думаешь?

— А потому, что, когда я уходил, слышал, как один говорит: «Его у подъезда брать надо. Возьмем в клещи, куда он рыпнется...»

Оставался последний урок. Время тянулось мучительно долго... Только бы успеть! Только бы его не арестовали!

Из школы я несся так, что все, кто шли мимо меня, удивленно оглядывались. Я бежал самой короткой дорогой, через дворы. Когда влетел в наш двор, я был мокрый и у меня покалывало в подреберье. Сбавив скорость, я, тяжело дыша, нырнул в подъезд, где жил дядя Сергей.

Только бы успеть! Я не стал ждать лифт и, прыгая через одну, через две ступеньки, взбежал на пятый этаж. Вот дверь дяди Сергея. Звоню... В эти секунды ожидания, пока мне не открыли, так гулко билось сердце! Я слышал за дверью какое-то движение. Меня явно изучали в дверной глазок. Наконец щелчок замка, дверь приоткрылась — передо мной стояла тетя Лена.

Она улыбнулась:

— Вова? Тебе кого?

— Дядя Сергей дома?

Она внимательно посмотрела на меня:

— Зайдешь?

— Нет, пусть лучше он выйдет.

Тетя Лена повернулась и позвала:

— Сережа!

Я облегченно выдохнул.

В темноте коридора я увидел дядю Сергея. Он был в майке и синих спортивных штанах с двумя белыми полосками. Тетя Лена уступила ему место.

Я был так рад, так рад его видеть!

— Бульончик, какими судьбами?

— Дядя Сергей, выйдите, я хочу вам что-то сказать.

Он почувствовал в моем голосе неординарность момента, потому что сразу переступил порог, прикрыв за собой дверь, так что от довольно широкого просвета, ведущего вглубь квартиры, осталась узкая щелка.



— Антон мне сказал, что его вчера про вас спрашивали. Трое. Один в черных очках. Второй такой здоровый. И третий — милиционер, подполковник. Спросили, когда он вас в последний раз видел. И есть ли у вас во дворе друзья. А потом милиционер велел Антону про этот разговор никому не говорить. И еще. Он слышал, как совещались, дескать, вас лучше всего брать возле подъезда.

Дядя Сергей молча выслушал меня. Положил ладонь на мое плечо и немного сквозь зубы, растягивая слово, сказал:

— Спа-а-асибо. — И еще тише, снижая голос до шепота: — Только обо всем об этом молчок, договорились?

— Ага.

И еще через секунду, серьезно и таким тоном, каким он со мной никогда не говорил:

— Должник я твой теперь, Бульон.

Насчет «должника» я понял только, что дядя Сергей мне благодарен. Это было приятно. Но главное, я был рад, что не опоздал.

...О том, что дядя Сергей исчез, я услышал через пару дней за ужином от мамы. Упоминание о нем уже не выводило ее из себя, как раньше.

Доставая из духовки мясной рулет, чью мякоть она предварительно колупнула с угла — готов ли? — мама громко, чтобы слышал папа, произнесла:

— За Сергеем сегодня милиция приезжала. Валька сказала, что арестовывать...

Папа, слушающий в соседней комнате радиостанцию «Маяк», приглушил звук и показался в дверях:

— И?..

— Не нашли его. Ни его, ни вещей.

Папа выразительно хмыкнул:

— Упорхнул, значит... — И, уже будто сам с собой, рассудительно подытожил: — Ну не будет же он как дурак сидеть и ждать их.

— Ты думай, что говоришь при ребенке!

Папа в таких ситуациях напускал на себя дурашливость:

— А что я? Я что-то не так сказал? Сын у нас уже большой, все правильно понимает. Да, сынок?

Дядя Сергей и вправду исчез за день до своего предполагаемого ареста. Об этом я более подробно узнал из разговора всезнающей тети Вали с тетей Ниной и бабушкой Вовчика. Как оказалось, перемещения дяди Сергея вне квартиры отслеживались.

— Степановна своими глазами видела и слышала! Выволок из квартиры сумку длинную-длинную, здесь же Ленка в плаче заходится на пороге. Вцепилась ему в плечи и не отпускает... Он ей вроде как шикает: «Тихо, Ленусь, ночь же, соседей разбудишь». А та уже чуть ли не орет в полный голос: «Родненьки-и-й! Куда же ты без меня-а-а?!» А он ее целует, гладит и говорит: «Ну что ты, что ты, что ты как в первый раз? Будем на связи... Детей береги. Со мной все путем будет, чуешь, Ленок?» А она ему тогда: «Ты в голову не бери, это я так плачу, по-бабски... А ты

беги, спасайся, родной. Я с тобой и душой и телом». Вот так... А на улице его уже машина поджидает. Запрыгнул в нее и — фьють!.. — Тетя Валя даже присвистнула.

До того как тетя Лена съехала с квартиры, я ее встречал от случая к случаю. Со стороны она выглядела так же, как всегда. Ну разве что шла чуть быстрее, чем обычно. Один раз мы столкнулись лицом к лицу. Она словила мой вопросительный взгляд и со смыслом, понятным только мне, кивнула. Мне кажется, я правильно понял ее кивок: с дядей Сергеем все в порядке.

Полгода спустя она сдала квартиру семейной паре с двумя детьми. А сама куда-то съехала. За все время до событий, о которых речь впереди, я встретил ее только раз.

Мне тогда уже было пятнадцать. Возле универсама «Коралл» я вдруг увидел ее на лавочке. Я подошел:

— Тетя Лена!

— О... Вовочка, как ты подрос!

— Как у вас дела? Как... — Я оборвал фразу, не зная, удобно ли.

— Все хорошо, все в порядке. — Она мгновенно поняла, кого я имею в виду.

— Привет от меня.

Мы говорили не произнося его имени.

— Конечно, конечно... — С ее губ чуть-чуть не сорвалось «передам», и все-таки она не решилась.

Я присел рядом. Она не рискнула сообщить мне, что с дядей Сергеем сейчас, но ей не страшно было заговорить о его прошлом.

— Ты, поди, много гадостей про дядю Сергея наслушался...

Я замотал головой, а она продолжала:

— Одна Валька, наверное, столько наплела... Он, конечно, не ангел. Ну не с кого ему было пример брать. Отец всю жизнь по тюрьмам. Мать с бутылкой не расставалась... Вот и стала для него улица — дом родной. Сначала прибился к алкашам. С ними пить начал. Однажды отравился каким-то самодельным пойлом — откачали. Бросил пить. А здесь новая напасть. Большие дылды видят: шпаненок по улицам без дела мается. Подошли, расспросили. Он им рассказал, что без еды и крыши. Нашли они ему и крышу, и еду. Одно плохо: воры были эти ребята. Не за спасибо кров и пищу дали... Они магазин выносят, а он на стреме стоит... А потом решил: хватит, надоело. Сцепив зубы, вернулся домой, снова пошел в школу. Отучился кое-как. После — армия. Там его в первый раз и посадили: сержанта они отмузузили...

— Он мне рассказывал.

— Да? — В ее голосе отдалось чем-то глубоким, затаенным, грустным. — А знаешь, что было потом? Только оттуда вышел, а его под дверью уже ждут старые приятели. Ну что, Сергунь, подломим магаз, вспомним молодость? Ты на стреме по старой памяти... Подломить подломили, а оперативники тут как тут... И вот, веришь, он все взял на себя.



Пацан еще был, а рассудил, как у них говорят, по понятиям. Решил всех отмазать. И пошел как организатор. Вот так... Весь срок отсидел. Вышел. Решил: на этот раз — все, со старым завязываем... А потом мы с ним встретились, случайно, и уже не расставались. Деток моих он как родных принял. — Тетя Лена помолчала и, снизив голос, добавила: — Вот только... Он-то со старым завязал, да вот старое с ним никак развязаться не хочет.

Она встала.

— Рада, что тебя встретила.

— И я рад. До свидания, тетя Лена.

Она вдруг улыбнулась:

— Вспомнила, как он тебя то Бульоном называл, то Бульончиком...

Мы попрощались.

В девятнадцать лет я решил поступать в университет. Университет находился в соседней области, часах в шести езды от нашего города. С работы я рассчитался за три месяца до поступления. Но кое-что я не учел, а именно денежный вопрос. Отложенная мною сумма быстро улетучивалась. Одна за одной приплывали непредвиденные траты. У родителей просить я не хотел. Устраиваться на прежнюю работу тоже.

Деньги мне нужны были на время экзаменов. Что будет, если поступлю, я не думал. Главное — поступить, учиться, а там уже как сложится. И тут я вспомнил, как однажды мама упомянула одного моего соученика. Это было с год тому назад, я тогда все еще определялся со своим будущим. Мы с родителями обсуждали разные варианты, куда мне поступать и вообще поступать ли... Мы спорили и даже ругались. Тогда мама и рассказала об Игоре.

— Ты знаешь, кто меня вчера подвез? Игорь! Он уже машину купил... Я его спросила, где он работает, чем занимается. Он только сказал — торгуюм. Я, понятно, не стала допытываться. Может, сходишь к нему? Вы ведь с ним дружили в школе, он тебя и пристроит к торговле своей...

И вот сейчас я решил навестить Игоря. Купил бутылку коньяка. Темнить не стал. Объяснил, что рассчитался с работы и собираюсь поступать в университет. Мне нужны деньги. Немного.

— Слышал, что ты торгуешь. Может, по дружбе приоткроешь карты?

Он мне так же откровенно:

— Без проблем. Мне нужен напарник на постоянку. Но ты же сам сказал, что с головой в это дело погружаться пока не хочешь. Ты на мели, и тебе просто нужны деньги.

— Все так.

Чем он торгует, Игорь не сказал. Тем не менее он подсказал мне, как заработать.

И я поехал туда, куда посоветовал Игорь. И закупил то, что он посоветовал. Джинсы «мальвины», пятнадцать штук. Я сдал их в две городские комиссионки. Продали их меньше чем за неделю. Я получил чуть ли



не тройной навар. И так съездил еще пару раз. И наконец решил, что хватит. Я заработал. И теперь мне нужно готовиться к вступительным экзаменам.

Когда я сдал последнюю партию товара, у выхода из комиссионного ко мне подошли двое парней. Один был высокий, широкоплечий. Второй — очень толстый, с пухлым лицом и толстой шеей. Несмотря на большие габариты, в его лице было что-то детское. Мне показалось, что он это ощущал и поэтому напускал на себя то ли злость, то ли важность, которые все равно казались неестественными. Глядя на него, можно было бы улыбнуться. Но мне улыбаться сразу расхотелось.

Высокий поздоровался первым:

— Привет.

— Привет.

— Я Ганчик, слышал про меня?

Я слышал про Ганчика. Знал, что он рэкетир из банды Ракиты. В городе Ракита уже почти всех подмял под себя. Говорили про него, что он такой ловкий бандит, со всеми умеет строить отношения.

— Шмотками торгуешь?

— Сдавал три раза.

Я понял, что в комиссионке у них сидит кто-то свой и передает информацию.

— «Крыша» у тебя есть?

Я понимал, что они имеют в виду.

— Да я не торгую, просто деньги закончились. В университет поступать собираюсь.

Теперь заговорил пухлый:

— Ты на джинсах сделал навар? Сделал. Значит, ты торгаш. А мы у всех торгашей в городе забираем долю.

И снова Ганчик:

— Адрес у нас твой есть. Домашний телефон тоже... Сроку тебе неделя, до следующей среды. Принесешь...

Он назвал сумму. Она была вдвое больше выручки за все три мои поездки. Я не знал, что сказать.

— Приведешь ментов — зароем.

Я попытался протестовать:

— Да я столько не заработал!

Пухлый хлопнул меня по плечу:

— Что такое деньги? С деньгами нужно расставаться легко. Есть же, небось, заначка?

— Нет.

— Ну тогда у знакомых в долг возьми.

Они повернулись и пошли. Сделав пару шагов, пухлый притормозил:

— И не вздумай куда-нибудь запропасть. У тебя же здесь квартира, родители...

Я не знал, что мне делать. Позвонить Игорю? Может быть, он что-то подскажет?



— Игорь, привет.

— Привет.

— Звоню тебе спасибо сказать за совет. Я съездил куда ты советовал, купил там джинсы, здесь продал — хорошо заработал.

— Поздравляю. Когда навар будем обмывать?

— Ты знаешь, у меня неприятности... С меня Ганчик требует долю. Сказал, раз торгуешь — должен делиться.

Ответом было гнетущее молчание.

— Что скажешь?

— Ганчик — это серьезно. За ним Ракита стоит. А как он про тебя узнал? Хотя... это понятно. Им отовсюду капают... А я что могу для тебя сделать?

— Я... не знаю. Мало ли... Вдруг ты кого-то из них знаешь?

Ответом было грустное хмыканье:

— Я им сам плачу... А у тебя нет каких-нибудь крутых знакомых в области?

Теперь уже я хмыкнул:

— Откуда?

— Ракита и его банда под областными ходят. Областные им разрешили в городе по мелочи клевать. Они себе и клюют. Под Ракитой кабаки, ларьки и шмотье. А на области все замыкается. Всё, где ходят большие деньги, областные уже скупил на корню. Ну ты сам понимаешь, что продали им все это не по своей воле, а под дулами автоматов. Все наши заводы сейчас работают на областных. Когда те к нам в город по делам приезжают, банда Ракиты для них как почетный эскорт. Везде сопровождают.

— Спасибо за информацию.

— Удачи тебе. Ты как-нибудь попробуй разрулить эту ситуацию.

— Посмотрим...

Вечером я вышел на улицу развеесться. Что же делать?.. Намотал уже километра два. Двинул в сторону музыкальной школы, потом на улице Вернадского, повернул и пошел дворами к Дому культуры металлургов.

Напротив ДК небольшое игровое пространство, одно из любимых мест развлечений городской малышни. Около детского мини-парка маленький фонтан, справа и слева от него разбегаются лавочки. Здесь всегда много народа.

— Вова!

Я оглянулся и увидел тетю Лену.

— Здравствуйте!

Она стояла рядом с мальчиком лет десяти. Это был ее сын. Какой он уже большой! А я помнил его маленьким, краснощеким, в завязанной цигейковой ушанке, из которой торчал только шмыгающий нос.

— Гуляешь?

— Ага.

— Какой-то ты грустный.

— А-а...

Я представляю, как прозвучало мое «а», если она сразу спросила:

— У тебя что, беда?

Сам не знаю, зачем я ей все рассказал. Захотелось поделиться. Хорошо, что я ее встретил. Родителям об этом не расскажешь: они тотчас в милицию бросятся. А что милиция? Не поставят же они рядом со мной круглосуточную охрану?

Тетя Лена слушала молча. Когда я закончил, она спросила:

— Когда тебе встречу назначили?

— В среду.

— И что ты решил?

— За что мне им платить? Я же объяснял, что на мели оказался, что собираюсь в другой город в университет поступать и мне там деньги нужны будут на первое время.

— А они?

— Пухлый, тот, что был с Ганчиком, сказал, что все равно я для них торгаш и должен отдавать им долю... Тетя Лена, что мы всё обо мне, как дела у вас?

Но она как будто меня не слышала:

— Ты держись, авось как-нибудь все образуется.

— Спасибо вам.

— За что?

— За то, что выслушали.

— А ты молодец, что мне рассказал, мы же с тобой не совсем чужие.

— До свидания, тетя Лена.

— До свидания. Не переживай так, слышишь?

Я грустно кивнул.

В тягостной неопределенности прошел день, другой. Я думал: как поступить? Не идти на встречу? Оттянуть развязку на день, два, месяц? А дальше? Все равно ведь где-то подстерегут и... Изобьют? Искалечат? Может быть, уехать из города на какое-то время? А университет? Все свои планы похерить из-за них? Это не выход.

Во вторник около девяти вечера раздался звонок. К телефону подошла мама:

— Вова, это тебя. Какой-то парень.

Я взял трубку.

— Володя, привет. Не узнал? Это Ганчик. Нужно встретиться.

— Когда?

— Сейчас.

— Мы же на завтра договорились.

— Про деньги забыли. Здесь другая тема всплыла... Встретиться нужно — кровь из носу.

— Где, когда?

— В десять на входе у Центрального парка.

Я прикинул: место людное.

— Хорошо, буду.



— Счастливо, пока.

— Кто это был? — спросила мама, когда я повесил трубку.

— Знакомый. Интересовался джинсами. Спрашивал, где можно купить.

— А-а...

Придется идти, раз пообещал. Нужно позвонить Игорю. Он должен знать, куда я иду. Мало ли что может случиться?

— Алло, Игорь?

— Да.

— Это Вова. — Вполголоса: — Мне сейчас Ганчик назначил в десять встречу возле Центрального парка. Сказал, есть разговор срочный. Звоню на всякий пожарный. Если вдруг не вернусь, тогда уже скажи родителям.

— Забей, не иди.

— Все равно придется идти рано или поздно... Все, пока.

Около входа в парк даже в такое время былолюдно. На овальной площади у фонтана стояли по двое, по трое, целыми компаниями. Были пары, что прямо-таки льнули друг к другу. Некоторые, не стесняясь, целовались. Аттракционы уже закрывались, и большинство людей направлялись из парка к выходу. Хотя были и такие, кто, наоборот, стремился внутрь: парни с девушками искали уединения.

— Вова...

Передо мной стоял Ганчик.

— Отойдем.

Я пошел за ним к парковке. Перед парковкой был большой газон, на газоне я увидел несколько человек. Двое и еще двое чуть в стороне. Ганчик подвел меня к первой паре. В одном я узнал пухлого. Второй был среднего роста, широкоплечий, скуластый; нос у него, похоже, был перебит и напоминал клюв хищной птицы.

Этот, с ястребиным носом, протянул мне руку:

— Ракита.

Я пожал. Так вот ты, Ракита, какой...

Пухлый сделал шаг навстречу и тоже сунул руку:

— Сало.

В это время двое, стоявшие поодаль, приблизились к нам. Один невысокий, худой, лет сорока, с редкими седоватыми волосами. Другой ростом с Ганчика, но выглядел еще крупнее, у него было широкое лицо, стрижка ежиком и непропорционально маленькие для такого большого лица губы.

Ракита повернулся к Ганчику:

— Говори.

Тот встал напротив меня.

— Володя, ты никому ничего не должен. Я виноват и признаю свою ошибку. Ты меня прощаешь?

Все это было настолько ошеломительно... Или это у них такой специфический юмор и сейчас начнется то, о чем они меня предупреждали?



На всякий случай я сказал:

— Ну да, конечно, бывает, какой разговор...

Тут же вмешался Ракита:

— Так ты его прощаешь или нет?

— Прощаю.

Главный посмотрел на Сало:

— Говори.

— Володя, я был не прав, когда требовал у тебя деньги. Забудь все, что я тогда сказал. Прости, если можешь.

— Все свидетели: никто на тебя не давит. Ты можешь их простить. Не можешь — тогда уже... — И Ракита посмотрел в сторону тех незнакомых двоих.

— Прости, братан, — проговорил Сало с такой тоской, что мне даже стало его жалко.

Впрочем, я все еще не был уверен, что это не какой-то изощренный розыгрыш. Ну хорошо, пусть розыгрыш, я подыграю.

— Прощаю, конечно.

— Все слышали, что ты их простил, — объявил Ракита.

Ганчик протянул руку:

— Братан, спасибо.

Пожал мне руку и Сало:

— Спасибо, братан.

Я продолжал стоять столбом, до конца не осознавая, что произошло. Они впятером отошли на другой конец газона. Я не слышал, о чем они говорили.

Вскоре от них отделился Ракита и, как мне показалось, слегка растерянно сказал:

— Вот как бывает... Подставились пацаны. — И вдруг подмигнул: — Ну и ты тоже, блин, артист, развел их как лохов...

Он вернулся к Ганчику и Сало, и троица медленно направилась к красной машине, стоявшей на парковке. Седоватый, худой, и второй, крупный, еще пару минут постояли. Потом худой подошел вплотную ко мне и негромко сказал:

— Дядя Сергей спрашивал: ты, как и раньше, на своем велосипеде рассекаешь по дворам?

— Сейчас уже реже.

— А то он с тобой хотел погонять наперегонки... И еще. Он просил тебе напомнить, что за ним долг был. А теперь вы в расчете. Никто никому не должен, вот так.

Они с напарником сели в большой черный автомобиль с широкими крыльями и огромными колесами, похожий на увеличенный джип. Глухо заурчал мотор, машина плавно качнулась назад, освещая квадратными глазами пространство. Просигналил клаксон. Джип вырулил на проезжую часть и исчез в автомобильном потоке.

Больше я никогда ничего не слышал про дядю Сергея.

Кристина КАРМАЛИТА

## МЕСТО ТЕНЕЙ

[...]

вечер синий — вот всё, что есть  
ни звезды ни мысли ни сна  
ни добра ни зла ни чудес  
просто вечер у нас

может быть этот вечер — весть  
не о смерти не о судьбе  
не веселье не кротость не спесь  
просто весть — о Тебе

[...]

журавль белый за окном  
журавль, расскажи  
как за рубиновым вином  
я прожигала жизнь

как я пьянела и цвела  
как пела и плыла  
как я летела и была  
убита наповал

пернатый пилигрим небес  
запомни, отмоли  
в ночи поющего тебе  
заложника земли

[...]

как будто не было меня  
 и день погожий к ночи клонит  
 и небо ночь огнями полнит  
 и манит свет иного дня

как будто не было меня  
 и на тринадцатом трамвае  
 толпа к восходу уезжает  
 и возвращается — к теням

как будто не было меня  
 и на работе, на работе  
 кто под землю, кто в полете —  
 дыханье, голоса, возня

как будто не было меня  
 и вечер обнажит надежду  
 что все отжившее «как прежде»  
 наступит утро поменять

как будто не было меня  
 и день усталый к ночи склонит  
 и разгорятся билионы  
 огней. Но не дадут огня

как будто не было меня

[...]

Когда я стану старой и слепой,  
 беззубой, безволосой, безобразной —  
 я обязательно уйду в запой,  
 какая, к черту, уже будет разница!

Шатаюсь от вина и просто так,  
 я сяду на скамейку у подъезда  
 и буду выть в луны дорожный знак,  
 и пусть меня пожрет ночная бездна.

Прохожий, пробегая стороной,  
 на сумрак перекрестится пугливо,  
 старушку перепутав с сатаной,  
 и залпом опрокинет литр пива.

Родная, злая, звездная страна  
в потертой темно-синей камилавке!  
Моя судьба в тебе предрешена:  
на лавке — я, а звезды — на прилавке.

Да будет так! Обиды не держу.  
Поддай мне, Родина, два пятака на старость,  
в которой на твоей скамье лежу,  
а под скамьей цветет пустая тара.

[...]

Ты зашел. Я подумала: навсегда.  
Через час «навсегда» стало местом теней,  
Ты ушел через дверь, неизвестную мне  
В моем мире простых городских фонарей,  
Прихватив невзначай волшебство.  
Ты схватил его так, как хватают листок —  
Мимоходом, с прогнувшихся низко ветвей,  
И не важно ни дерево, ни эта плоть,  
Уходящая в холод на теплой руке —  
Это просто привычка у рук...

Ты унес волшебство городских фонарей —  
Невзначай, мимоходом, неважно, никак  
Не заметив свой легкий хватающий жест.  
И я тихо брожу среди этих огней,  
Средь высоких, беззвучных, холодных огней  
И не помню, зачем они здесь...  
Ты ушел, ты растаял, тебя не найти.  
Ты пути не искал, ты дорог не хранил.  
Исчезает следов твоих черненький пунктир, —  
Ты зашел, не пришел — проходил.



Полина ДЕЛИЯ

## ЛЮБОВЬ, ЭТО ВЫ?

Р а с с к а з

В обед позвонила мамочка. Сказала, что привезет «киевский» торт. Любкин любимый. Перезвонила через минуту сказать, что тортов будет два. Второй она отдаст своей сестре Тамаре. Кстати, она тоже зайдет. Ну как она — вместе с дядей Олежиком, ну как зайдет — вместе встретим Новый год. Тихо так, по-семейному. Опа... И Любка сразу помрачнела.

Еще в ноябре Любка знала, что на работе выдадут тринадцатую зарплату, поэтому взяла в долг до получки. Купила билеты на самолет. Не себе — маме. На Новый год всегда дороже, но что поделаться. Приедет мама, и Любка познакомит ее с Витечкой. А Витечка познакомит ее со своими родителями. Лучше родителям увидеться сейчас, чем встретиться только весной на свадьбе своих детей. Тем более они пока еще и не знают про эту свадьбу. Витечка расскажет про их с Любкой планы на долгую, счастливую семейную жизнь. И все будут рады.

Теперь же как божий день ясно, что холодцом и салатами Любка не отделается. А как все радужно начиналось... Тридцатого — сокращенный, тридцать первого — вообще не работать. Хорошо-то как! И всего-то делов — соорудить стол. Накануне с утра она заскочила на рынок — купить мяса для холодца. Так и пошла на работу с телячьим хвостом и ногами. Отличный же получится холодец, прямо как Витечка любит — с хрящами. А накрошить салаты — это уже сущая ерунда.

А теперь эта тетя Тамара, как обычно, скривится, скажет: мон ами, все прелестно, вкусно-превкусно, но, мон ами... И начнет разговоры, например, про то, что кожу с курицы нужно снимать, друг ты мой, как перчатку, целиком, это для того, чтобы перемолоть куриное мясо со специями и обратно его, мон ами, зашить в курицу, как и было. Или вот еще царское варенье, это когда из каждой вишенки нужно вручную достать косточку, а на место каждой косточки положить по половинке миндаля... А дядя Олежик дожует к этому моменту запеченную рыбу и, расправив седые усы, поблагодарит за ужин: мол, спасибо, курица хорошо получилась. Только на этот раз всё это услышат еще и Витечкины родители.



— Теть Тамар, здрасте! — Любка, чтобы заранее обезопасить себя от подобных разглагольствований за столом, звонит тетке. — Вы на праздничный ужин рыбу предпочтете или мясо?

И бежит на рынок за рыбой, попутно перебирая в голове рецепты, сочиняя гарнир и закуску.

— Алло, Люб, алло! — тетка перезванивает, когда Любка уже возвращается с рынка с увесистыми сумками. — Слушай, душечка, не надо рыбы этой, не надо! Давай лучше мяса.

— Мяса? — переспрашивает Любка.

— Мяса, мон ами, мяса, — отвечает тетка, — печеночки там, например. И побольше, дружочек, побольше. Олежик вот любит.

И Любка бежит обратно на рынок, но уже в мясную лавку. Сырая печень — гладкая и блестящая. Любка даже гладит ее пальцем: какая красивая! А вот сама она печень не любит, уже от запаха становится дурно. Но надо готовить, надо что-то делать. Звонила же тетя Тамара, просил же дядя Олежик. И Любка перемешивает печень с яйцом, сметаной, мукой и зеленью, пропускает через блендер, морщась от запаха, готовит коржи для печеночного торта. Пятнадцать слоев! Не майонез, а специальный соус для пропитки. Тетя Тамара заметит и сразу оценит: мое почтение, мон ами! А Витечкины родители, те только услышат и... Точно!

— Витечка, милый, как ты? — Любка не глядя набирает номер. — Ага. Я тут вот чего звоню...

— Да нормально все будет, — смеется в трубку Виктор. — Оливье, крабовый, селедка под шубой — и хватит. Ну разве что мама еще любит салат с грецким орехом и черносливом, а папа — соленья под водку.

И Любка бежит в круглосуточный искать орехи и сухофрукты. Хорошо, соленья дома есть.

— А водка? — спрашивает она.

— Напитки за мной, — уверяет Виктор, — даже не бери в голову. Завтра все будет.

— Ага, — соглашается Любка.

— Я сейчас у родителей, — говорит Виктор. — Привезу всех и все завтра. До связи, милая!

Разлитый холодец стынет на морозце на лоджии, печеночный торт поставлен пропитываться в холодильник, селедка разделана, и «шуба» уложена на нее слоями. Накрошены крабовые палочки и вареная колбаса — майонезом зальют все завтра. Еще зеленый горошек, кукуруза консервированная в банке... Чернослив смешать с грецким орехом, грецкий орех перед этим надо растолочь. Не перепутать бы, не забыть чего! Лук репчатый обдать кипятком, чтобы не горчил. Платье золотистое выгладить, яйца для салата отварить, ногти покрасить, картошки натолочь, волосы завить... За мамочкой ехать к семи вечера в аэропорт. Она будет снова говорить, как Любка вся исхудала, совсем не ест... А тетя Тамара — та, наоборот, с порога будет кричать, что у Любки, у душечки нашей,



круглые отъетые щеки. Как бы не сказали ничего такого перед родителями Витечки! Ляпнут они, а краснеть за это Любке.

— Любаша с детства у нас булочки любит. Вот и отъела себе ямочки на щечках. Улыбнется — ямочка, еще улыбнется — еще ямочка! Смотрите! Она же у нас эмоциональная такая, — будет вещать тетя Тамара. — Спрашиваю у нее в третьем классе: мол, скажи, дружок, почему ты выбрала этот вариант ответа, а не тот? А Любка мне и отвечает: «Эти цифры красивее!» Вы поняли, да? Цифры — и красивее!

— Это еще что! — поглаживая седые усы, будет поддакивать дядя Олежик. — Я племяшке в третьем классе отрицательные числа пытался объяснить, а она у меня потом и спрашивает: мол, отрицательные числа — это плохие, да?

«Эй, вы, там, алё! — надо бы ответить на все это Любке. — Я, между прочим, кандидат физико-математических наук и кроме основной работы еще у студентов сопромат преподаю! А вы только и помните, как двадцать с лишним лет назад помогали мне с домашкой. Зря вы так, ой зря!»

И даже если Любка наберется смелости ответить, тетя Тамара скажет: ну, мил дружок, если ты такая умная, отчего же тогда просишь денег в долг на билет для мамы? И где тогда твоя арифметическая прогрессия в карьерном росте? А если ответить, что вот он, мой карьерный рост — от стажера до инженера третьей категории, она вздохнет: ах, мон ами, мон ами, и зачем тебе это, ты же девушка, научилась бы, душечка, как следует готовить. А если на это предъявишь печеночный торт в пятнадцать слоев, она на него даже не взглянет: и для кого, мол, это все? Тебе бы не торты, мол, варганить, а семьей обзавестись для начала. А если и скажешь, что вот Витечка — это и есть моя семья, то она ответит, что... Ну уж нет! Уж лучше Любке молча слушать, как в третьем классе она не сумела сложить отрицательные числа. Будет Люба сидеть, краснеть, смотреть и молчать, молчать как рыба...

Точно же, рыба! Когда угодить собственным родственникам — без вариантов, то можно хотя бы поставить мариноваться рыбу.

\* \* \*

Любка проснулась около полудня. Первым делом проверила, в порядке ли холодец, пропитался ли торт, и только потом взялась за себя. До Нового года меньше восьми часов.

Вдруг позвонила мамочка.

— Опоздала, опоздала, — плакала она в трубку, — опоздала на самолет! За тортами очередь, таксист поехал не той дорогой, самолет еще не улетел, но регистрацию закрыли и меня не пустили...

— Ну, мам, — у Любы моментально испортилось настроение, — ну что ты...

Тринадцатая зарплата, знакомство с родителями Витечки, билет на самолет, новость о свадьбе, деньги в долг, «киевский» торт, не видела



маму полгода! Она кинулась было смотреть другие рейсы на сегодня, но все они стоили столько, словно отправлялись на Луну. Все пропало, пропало, пропало...

— Я на поезде тогда, на поезде, — причитала в трубку мамочка. — На ближайший поезд билеты возьму, через пару дней как раз доберусь...

Получается, что в Новый год первыми об их свадьбе узнает не мамочка, а тетя Тамара с дядей Олежиком. Будут обсуждать Любкины щеки, ее школьные оценки, нелепые детские платица, а потом перейдут на советы по поводу свадьбы: фата, банкет, тамада, танцы, конкурсы, медведи...

— Любаш, ты? — через два часа позвонила тетя Тамара. — У мамы твоей чэпэ!

— Что?! Что случилось?

— Самолет без нее улетел!

— Ну да, — выдохнула Любка, сразу отпустив самые страшные мысли.

— Как-то ты, Любочка, спокойно реагируешь на то, что Новый год встретишь без родной матери. Ну да это ваши с ней отношения, чего мне лезть в чужие дела, — говорит тетя Тамара. — Она сказала, что ты со своим на Новый год будешь. Вот мы с Олежиком и подумали: нечего вам мешать. Мы к вам, мон ами, лучше на Рождество заглянем. С наступающим!

«Со своим будешь... — думает Люба, вешая трубку. — Простоит ли печеночный торт неделю?»

Одно только радует: тетя Тамара с дядей Олежиком теперь ничего не ляпнут при Витечке и его родителей. А торт... Ну что торт?

А до Нового года между тем остается меньше шести часов.

— Ну что ты! — успокаивает Виктор ее по телефону. — Значит, на Рождество. Значит, в следующий раз. Ну, перестань. Все же хорошо.

Измотанная ночью, проведенной между холодцом, печеночным тортом и тазиками салатов, Любка ложится немного вздремнуть. Не хватало еще потом праздник проспять! Не зря же говорят: как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Она думала, что проснется в девять вечера, но едва смогла встать в десять. Взглянула на часы — и тут же в душ, надевать платье, красить ресницы, распускать волосы... Хорошо, Витечка с родителями не успел подойти, а то она как будто соня ленивая — заспанная и помятая.

За полчаса Любка привела себя в порядок. Покрутилась перед зеркалом, решила, что очень себе нравится, а раз никого с ее стороны не будет, значит, и родителям Витечки наверняка придется по душе. Только вот что-то Витечка с родителями задерживаются, надо бы им позвонить. До Нового года остается меньше двух часов.

«Ты где? Выехала уже?» — сообщение от Виктора полтора часа назад.



«Выезжай прямо сейчас. Я встречу тебя на станции», — сообщение от Виктора два часа назад.

«Или бери такси. Адрес дачи ты знаешь», — сообщение от Виктора два с половиной часа назад.

«Садись на электричку. Давай к нам!» — сообщение от Виктора в то же время.

«Не могу до тебя дозвониться. Твои не приехали, давай к моим. Выезжай сейчас, к десяти приедешь», — сообщение от Виктора три часа назад.

И восемь пропущенных вызовов. На электричке до дачи ехать три часа. Даже если она сядет прямо сейчас, на месте будет в час ночи, а Новый год встретит в вагоне пригородного поезда. На такси, конечно, можно добраться за два часа и приехать прямо к полуночи. Но кто же повезет в новогоднюю ночь из города в область?

— Тариф будет повышенный, сами понимаете, — говорит девушка в диспетчерской службе такси. — Ехать будем?

— Будем, — глухо отвечает Любка.

— Свободных машин сейчас нет, ожидание около часа, — продолжает девушка в трубке. — Ехать будем?

— Не будем, — Любка вешает трубку и начинает рыдать.

Еще не хватало встретить Новый год в компании незнакомого водителя где-нибудь по дороге к дачам! Сначала мама опоздала на самолет, потому что прямо перед самым отъездом выбирала «киевский» торт для своей сестры Тамары. Какие там билеты на самолет к дочери, какая там тринадцатая Любкина зарплата! Торт для сестры оказался важнее. Потом тетя Тамара отложила свой визит из-за того, что не приехала ее сестра, и бессловесный дядя Олежик, конечно же, остался при ней, даже не передав привет. Затем родители Витечки тоже решили встретить Новый год у себя на даче, а Люба слишком поздно узнала об этих планах. Витечка вместе с родителями ждет ее там, а она тут — и совсем одна.

До Нового года остается полтора часа.

\* \* \*

— Водки бы, — вслух говорит Люба, размазывая тушь по лицу.

И тут же вспоминает, что за алкоголь отвечает Витечка, а он ждет ее на даче с родителями, а она тут, и есть у нее только чай в пакетиках и томатный сок из банки.

— Ну и замечательно! — зло говорит Люба. — Просто прекрасно!

Люба не ела весь день сегодня, не ела полдня вчера. В нее теперь много влезет — и пусть! И она приносит с балкона холодец и начинает его есть, стоя прямо посреди комнаты. Хрящи хрустят на зубах, а Любка жует эту желеобразную мясную массу, щедро сдабривая ее и горчицей, и уксусом одновременно, а хрящи все хрустят и хрустят.



«И почему Витьке нравятся эти хрящи? — думает Люба и тут же задается другим вопросом: — И почему я приготовила этот холодец так, как любит он, а не так, как люблю я? Ела бы сейчас холодец без хрящей».

У Любы звонит телефон, пачками сыплются сообщения, но какое ей вообще сейчас до них дело? До Нового года остается час, и Люба отставляет в сторону это мясное желе с хрящами и достает из духовки запеченную в фольге рыбу. Уж рыба-то удалась! Люба разворачивает один за другим стейки из семги. Горячие, они дышат на нее густым аппетитным запахом, и Люба брызгает на них лимонным соком, и ковыряет их вилкой, и отправляет розовые кусочки ароматной рыбы себе в рот.

«Хороша рыба, хороша!» — думает Любка и тут же произносит это громко вслух.

Некому сказать про ее рыбу, что это курица. Некому рассказать, как надо правильно запекать рыбу под майонезом. Поэтому рыба хороша для Любы и так: с розмарином, солью и лимонным соком. И Люба ест ее и нахваливает, нахваливает и ест. От этого рыба хороша вдвойне. Второй кусок, третий... Ваше здоровье, тетя Тамар! Спасибо, мон ами, что не пришли.

«Еще холодца бы, но без этих хвостов», — думает Люба. И ложкой из всех тарелок выедает дрожащее студенистое мясное желе. «Привет тебе, Вить», — кивает она мигающему сообщению на телефоне, но трубку не берет. Что она скажет этому своему Витечке? «Я проспала все твои звонки и сообщения, не смогла к вам приехать и теперь тут одна жру все, что наготовила на семерых?»

— С наступающим, Вить! — произносит Люба вслух, игнорируя пропущенные вызовы. — Привет родителям, которые решили остаться на даче и оставить тебя с собой.

Селедку под шубой Люба закусывает салатом из крабовых палочек, салат из крабовых палочек — маринованными грибами, маринованные грибы — оливье, а оливье — снова селедкой, а селедка вдруг удивительно хорошо идет с грецкими орехами и черносливом!

«В желудке все равно все смешается, — будто бы опьяненная, думает она, — так к чему же весь этикет?»

На елке гипнотически мигают огоньки; бумажный серпантин шуршит от тянущего по полу сквозняка; переливаясь, дрожит серебристый дождик; не распакованными стоят приготовленные для гостей подарки. И Люба смотрит на всю эту несбывшуюся новогоднюю идиллию — и ест, ест, ест...

До Нового года остается пятнадцать минут.

«И про кого я забыла? — сама себя спрашивает Люба и тут же отвечает на свой вопрос: — Да про дядю Олежика!»

Печеночный торт горой высится на полке в холодильнике. Пятнадцать слоев — это вам не оладушки налепить! И Любе вдруг становится дико смешно.

— Ну и вкус у вас, дядь Олежик, — говорит она вслух. — Не вкус, а говно! Попросили меня приготовить такое, а теперь мне это для вас еще и есть!

Люба не любит печень, от одного запаха ей становится дурно. Но она мужественно ковыряет все пятнадцать слоев вилок, лишь бы не оставлять это до Рождества, и запивает все томатным соком, подавляя лезущие уже из нее наружу торто-печеночно-салатно-майонезные массы, а томатный сок льется мимо рта и капает на ее золотистое платье.

— Давай хоть ты! — говорит она, включает телевизор, отшатывается от орущего на нее экрана и, осторожно оглядываясь, тут же добавляет: — Хоть от президента услышать нормальное поздравление...

До новогоднего обращения президента остаются считанные секунды, но Любу мутит так, что, сиди он сейчас напротив нее, она бы сделала то же самое.

— Дорогие россияне... — говорит телевизор, но Люба уже не слышит.

Согнувшись над унитазом, она думает о том, что в желудке, действительно, все смешалось: телячьи хвосты с рыбой, майонез с томатным соком, грибы с кукурузой, колбаса с черносливом, селедка с так и не привезенным мамой «киевским» тортом... Люба все стоит и стоит, согнувшись пополам, и ждет, когда все это в ней кончится. И нервно вздрагивают ее плечи от мыслей о всяких хрящах, и обжигающе болит разодранное лезущей едой горло, и медленно ворочается желудок, и болезненно ноет отчего-то правый бок.

\* \* \*

В новогоднюю ночь в хирургии остался дежурить Алексей Алексеевич. Год заканчивался хорошо. Из реанимации вывели всех. Кого могли выписать до праздников, тех выписали. А кто остался, тот уверенно идет на поправку. Да и в самом дежурстве в эту ночь нет ничего особенного. С отравлениями в это отделение не привезут, с травмами и подавно. А плановые операции на Новый год не назначают.

Но в три часа ночи скорая внезапно привозит пациентку с острой болью в правом боку. Неужели аппендицит?

В приемной — девушка в забрызганном жиром платье с какими-то темными пятнами на подоле.

— Пили? — спрашивает Алексей Алексеевич.

— Нет, — мотает головой девушка.

Губы синие, кожа бледная, мелко дрожат руки, температура повышена.

— Совсем? — вздыхает Алексей Алексеевич.

— Только ела, — отвечает девушка и почему-то отводит глаза.

Алексей Алексеевич пальпирует живот. Мышцы напряжены.

— Болит?



— Очень.

Это симптом Ровзинга. Значит, воспалена брюшина.

— Переворачивайтесь на левый бок, — говорит Алексей Алексеевич. — А так болит?

— Еще больше.

Это симптом Ситковского. Значит, есть воспаление слепой кишки.

— Снова на спину. Ноги согните в коленях. Покашляйте.

— Я не хочу. Болит.

Это симптом Сорези. Неужели все-таки аппендицит?

— На УЗИ пройдемте.

— А что у меня? — глаза большие, испуганные.

— Предположительно, аппендицит. Что ели?

Девушка вздыхает.

— И все же?

— А надо все перечислять?

— А как же!

— Холодец — две чашки и еще одну немного, рыбу — три куска, салат оливье, салат с крабовыми палочками, чернослив с грецкими орехами, немного селедки под шубой, маринованные грибы, потом еще печеночный торт — примерно половину...

— Это уже не диагноз, а меню новогоднего стола! — смеется Алексей Алексеевич. — Пили?

— Вы уже спрашивали. Нет.

— А лучше бы пили. Тогда бы столько не съели.

Алексей Алексеевич водит датчиком по животу, размазывает по тонкой коже холодный гель. Живот нервно вздрагивает, девушка жалуется на боль. Вздутия кишечника нет, конец слепой кишки просматривается на простом ультразвуке. Точно, аппендицит.

— А где еда-то? — смеется Алексей Алексеевич. — Нет по УЗИ в вас никакого холодца.

— Стошнило, — краснеет девушка.

Врач откладывает в сторону датчик, протягивает бумажные салфетки.

— Сейчас что? — спрашивает она.

— Оформляем.

— Куда?

— Медсестра, взять кровь и мочу, — говорит Алексей Алексеевич, будто не слыша вопроса пациентки. — Снять ЭКГ, сделать флюорографию. Отвезти к анестезиологу. Готовим операционную. Ну и клизму ей еще.

«Какую клизму?! — хочет сказать Люба. — Новый год же только наступил! Давайте не сегодня, потом. Выдайте мне обезболивающее. Отвезите домой. Я посплю, и все пройдет».

Но вместо этого она вдруг вспоминает гладкий, блестящий, такой красивый кусок печени темно-красного цвета, который только накануне

выбирала на рынке, и ей становится совсем дурно. Дурнота лезет через край, хотя лезть уже нечему, и голосом тети Тамары звучит в голове: кожицу с курицы, мон ами, снимают как перчатку, — и от этого накатывает с новой силой еще и еще.

\* \* \*

Дежурную операционную сестру позвали из соседнего корпуса.

— Вот уж не повезло девчонке, — только и сказала она, узнав про острый приступ аппендицита.

Медсестра методично проверила наличие йода, спирта, необходимых растворов. Халаты, шапочки и маски, стерильные салфетки, перчатки. Корнцанги, щипцы, кровоостанавливающие пинцет и зажим. Лигатуры, нитки для швов, иглы. Все было в порядке.

Пациентку привезли и переложили на операционный стол под бес-теневые лампы.

— Кроме укола, ничего не почувствуешь, — пообещал, улыбаясь че-рез маску, анестезиолог.

Люба вытянула руку, недоверчиво посмотрела, как врач трогает вены, как иголка уходит под кожу на локтевом сгибе.

— С наступившим вас, — вдруг сказала она. — Как Новый год встретите, так его и проведете.

— Ну все, наш человек! — откуда-то сверху рассмеялся хирург.

Анестезиолог снова улыбнулся, медсестра о чем-то спросила хирурга, а Люба только успела моргнуть, как сразу же провалилась в сон. И для нее тут же исчезли и давящая боль в правом боку, и слепящий свет над головой, и пульсирующая иголка в левой руке, и этот так странно насту-пивший Новый год. И сразу стало так хорошо, хорошо, хорошо...

\* \* \*

В первые годы работы Алексей Алексеевич считал операции, потом перестал. Просто сбился со счета. Но довести свои действия до автома-тизма все равно не смог. Так и проговаривал все каждый раз про себя, будто бы глядя в медицинский справочник.

Когда он оперировал впервые, то поверить не мог в то, что это де-лает он. Во второй, в третий раз — тоже, и даже больше. Хорошо, что со временем это ощущение вечного новичка исчезло, иначе как бы он мог продолжать оперировать?

С помощью тупоконечных ножниц Алексей Алексеевич расслоил по ходу волокон внутреннюю косую и поперечную мышцы живота. Теперь надо рассечь поперечную фасцию, приподнять пинцетом брюшину, про-верить все ли хорошо. Выдохнуть.

На какую-то долю секунды ему вдруг показалось, будто бы тонкая, полупрозрачная серозная оболочка брюшины дрогнула изнутри, колыхну-

лась под его чуткими пальцами. Что это? Он бросил взгляд на анестезиолога — тот был спокоен. Посмотрел на медсестру — та подавала зажим для захвата. Почудилось? Брюшина дернулась еще и еще. Медсестра смотрела прямо в зияющие края разреза, но, похоже, не видела ничего необычного. Значит, почудилось.

Он захватил зажимом, приподнял и рассек брюшину на всю длину раны, когда в новом разрезе вдруг шевельнулись... Нет, этого просто не может быть! Он машинально просунул в разрез пальцы, хотел при помощи марлевой салфетки захватить слепую кишку, но тут из-под его ладони вдруг выскользнула... бабочка!

— А-а-алексей Алексе-е-евич, — настороженно протянула медсестра, — это еще что за фокусы?!

За первой бабочкой показалась вторая, за ней еще и еще. Они появлялись прямо из брюшины, лезли на свет из только что сделанного разреза и, мельтеша радужными перламутровыми крылышками, разлетались по операционной.

— Что это, что это, что это... — только и повторял хирург, разглядывая метавшихся бабочек.

А те, будто застигнутые врасплох, лихорадочно кружились в воздухе и тут же, ослепленные светом бестеневой лампы, падали на пол.

О таком не писали в медицинских справочниках, не рассказывали на лекциях в академии. Что указать в истории болезни? Написать, что после разреза из брюшной полости пациентки стали вылетать бабочки? Бабочки в животе?

— Алексей Алексеевич, я все продезинфицирую, — ледяным голосом сказала медсестра. — Ваш скальпель, зажим. Вводить в брыжейку раствор новокаина?

Анестезиолог невозмутимо следил за показателями давления и пульса, отмахиваясь от порхающих вокруг него бабочек. Операция продолжалась в штатном режиме.

\* \* \*

Когда Люба пришла в себя, то не сразу поняла, где находится. Белый потолок, белые стены, белая простынь...

— Как самочувствие? — раздался голос.

Люба увидела лицо врача, который вот только что давил на ее живот в приемной, и вспомнила, что ее привезла скорая с подозрением на аппендицит. Заглянула под простынь — из-под пластыря на боку торчит синяя нитка.

— Так быстро? — только и спросила она.

Хирург осматривал шов, набирал в шприц обезболивающее.

— Люба, что вы ели до приступа? — спросил он, медленно вводя лекарство.

— Ничего особенного, — Люба вспомнила все, что случилось с ней накануне, и ей стало неловко. — Я уже говорила вам, что ела.

— Гм... — врач пристально разглядывал пациентку. — Соблюдайте постельный режим, не вставайте.

Люба кивнула.

— Там кнопка вызова дежурной медсестры, — хирург указал на угол кровати. — Нажимайте, если что.

Люба потянулась к тумбочке за телефоном. Мама сбросила сообщение с поздравлением, потом еще одно, сославшись на плохую связь. Тетя Тамара прислала дежурную картинку с елкой, она шлет ее уже пятый год. Дядя Олег, как всегда, не прислал ничего, негласно присоединившись к поздравлениям жены. Люба открыла последнее сообщение от Виктора: «Ты где? Не могу до тебя дозвониться. Приехал утром первого января, а тебя нет. Кто-то разгромил холодильник».

На календаре уже значилось второе, десять утра. А Виктора волнует, кто разгромил холодильник.

Тетя Тамара всегда считала Любу слишком эмоциональной. Где же сейчас ее эмоции? Где? Обезболивающее притупило боль на месте шва, но и внутри Люба не чувствовала ровным счетом ничего. Она вдруг подумала, что мама, которую она так ждала, просто безответственно отнеслась к этой поездке. А тетя Тамара, которая при каждой встрече учит Любу, как надо жить, сама живет так себе. Разве может быть интересной жизнь у человека, который с курицы снимает кожу целиком, как перчатку? А дядя Олег, он же не просто путает рыбу с курицей, он и сам ни рыба ни мясо. Всю жизнь поддакивает своей хамоватой жене и не замечает этого.

С какой стати все они называют ее Любкой? Еще и Виктор туда же! Вместо того чтобы заехать за ней, остался со своими родителями. Ждал, когда Люба сама доберется до их дачи на последней электричке.

Все-таки стоило пропустить первый день наступившего года, чтобы все это наконец понять...

— Алло? — Люба принимает звонок с неопределенного номера.

— Любовь, это вы?

— Да, — машинально отвечает Люба.

— Вас беспокоят из свадебного агентства. Мы договаривались на праздниках обсудить детали вашего торжества. Ваша с Виктором свадьба состоится весной, я правильно понимаю? Пора начинать готовиться уже сейчас!

— Вы ошиблись номером, — говорит Люба и вешает трубку.



Сергей ЛУЦКИЙ

## ДЕСЯТОК РОТАНОВ НА ЯПОНСКОЙ ЛЕСКЕ

Р а с с к а з

Юрка Егоров оказался нормальным пацаном.

Это Орест только обещать умеет: типа, рыбы в их ставках завались. Орест местный, живет на окраине города, которая зовется Малеванкой, там в самом деле есть ставки. Но ни ставок, ни рыбы, которой «завались», Шурка так и не увидел.

А Юрка Егоров подошел между парами своей блатной походкой, сказал, слегка пришептывая для понта:

— Чувак, могу взять с собой на динамовский пруд. Полчаса на автобусе. Переночевать есть где: там ментовская гостиница для рыбаков. Годится?

Еще бы не годилось! Весь первый курс Шурка мечтал порыбачить или просто оказаться где-нибудь за городом. Но один боялся: местные могли побить. Ни за что, просто так.

Паренек он был, можно сказать, совсем не городской — из райцентра, который мало отличался от села, — и так тосковал по дому, одноклассникам и просто по живой, а не задавленной асфальтом и брусчаткой земле, что однажды сбежал из техникума. Мать с отцом отругали и отвезли обратно. Шурка уговорил их не рассказывать о причине его побега в общежитии: пацаны бы засмеяли. Хотя сами, наверно, тоже тосковали на асфальте и брусчатке, только помалкивали. Сквер рядом с общежитием не в счет. Он напоминал Шурке зверинец, а деревья и земля на клумбах — попавшихся животных.

И вот — такая везуха! Главное, от кого? От Юрки Егорова, которого Шурка остерегался после одного случая в колхозе.

Осенью техникум вывезли убирать кукурузу. Обед в бидонах доставляли на подводах прямо в поле, и поборник справедливости Шурка оттолкнул лезшего без очереди со своей миской Юрку Егорова.

Тогда они еще мало знали друг друга, хотя учились в одной группе. К тому же Юрка был городским.



— Чувак, ты чем-то недоволен? — подойдя после обеда своей развязной походочкой, спросил особым голосом Егоров.

Будь он один, Шурка нашел бы, что ответить, а в случае чего и сдачи бы дал. Но рядом с Юркой маячил амбал-старшекурсник, и... у Шурки сыграло очко. Он промямлил, мол, все в порядке, всем доволен... Внутренне помолчав, Егоров и амбал отошли. Шурка, ненавидя себя за трусость, затаил обиду и с тех пор обходил Юрку стороной. А тот, как видно, уже все забыл.

В субботу было две пары; всем в кайф, а собравшимся рыбачить — особенно.

Зашли в общагу, бросили конспекты на койку в Шуркиной комнате. Пообедали в столовке, именуемой «тошниловкой». Юрка — ничего: съел первое и второе, хотя наверняка привык к другому хавчику. Нормальный пацан, просто любит работать под бластного, уж такой у него бзик. Это чтобы уважали.

В гастрономе купили хлеба, несколько банок кильки в томатном соусе по тридцать семь копеек и, для эксперимента, банку китового мяса. Насчет удилиц решили не заморачиваться, главное у них было: моток зеленоватой лески, крючки и грузила. Юрка из дома принес. Леска, сказал, японская, особо прочная, достал по благу. А удилица они вырежут на месте, там же и сосновая кора для поплавок найдется. Лес кругом.

Шурка незаметно для себя начинал подергиваться, когда представлял, как будет рыбачить. Дома в это время он уже таскал из речки сопливых ершей — первую весеннюю рыбу, но не ерши были главное. Главное — азарт! Нырок поплавка, подсечка, отдающий в руку трепет упирающейся в речной глубине рыбы, ее мелькнувшее в воздухе тело... И неизвестно, что быстрее прыгает: ерш на берегу или Шуркино сердце. Одно с ершами плохо — жадные. Слишком глубоко заглатывают крючок, приходится долго возиться, прежде чем его вытацишь.

С автобусом все сложилось удачно, долго ждать не пришлось. Вскоре Егоров и Шурка уже покачивались в нем среди местного люда, нагруженного переметными сумками-бесагами, полными городских покупок вместо всего того, что было привезено утром на базар из теплиц и хлевов. Запахи в автобусе были совсем не те, что в городе, но отличались и от духа, среди которого Шурка вырос в своем райцентре. Из приспущенного автобусного окна пахло зелеными майскими холмами: среди них струилась дорога; в самом автобусе — шерстью пестрых бесаг, крестьянским потом, овечьей брынзой и многим другим, что все вместе было Буковиной.

Шурка беспокоился насчет червей для наживки, но и это, как оказалось, не проблема. Когда вышли из автобуса, покотившего дальше в пыли, Егоров остановился у первого же двора с навозной кучей. На ломаном украинском вежливо поздоровался с вышедшим из хаты хозяином и попросил разрешения накопать в навозной куче червей. Вернее, купил разрешение за двадцать копеек.

Шурка чуть не окаменел от стыда за Юрку, протянувшего монету, и за мужика, спокойно взявшего ее. В его райцентре оскорбленный хозяин шуганул бы таких «покупателей» вместе с их двадцатью копейками! Здесь — другое. Буковина в составе Союза не так давно, да еще минус годы румынской оккупации... Многое осталось от прежних обычаев.

— Негоро, а на бандеровцев мы не напоремся? — Шурка ухмылялся, чтобы Егоров не подумал, что он трусит.

На их курсе у многих ребят были кликухи. У Юрки — Негоро, потому что звучит похоже на его фамилию. А вообще, это один из героев мировецкого фильма «Дети капитана Гранта».

— Пацан, ты чё? Давно выловили всех! Ты моего фатера видел? Лично несколько бандеровских схронов обнаружил. Орден получил.

— Я так, на всякий случай... — смутился Шурка.

— Не дрейфь, здесь их точно нет. Может, и остались где-нибудь в горах, куда мой фатер со своими парнями еще не добрался. И то вряд ли.

То, что самолюбивый Юрка упомянул об отце, было странно. Наверно, забыл, как остролиций капитан с малиновыми петлицами зло отчитывал его при всей группе за двойки, прогулы и другие художества. Валентина Григорьевна, куратор их техникумовской группы, пожаловалась.

Свернули с дороги, село осталось за спиной. Отсюда, с холмов, город едва угадывался в синеватом мареве внизу. Даже университет, в прошлом резиденция буковинского митрополита, и готический шпиль лютеранской кирхи, ныне областного архива, казались размытыми цветными зернышками в беспорядочной мешанине крыш и неразборчивой путанице улиц.

Шурка набрал полную грудь воздуха и какое-то время стоял не выдыхая. Под ногами пружинила живая земля. Это было счастье. Наконец-то!.. Если бы город внизу растворился, исчез, провалился к чертовой матери — ни одна клеточка Шуркиного тела не отозвалась бы. Как надоед! Как обрыд!.. И как хорошо, что вокруг трава, солнце, золотистый предвечерний воздух, пахнущий лесом и не такими уж далекими Карпатами, в которых Шурка обязательно когда-нибудь побывает...

— Ты чего? — Юрка, ушедший уже метров на десять вперед, оглянулся.

Банку с червями он держал на отлете.

— Да так... — Не станешь же говорить, что чувствуешь. Словами смешно будет.

И Шурка быстро догнал Егорова.

По дороге тот принялся рассказывать, как в восьмом классе ходил с пацанами в поход и как они шkodили. Возле какого-то села поймали гуся, разбили голову камнем, опалили на костре и поджарили, проткнув палкой, — вроде как на вертеле. В общем, обед Робин Гуда. Съели больше для прикола: гусь был полусырой, и соли ни у кого не оказалось. Училка быстренько увела их обратно в город, были какие-то разборки, но все обошлось: из села жаловаться не приходили... Пацаны из их класса про-

славились на всю школу. Девчонки раньше их в упор не видели, а теперь сами предлагали дружить, даже десятиклассницы. Некоторых получалось уговорить, и они давали...

— Да ладно! — одновременно не поверил и позавидовал Шурка.

— Гад буду! — поклялся Егоров. — Думаешь, чувихи не хотят? Просто залететь бояться. А с презерами — пожалуйста.

Шурка все равно не поверил. Заливает Негоро.

До динамовской базы добрались, когда уже садилось солнце. База оказалась длинным бревенчатым домом, похожим на барак. Над входом был натянут не успевший выгореть кумач с белыми буквами: «Да здравствует 50-я годовщина Великого Октября!» Рядом с баракom какой-то человек в майке и синих галифе поливал грядки. На приближающихся ребят он не смотрел, но, чувствовалось, заметил их давно.

— Комендант, — вполголоса пояснил Юрка. — Классный мужик. Выращивает зелень и толкает рыбакам для ухи.

Шурка, все еще робевший перед взрослыми, спросил:

— Бочку катить не будет, что ты меня взял?

— Не мандражируй, чувак! Корочки динамовского рыбака дают право брать с собой еще одного человека.

— Откуда они у тебя?

— Отцовские, откуда... Добрый день, Петр Ионыч!

— Ну, скажем, не день, а вечер, — отозвался комендант, не отрываясь от своего занятия. — Я так понимаю, хлопцы, вы с ночевой, рыбачить наострились, правильно? Только не вижу, где ваши удочки. А?

— Мы на донки, Петр Ионыч. — Егоров торопливо кивнул на свою спортивную сумку, в которой были консервы и хлеб.

В вопросе коменданта и поспешности, с которой ответил Юрка, чувствовалось что-то подспудное. Что — Шурка не понял.

— Ну-ну... — протянул комендант. — Ладно, пошли, ключ от комнаты дам. Чайник нужен?

До того, как стемнело, нашли орешник и вырезали по удилицу. Срез удилица прямо, обещающе пахнул. В орешнике уже было темно, диковато, и Шурка подумал, что скоро ляжет роса. Знать это было радостно. Нашли и старую сосну с растрескавшейся корой, нормальной для поплавок. Удочки решили делать утром, когда будет светло.

— Удилища оставляем здесь, запоминай место, — сказал Юрка на опушке. — Комендант не любит, когда орешник вырезают. И вообще когда деревья трогают. Считает, они живые.

— А-а-а... — протянул Шурка.

Теперь стало понятно и заискивание Негоро, когда он врал о донках, и подозрительность коменданта. Станный человек: деревья — живые... Они что — люди?

— Это у него после контузии. Бандеровцев ловил. У них же не только шмайсеры — гранаты тоже были. А в остальном Ионыч мужик что надо!

Шурка покивал. Хотя все равно было странно.

В спортивной сумке у Егорова кроме консервов и хлеба оказались транзистор и бутылка крепленого «иршавского». Это выяснилось, когда стали устраиваться в отведенной Петром Ионычем комнатке с двумя койками и столом у окна. «Иршавское» Юрка достал с таким видом, будто купить его ничего не стоило.

— Будешь? — спросил он, ставя бутылку на стол.

— Я же не скидывался...

Шурка не заметил, когда Негоро купил вино. Было неловко: и так на шару ночует на базе, еще и выпивка за Юркин счет...

— Не бери в голову, чувак! — Егоров взглянул на часы и потянулся к транзистору. Нормальный он все-таки пацан, а при его блатных замашках и не подумаешь. — Скоро забугорное радио битлов будет передавать.

— Что за битлы такие? — спросил Шурка с усмешкой.

Он остро почувствовал свою отсталость. В его райцентре даже самые продвинутые пацаны ни о каких битлах не слышали.

— Лондонская группа, «жуки» по-английски. Такие композиции забабихивают — улет!.. Здесь должно хорошо сигнал брать, далеко от глушилок.

Юрка принялся ловить по транзистору неведомых Шурке битлов, но всё попадал на советские радиостанции. Там говорили о трудовых вахтах в честь юбилея Октября, о рабочих и колхозниках, перевыполняющих план...

Егоров кивнул Шурке на «иршавское»: открывай. Тот неумело срезал пластмассовую пробку Юркиным рыбацким ножом, наполнил стаканы, выданные комендантом вместе с чайником. Споро вскрыл кильку в томатном соусе — это ему частенько приходилось делать, навык был.

Юрка взял свой стакан:

— Поехали!

Шурка тоже выпил. Вино было сладкое, но сразу весь стакан он осилить не смог. Егоров, закусив, вернул ему свой рыбацкий нож с ложкой, вилок и штопором:

— Давай ты.

— Комендант не заложит? — спросил Шурка, кивнув на дверь в коридор.

Негоро ухмыльнулся:

— Наивняк! Мы же рыбаки, полагается!

— Нет, насчет этого, — Шурка показал на транзистор.

— Забугорное радио? Да они все слушают! Мой фатер ночами сидит. «Голос Америки», «Свободная Европа» и все такое.

— Ладно заливать! Он офицер.

— Клянусь! Но это между нами, понял?.. О, битлы! Я же говорил, здесь хорошо ловит!..

Вино начинало действовать, и вскоре Шурка уже чувствовал, что ему приятно сидеть в этой небольшой комнатке, слушать музыку, моло-

дые голоса английских ребят, о которых он до сих пор ничего не знал. И вино клевое, и килька в томатном соусе — тоже, и Негоро — клевый пацан, хотя не сразу это понимаешь...

Шурка допил свой стакан, откинулся на прислоненную к стене подушку.

— Ты закусывай, а то в Ригу поедешь, — сказал Юрка.

Шурка знал, «поехать в Ригу» значит «рыгать», в общежитии это выражение было в ходу. Теперь оно показалось ему потешным, и он хотел рассмеяться, но только широко заулыбался. Ему было хорошо.

Он засыпал, и последним, что пробилося к нему сквозь музыку и голоса битлов, были слова Юрки: мол, на дворе поднимается ветер. Даже сквозь окно слышно. Как бы дождя не было, а то завтра получится не рыбалка, а полная фигня.

На рассвете дождь не шел, но было пасмурно. Шурку разбудили громкие голоса и тяжелые шаги в коридоре. Это, видимо, уходили к пруду несколько человек, которые тоже ночевали на базе.

— Ну что, встаем? — спросил он, повернув голову в сторону койки, на которой спал Негоро.

Тот не отозвался. Шурка быстро оделся, вышел из барака.

Утро было не только серым, но и ветреным. Угрюмо, тяжело шумели высокие сосны у пруда, их вершины раскачивались. Казалось, деревья переминаются с ноги на ногу. Видны были удаляющиеся спины вставших раньше рыбаков. В руках спиннинги и подсачники. Серьезные мужики, с уважением подумал Шурка.

Необычно бледный комендант осторожно, будто нес на голове полное ведро воды, вышел из вольера. Сквозь частую сетку было видно, как там уткнулись в корытце с едой две вислозадые овчарки. Это, наверно, они бегали ночью под окнами: Шурка несколько раз просыпался от лая.

— Доброе утро, — поздоровался он.

Петр Ионыч на приветствие не ответил. Вместо этого тускло спросил:

— Егоров тебе насчет пруда сказал? Рыбачить будете в нижнем. — И болезненно, преодолевая себя, усмехнулся: — Проспали зорьку?

Станным каким-то был нынче комендант. Узнал, что они с Негоро вчера вырезали в орешнике удилица, и теперь злятся?.. Шурка промолчал.

Вернулся в комнату, взял чайник, налил воды из ведра на табуретке в коридоре. Есть не хотелось, но чаю выпить было бы неплохо. Или просто воды: заварку они не взяли.

— Что за нижний пруд? Ионыч говорит...

Юрка повернулся на спину, зевая, и сказал сиплым, неспавшимся голосом:

— Бесплатный. За рыбалку на верхнем бабки надо отстегивать.

— Почему?

— Там карпов специально разводят. Но в нижнем тоже кое-что можно поймать.

Как и Шурка, Егоров после вчерашнего есть не хотел. Но выпил почти половину чайника.

Не таясь, повел Шурку в орешник:

— Ионычу сейчас не до нас. Контузия сказывается, ему отлежаться надо. Видишь, какая погода.

Удочки наладили быстро. Шурку познабливало — верное предчувствие удачи. И это сейчас было намного важнее коменданта с его контузией.

Нижний пруд отделяло от верхнего что-то вроде дамбы. Ветер на той стороне казался сильнее из-за леса, подступавшего почти к самой воде. Деревья тревожно, неприветливо гудели.

Шурка огляделся, соображая, где лучше закинуть удочку. Ему не терпелось, чуть ли не сразу за дамбой он принялся насаживать на крючок бордового навозного червяка из банки. Тот извивался, не хотел.

— Прикинь, в Средние века так людей на кол сажали. — Юрка не спешил разматывать свою удочку, внимательно наблюдал за тем, что делает с червяком Шурка. — Если бы он умел кричать, мы оглохли бы.

Шурка взглянул на него. Первый раз на рыбалке, что ли? Или хохмит?..

Насадив в конце концов червяка и аккуратно, без всплеска закинув удочку, он присел на корточки. Важно было не распугать рыбу. Она все видит и слышит.

Ветер у воды был не такой сильный, как в вершинах деревьев, но и сюда доставал. Поплавок из сосновой коры подпрыгивал на мелкой волне. На такой трудно заметить поклевку. Шурка не отрывал глаз от поплавка, сразу отключившись от всего вокруг. Отметил только, что Егоров пошел дальше вдоль берега. Наверно, знает хорошее место.

Несколько раз Шурке казалось, что клюет, и он выхватывал из воды удочку. Но ничего не было, даже червяка не тронули. Похоже, надо менять место, слишком он поторопился. Или червяка на крючке сменить: у рыбы свои бзики, этот не понравился... Оставив удочку в воде — а вдруг? — Шурка пошел искать Егорова: тот унес с собой банку с червями.

Сейчас, когда не нужно было пристально следить за поплавком, казалось, что в тревожном шуме крон появилось что-то новое, недовольное, даже угрожающее. Чего это они?.. Вспомнились слова Юрки, что комендант считает деревья живыми. Но Петр Ионыч контуженный, со сдвигом по фазе. Да и с какой стати лесу угрожать им с Юркой? Что рыбачат? Что удилица в орешнике вырезали?..

Всякая фигня в голову лезет! Права, наверно, Валентина Григорьевна, когда на каждом классном часе талдычит, что алкоголь вреден для неокрепшего организма. Но Шурка все же настороженно посмотрел вглубь леса, где деревья стояли стеной. Было жутковато.

— Поймал что-нибудь? — спросил он Егорова, стараясь, чтобы тот не заметил его боязни.

— Ни хрена. — Юрка стоял на вытоптанном пяточке, конец его удочки небрежно касался воды. Юрка скучал. — Место прикормленное, а все равно... Чувиху видел? На базу пошла. Отсюда хорошо тот берег просматривается.

Похоже, Негоро не слышал ни гула сосен, ни шепота омутно-мертвой воды, которой касалась его удочка, не ощущал общей тревожности вокруг. Или, по крайней мере, не обращал внимания.

— Видел. Нормальный кадр.

Шурка не удивился. Утром среди голосов в коридоре один был явно женский. Да и на верхний пруд, как он успел разглядеть, вместе с рыбаками уходила то ли женщина, то ли девушка. В бесформенной штормовке, но по походке видно, что не мужик.

— Слушай, может, на китовое мясо ловить попробуем? — оживился Юрка. — Мы вчера не все съели?

— Вроде нет.

Китовое мясо было грубым, волокнистым; ни Егорову, ни Шурке оно не понравилось. Но у рыб свои вкусы.

— Тогда я схожу?

— Давай!

Шурка проводил приятеля взглядом. Поймал себя на том, что оставаться одному среди непримиримо гудящего леса ему не хочется. Но бежать же за Юркой — стремно! Может, Негоро тоже не по себе, только он вида не подает? А китовое мясо — лишь предлог, чтобы уйти? Или просто увидел, что девчонка клевая, и хочет покадриться, потому и вызвался сбегать на базу?..

Первого ротана Шурка поймал на нового червя сразу же. «Я же говорил, я же говорил!» — ликовал он про себя, вытаскивая крючок из раздувшейся жабры пестрой рыбешки. Кому и что он говорил, Шурка сам не знал. Все случилось как он надеялся: и подводное сопротивление добычи, и взлетевшее над рябью пруда тельце, и привычная досада, что рыба оказалась меньше, чем представлялось по тому, как она сопротивлялась в воде.

Когда он вытащил этого ротана, лес перестал казаться угрюмым, а гул — угрожающим. Вода в пруду больше не была мертвой, зловедей. Да и все вокруг как-то посветлело, стало почти приветливым, хотя солнце по-прежнему пряталось, а ветер не утихал.

Боясь сглазить удачу, Шурка не сделал заранее низку и сейчас трясущимися руками привязывал к куску японской лески с обеих сторон по коротко обломанной ветке. Продев один прутик сквозь раздувшиеся жабры ротана, он опустил рыбешку в воду и надежно воткнул второй обломок в податливый берег.

Прошептал:

— Ты *им* не говори... Понял?

Сказать это было нужно: иначе, Шурка знал, ротан проболтается — и подошедшая к берегу стайка рыб уйдет. А он так долго ждал эту стайку!

Ротан не проболтался. Вскоре Шурка подсек второго. Когда он вытаскивал из него глубоко заглоченный крючок, появился Юрка с китовым мясом.

— Будешь? — Он протянул банку. И, прямо пальцами взяв из нее кусок мяса, отправил в рот. — Знаешь, на что башка ротана похожа?

— А то нет! — Шурка усмехнулся и в то же время непонимающе посмотрел на приятеля. Ведь собирались ловить на китовое мясо, а он его ест!

Негоро засмеялся:

— Очень похож! Один к одному!.. — Потом сказал: — Чувиху, оказывается, послали вещи собирать. Мужики с верхнего пруда сваливают в город, у них ни одной поклевки. Ветер, давление меняется, карпы такую погоду не любят... Ты давай тоже ешь.

Шурка сглотнул голодную слюну: есть хотелось, не то что утром. Но он продолжал упрямо высвобождать крючок, пальцы были в крови и слизи. Ротаны заглатывали наживку так же глубоко, как ерши.

Пусть мужики с верхнего пруда сваливают, а он останется. Столько ждал этой рыбалки! И клев здесь есть, хоть и одни ротаны...

— Не мучай ты его. Кишки уже полезли, — неожиданно сказал Юрка и перестал есть.

— А ты не смотри! — буркнул Шурка. — Ротаны — вредные рыбы. Икру нормальных рыб жрут.

— Все равно живые. Он виноват, что есть хочет?

«А я не живой, что ты меня в колхозе побить хотел?» — мстительно подумал Шурка, вырывая крючок вместе с внутренностями ротана. — Защитник природы нашелся!»

— Так будешь есть?

— Оставь. Хлеба не захватил?

Егоров, не ответив, направился к своей удочке.

К обеду стало ясно, что надо уходить.

Во-первых, из несущейся по ветру взлохмаченной хмари начал сеять мелкий, почти осенний дождь. Будто и не май вовсе. Во-вторых, очень хотелось есть. В комнате на базе еще оставалась банка кильки в томатном соусе и хлеб.

Быстро смотали удочки, спрятали под огромной елью с густыми, начинавшимися у самой земли, лапами. Мало ли, вдруг еще доведется порыбачить. Хотя вряд ли: учебная часть уже вывесила расписание летней сессии, не до рыбалки будет.

Мужиков с верхнего пруда Егоров и Шурка на базе не застали, те уже ушли.

Быстро съели консервы и хлеб, помыли стаканы, Негоро стал подметать пол.



— Ионыч не любит, когда бардак после себя оставляют, — ответил он на удивленный взгляд Шурки. — Я заходил к нему. Лежит. Смена погоды не только на рыбу действует. К нему скоро жена должна приехать.

С транспортом и на этот раз получилось нормально, даже вымокнуть как следует не успели под мелким, напоминающим изморось дождем. К тому же здесь повсюду на остановках стояли симпатичные беседки для ожидающих автобусы. На Шуркиной родине таких не было. Там бы вымокли обязательно.

В городе Егоров протянул Шурке своих ротанов.

— Куда они мне? — Шурка стал отталкивать его руку с низкой. — Что мне с ними делать?

Дома, ясно, мама почистила и пожарила бы. Или уху сварила, как она делала с ершами. На худой конец, скормили бы кошке. А в общаге?..

— Чувихам отдай, приготовят. Ну, покедова!

И Юрка, явно довольный, что избавился от ротанов, направился к троллейбусной остановке. Походка у него опять была городская, прилащенная.

Найти кого-нибудь, кто согласился бы приготовить ротанов, не удалось. Все брезгливо отказывались. Даже кошка дворничихи тети Кати понюхала рыбешек и отошла в сторону. В конце концов низки у Шурки забрал один старшекурсник и принялся бегать с ними по этажам, пугая девчонок. Те радостно визжали.

Вечером Шурка увидел ротанов свисающими с притолоки дверей на первом этаже. Они как-то быстро усохли, сморщились, рты с мелкими зубами были широко раскрыты, словно рыбешки беззвучно кричали.

Шурка быстро прошел мимо, сделав вид, что не имеет к ротанам никакого отношения.



Мария БУШУЕВА

## КУКОЛЬНАЯ СТАРУШКА

Р а с с к а з ы \*

Вечерами прабабушка наша в круглой раме из белого света торшера начинала рассказывать, из углов выползали невнятные шорохи, всхлипы и слышался шелест, ночь в окно начинала заглядывать, выходили из мрака, толпились вокруг говорящей ушедшие, опасаясь ступить на шуршащие лица свои облетевшие, головами без лиц лишь качали тревожно, качали тревожно, рассказам старушки не верили и, когда засыпала она, тихо падали на пол, исчезали в расщелинах старого дерева.

### Где моя правнучка?

Прадед мой, Лев Максимович, отец моей бабушки по матери, был огромного роста девяностолетний старик, сохранивший все зубы и не имевший ни одного седого волоса. Какое-то время занимался Лев Максимович чаоторговлей в Кяхте, даже учился китайскому языку при Кяхтинском таможенном училище, которое основал знаменитый Никита Яковлевич Бичурин, священник, дипломат и первый русский китаист. На чае прадед разбогател: имел несколько домов и свой пароход, — напиток этот, сопровождавший его могучую старость, всегда повышал ему настроение.

— Сколько чашек чая в день выпиваешь, столько и десятков лет разменяешь, — говаривал он, допивая десятую...

Был Лев Максимович одно время и успешным золотоискателем: в Енисейской губернии в XIX веке нашли золото и начался сибирский Клондайк, который мог превратить Сибирь в русскую Америку. К тому были все предпосылки, но русский царизм никогда не давал Сибири законодательной свободы, да и русский хаотичный характер сказался: обогатилось множество, а миллионщиками остались единицы. И Лев

---

\* Публикуется в авторской редакции.



Максимович не стал исключением из большинства. Всю жизнь ему везло, но к старости он разорился, и о его былом богатстве напоминал только единственный дом с красивыми «луковичными» окнами да массивные кольца из чистого золота, на которых держался полог над его огромной кроватью. Кольца были так прочно вмонтированы в потолок, что, когда распродал он свое имущество, дабы покрыть долги, кольца просто не смогли снять...

Жил Лев Максимович то у своего старшего внука, кажется, чиновника то ли в Якутске, то ли в Енисейске, точно не помню, то у своей младшей дочери, моей бабушки, в Южной Сибири, на территории современной Хакасии. Был он, кстати, знаком с миллионером Петром Ивановичем Кузнецовым, который, как известно, оплачивал обучение художника Сурикова...

И вот, помню как сейчас, мне года четыре, я в большом доме моего деда, и вдруг по лестнице начинает спускаться огромного роста страшный старик, от каждого шага которого сотрясаются стены. Громовым голосом, раскатывая рычащий звук «р», он кричит: «И где моя пр-р-равнучка?!»

Я стою ни жива ни мертва — он кажется мне великаном, который сейчас схватит меня в свои лапищи и съест. Но Лев Максимович, долго роясь в кармане домашнего халата, достает железную коробочку монпансье и, хохоча, протягивает мне...

Так и осталось в памяти: громадный голубоглазый старик, громовый рокошущий смех, лестница, идущая из поднебесья, волшебное слово «чай» и пугливое постукивание леденцов в железной коробочке.

## Устрицы

Дядя мой Валериан был двухметрового роста, еще выше своих двух братьев — Владимира, священника и журналиста, и Бориса, революцию встретившего штабс-капитаном, служившего в Семеновском полку, куда набирали очень высоких солдат и офицеров.

У Валериана было длинное лицо, узковатые глаза с наплывающими на них верхними веками, — и, когда я, маленькая, видела их троих вместе: Валериана, Владимира и Бориса — то удивлялась: откуда эти гиганты? Ведь средний рост мужчин тогда не превышал ста шестидесяти шести сантиметров.

Они казались мне спустившимися с иной планеты.

К тому же Валериан был страшно застенчив. Возможно, из-за своего огромного роста, возможно, по характеру. Окончил он Казанский университет и преподавал историю. Увлекался астрономией, и, когда рассказывал мне, девочке, о Млечном Пути, звездных скоплениях и планетах, его собственное инопланетное происхождение для меня становилось как бы доказательным.



И женился он странно. Сибирь тогда полна была ссыльными поляками и их потомками. Жил такой шляхтич, сосланный польский дворянин по имени Бальтазар, недалеко от нас, после восстания 1863 года остался он в Сибири навсегда. Было у него семь дочерей, все рыжеволосые, страшно смешливые и бесхозяйственные.

О смешливости их ходили легенды. Сам Бальтазар посещал в редкие приезды в город католический костел, а дочерей окрестил уже православный священник. Так вот, хохотали они, даже посещая церковь, — прилипла ли репейная колючка к подолу юбки богомольной старушки, споткнулся ли, читая, дьячок — все их смешило.

Наверное, и над долговязым неловким Валерианом они по вечерам хохотали все семеро, но Бальтазару пора было выдавать своих рыжеволосых бестий замуж — он пробовал что-то зарабатывать то мелкой торговлей, то репетиторством, но семья сильно нуждалась, а других подходящих женихов в округе не было, — и предложение молодого историка было принято.

Увидел Валериан свою невесту впервые без шубы — в церкви, когда венчались. До этого они только бродили по зимним улочкам и он занимал Антонида разговорами по истории и рассказами о небесных светилах...

Увидел и ахнул: Антонида оказалась широка — косая сажень в плечах, грудь ее стояла девятым валом, а волосы пламенели.

Но священник их обвенчал, через год родились близнецы — мальчик и девочка, и, несмотря на красивую одежду — белые платьица, бархатные штанишки, кружевные чулки, шелковые банты и прочее, — одеты они были всегда просто ужасно: то чулок спал с ноги у девочки, то кружева оторвались от платья и волочатся по полу, то бант прикреплен косо, то перепутали обувь — один ботинок надела ей, а мальчику на ногу — туфельку... Готовила-то кухарка, но детьми Антонида занималась сама, и, когда приезжали на праздники ее шесть сестер, все еще не замужних — второго жениха с отлетом найти среди трезвых и практичных сибиряков было сложно, — эти рыжие бестии начинали хохотать над тем, как дети Антониды одеты. И она с ними.

И вот, помню, мне четырнадцать, я епархиалка — было такое училище для детей священнослужителей, давало оно весьма неплохое образование, — а моя подружка, дочь бабушкиной племянницы тети Маруси, моя ровесница, — гимназистка, и мы с ней задумали сходить одни в ресторан и попробовать устриц, сама бабушка мне и рассказала, что мой орловский прапрадед ел устриц, которых ему привозили из Петербурга живыми. Потом он разорился, сын его сам свою землю обрабатывал, а после и землю продал. Но прапрадед жил, по словам бабушки, на широкую ногу, даже театр в поместье устроил... Вот, видимо, в моей глупой голове и связалось: хорошая жизнь — это имение, свой театр и... устрицы. Логика нашей души ведь не математическая. Может быть, стоит начать есть устриц, и папа станет богаче, и мы, его дети, поедem учиться в Санкт-Петербург?

Вечером я сбежала из епархиального училища — отец мой недавно уехал из города в село, получив большой приход, и я жила в пансионе при



училище, — а кухня моя ускользнула из дома, солгав, что забыла записать домашнее задание и срочно бежит к подружке. Телефон-то еще почти что ни у кого не было, вольная воля.

Заранее сговорились мы с ней надеть «взрослые платья», лица до половины прикрыли вуальками... И так пошли к ресторану. И только стали подходить к зданию, над дверьми которого зазывно сверкала огнями яркая вывеска, из-за угла, прямо навстречу нам, вышел высоченный человек. Это был дядя Валериан! И, о ужас, он узнал нас!

А ученицам гимназий, а тем более епархиальных училищ, появляться в городе вечером одним было категорически запрещено.

Пришлось мне рассказать дяде все.

— Ну что ж, — сказал он, — пойдете. Буду вашим кавалером, иначе вас примут за девиц древнейшей профессии и отправят в участок. А со мной вы в безопасности. Вы — мои дамы. Устриц так устриц!

Представляю, как, наверное, хохотала рыжая Антонида и ее шесть сестер, когда дядя Валериан рассказывал им эту историю. А может, он пожалел племянниц и промолчал?

В ресторане играла музыка, подвыпившая публика скосила глаза на высоченного мужчину с двумя юными грациями, но тут же снова уткнулась в бокалы, красную икру и салаты.

Ресторан был дорогой, владел им миллионщик, сделавший себе состояние на енисейских приисках. Дед мой его хорошо знал и отзывался с уважением: миллионщик дал детям прекрасное образование и финансировал арктические исследования.

Что удивительно — оказались в ресторане и устрицы. Живые. С огромным усилием я заставила себя съесть пару. В тисках моих зубов они издавали скрипучий жалобный писк. Это было ужасно. Когда я вернулась в пансион, меня долго тошнило, и я поняла — ни усадьбы, ни театра мне в жизни не видать.

Утром резко похолодало. Нужно было идти помогать городским дамам шить кисеты для офицеров. Уже началась Первая мировая война.

Я солгала, что болею. И, когда ученицы ушли, одиноко бродила по опустевшим классам. Долго стояла у портрета императора Николая Второго. По его лицу полз паук.

Так и осталось в памяти: семь хохочущих рыжих девиц, пищащие устрицы и черный паук на лице императора.

## Кучер Филипп

Второй мой дядя, брат Валериана, миссионер, протоиерей, благочинный — еще до священничества посещал вольнослушателем лекции в Казанском университете. А между прочим, в Казанском университете учились и Ленин, тогда Ульянов, и Лев Толстой. Преподавал там великий Лобачевский...



Проповеди мой дядя уважительно произносил на языке тех, к кому обращался, тюркские языки осваивал он легко — его так и называли порой — абыс\*.

Из европейских языков знал греческий, немного латынь, немецкий и французский. Однажды, еще будучи семинаристом, он перевел для крестьянского философа-иудаиста Бондарева его труд, изданный на французском языке во Франции с предисловием Льва Толстого, — Бондарев состоял с ним в переписке и сильно повлиял на гения своей книгой «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца», — но в перевод были внесены кое-какие изменения, без согласия автора, и старый философ осерчал и послал Толстому гневное письмо — на том их эпистолярная дружба и прервалась...

Начитанный, любил дядя Володя украшать свои проповеди множеством ярких цитат и оттого снискал славу «священника-златоуста». Публиковался он как журналист в газетах, занимался книгоизданием.

С дедом моим, своим отцом, дядя Володя часто спорил. Я маленькая не могла понять смысла их горячих бесед, только помню, что в конце споров оба мирились и спускались вниз пить чай.

У деда моего, в то время управляющего завода, было три золотых прииска — так что он не бедствовал. Кто он и откуда, так и осталось тайной: то ли попал он в Сибирь мальчишкой с какими-то ссыльными, то ли, родившись в Енисейском крае, рано осиротел. Но книгочел он был страстный: выписывал из столиц множество книг и журналов, а в его кабинете стоял массивный стол с решеточкой, точно такой же, кстати, как на известной фотографии Льва Толстого, и я любила забираться с ногами в кожаное кресло и рисовать каракули на красивой китайской бумаге, которой пользовался мой дед для составления документации.

Планировал дед вступить в казанское дворянство, чтобы как бы сравняться с моей бабушкой по отцу, утверждавшей, что ее предки Чубаровы были орловские столбовые дворяне, обедневшие и пополнившие ряды однодворцев. Деду помешала революция. Его убили в годы гражданской смуты, а библиотеку уничтожили то ли красные, то ли зеленые, то ли просто бандитствующие из местных; бабушка моя, его жена, сдерживая слезы, пробиралась сквозь шуршащее море вырванных страниц, достававшее ей до ключиц...

Так вот, у деда моего была прислуга. Запомнилась мне одинокая кухарка, наполовину остячка, имевшая сына: я так и вижу этого тихого мальчика, чуть старше меня по возрасту. Сгорбившись, он обычно сидел в кухне, куда я иногда наведывалась без разрешения, кухарка кормила его, а мальчик глядел на меня исподлобья.

Был у деда свой выезд и свой кучер — красивый чернобородый, по виду цыган, коренастый и белозубый. Звали кучера Филипп.

\* Абыс — священник, поп (тюрк.). — Прим. ред.



И вот помню как сейчас: трехлетняя, я в кабинете деда, он стоит у окна, а я с ногами сижу в его кожаном кресле, чувствуя себя красавицей-принцессой, потому что на мне новое пышное сиреневое платье. И заходит Филипп сказать деду, что можно выезжать. Я тут же сползаю с кресла и начинаю кружиться на месте, точно вальсируя. Не знаю уж почему — видимо, хотелось произвести на чернобородого впечатление. А Филипп зубы скалит, в ладоши хлопает и приговаривает: «Ах, как баришня танцует! Ах, как баришня танцует!» Я топчусь, топчусь, как медведь, и вдруг останавливаюсь, пронзенная внезапным пониманием своей неуклюжести: а ведь надо мной смеются!

Так и осталось в памяти: крупная спина деда, огромный стол с чернильным прибором, голубоватый лист бумаги с детскими каракулями, две теплые ямки в мягкой коже кресла от моих коленей, сгорбившийся мальчик и насмешливое посверкивание крупных белых зубов.

### Кукольная старушка

Отец мой, священник, был сыном псаломщика, который, в свою очередь, был сыном священника. И так по мужской линии велось у них много поколений: бедолага, отправленный еще в начале XVII века, может и за какую провинность, в сибирский острог, не сгинул там, а стал казачьим головой и пустил в Сибири корни. Дети его и внуки считались «лучшими людьми», служили, как бы сейчас сказали, в управе и в таможне, вели торговлю, а один из его внуков выбрал священническое поприще, женившись на поповской дочери: отец ее был сыном приехавшего с Филофеем Лещинским певчего, ставшего в Сибири священником, — от него и пошла мужская линия отцовского рода. Но мама отца, Марианна Егоровна, была чиновничьей дочерью и всегда мне говорила, что вышла замуж она за сына священнослужителя по сильной бедности.

Нраву бабушка моя по отцу была гонористого, а росту крохотного. Сын ее женился на дочери гигантов: и дед мой, и дядя все были под два метра, а дядя Валериан даже два метра и сколько-то, не помню сколько, сантиметров. Да и моя бабушка по материнской линии в то-то время считалась очень высокой: метр семьдесят два.

Бабушка Марианна (прислуга звала ее Маримьяной) и родню по линии своей невестки, и ее самоё терпеть не могла. Считала маму мою не парой ее сыну. А мама была такой нежной, чувствительной... и почти что святой. Ну да о ней чуть позже.

И все у моей бабушки Марианны было кукольное: и ножки, и ладошки, и чепец, и самоварчик с чашечками — она возила его с собой, живя то у одного сына, моего отца, то у другого — художника, потом расстрелянного в годы репрессий.

И вот, бывало, поставит она на стол свой кукольный самоварчик, вскипятит воду, заварит чай — и начнет мне рассказывать истории из



жизни своих родителей или даже дедов-прадедов. Мало что у меня сохранилось в памяти.

Деда своего бабушка Марианна Егоровна помнила хорошо — он был театрал и сам играл в любительских спектаклях. И то ли передалась любовь к сцене отцу от прадеда, то ли от кого еще, но мои родители вместе с детьми, то есть моими братьями и сестрами, ставили сами спектакли, и к ним приходило зрителями все большое село — отец-то был приходским священником. Однажды даже я сыграла в поставленной отцом «Женитьбе» Агафью Тихоновну....

После революции священников и их семьи новая власть возненавидела больше, чем дворян. И это объяснимо — партия насаждала новую веру, и старую нужно было искоренить вместе с храмами и священнослужителями. Был у нас родственник, иерей Барков, женатый на отцовой двоюродной сестре, так он, страшно напуганный расправами, снял с себя сан, приписался к какой-то рабочей артели и вместе с семьей бежал на Украину. Там его следы затерялись.

А вот бабушка моя Марианна Егоровна в самые страшные для православной веры времена внезапно стала совершать постоянные паломничества по святым местам. Она и раньше бывала в Киево-Печерской лавре, ездила в Петербург, даже однажды сподобилась посетить службу отца Иоанна Кронштадтского, но до 1917 года это совсем не было связано с риском для жизни, да и путешествовала она редко. Теперь же, когда большевики могли расстрелять даже за простое признание себя верующей, да еще матерью священника, паломничества по святым местам и уцелевшим храмам стали сопряжены со смертельной опасностью.

И вот бабушка моя, надев темно-серое дорожное пальто, накрыв голову шалью, которую она носила, только если посещала церковь, взяв палочку, поскольку ей было уже за восемьдесят, не боясь большевицкого ока, ходила от церкви к церкви, осеняя себя крестом.

Так и осталось в памяти: кукольная старушка с палочкой, в длинном сером пальто, в маленьких, точно детских, коричневых ботинках идет, часто крестясь, сквозь дорожную пыль и стрельбу, и ни кожаные комиссары, ни мечущиеся в страхе люди не могут помешать ее крохотным шажкам.

## Театр

Мама моя была святой женщиной: так полно, так искренне она принимала все заповеди и заветы православия. Никогда не гневалась, никогда не лгала, привечала бедных, отвела для тяжело больных нищих флигель на задах священнического дома, приглашала к ним врача и сама, не боясь заразиться (а тогда ведь не было еще даже антибиотиков!), носила им еду. И когда заезжая молодая дама, выпускница Иркутского института благородных девиц, влюбилась в моего отца и, рыдая, просила маму от-





пустить мужа к ней, мама моя сказала: пусть идет, я прощу... Отношения отца со страстной девицей были чисто платоническими — черту он не переступил, сана не запятнал. И от семьи, конечно, не ушел.

Но была у моей мамы одна тайная страсть, о которой я догадывалась по тому, как удивительно талантливо вживалась она в образ, играя в домашних спектаклях, — она всей душой обожала театр. Надо сказать, вся наша семья была одарена артистическими и художественными способностями. Брат отца окончил петербургскую Академию художеств, был пейзажистом, родной мой брат Женя имел такой голос, что ему пророчили чуть ли не славу Шаляпина. Но дядю репрессировали и расстреляли, а Женя погиб в девятнадцатом году — не успев начать учиться пению...

И вот, когда в двадцать первом году прошлого века дядя мой, посвятив себя полностью журналистике, уехал в Москву — туда же он перевез и мою маму, свою любимую сестру. В Москве уже поселилась вместе с дядей и с его бездетной женой моя младшая сестра — Валюша. Даже бывший доходный дом, в котором тогда они жили, сохранился: Сретенский бульвар, шесть дробь один.

Валюше было всего семнадцать. Из очаровательного ребенка с фиалковыми глазами получилась девушка маленького росточка — пошла она не в материнскую породу великанов, а в кукольную нашу бабушку, Марианну Егоровну. Но по характеру сестра была очень решительная — всю жизнь потом руководила на стройке матерыми мужиками-рабочими. От искусства она была совершенно далека, но увлеклась краеведением: Москву любила и знала не хуже Гиляровского и очень гордилась званием москвички...

И вот мама моя, всегда одевавшаяся очень скромно — самой красивой, выходной одеждой была у нее клетчатая юбка с белой блузкой, — чуть оглядевшись в Москве, попросила свозить ее в театр. Сама она дойти до театра не могла: в тридцать лет перенесла сепсис, месяц была с температурой сорок, выжила, но инфекция ушла в ногу, из-за чего нога согнулась в колене и больше не разгибалась — по дому мама передвигалась с помощью стула или табуреток.

В театр маму довезла на машине моя сестра. И все рассказываю с ее слов.

Сверкали огни хрустальных люстр. Роскошно одетые дамы в мехах и бриллиантах и новые советские господа в кожаных куртках и серых костюмах-тройках весело поднимались по мраморным ступеням к зрительному залу. Мама с трудом, все время останавливаясь, держась за перила и опираясь на руку дочери, мучительно карабкалась вслед за ними.

Прозвенел второй звонок.

Мама вдруг остановилась на середине лестницы и, заплакав, тихо попросила: «Отвези меня домой, Валюша...»

Больше никогда моя мама в театре не была.



Так и осталось в памяти: летний вечер, на скамейках сельские зрители, мама на самодельной сцене — молодая, зеленоглазая, высокая, с тонкой талией...

...и карабкающаяся по мраморным ступеням изможденная женщина с ногой, не разгибающейся в колене.

## Ракалия

Я уже рассказывала, что третий мой дядя, Борис, кадровый военный, революцию встретил в чине штабс-капитана. А до этого переболел он офицерскими болезнями — то есть кутил, влюблялся в барышень полусвета, — но более всего затянула его игра в карты.

Была весна, дед мой любил сидеть в саду и смотреть на реку: дом стоял на холме, с него открывался красивый вид, — кроме того, что владел дед тремя золотыми приисками, служил он управляющим небольшого завода, имел виноторговлю, был попечителем учебных заведений. Революция не только спутала все его планы — но и унесла жизнь: его, убежденного монархиста, убили, дом разграбили, большую его библиотеку уничтожили...

Но в этом моем рассказе еще дореволюционный 1913 год. И мой дед сидит на своей любимой скамейке и смотрит на реку. Только что прошел ледоход — вода сверкает на солнце холодным блеском. Острые облака быстро скользят по колким мелким волнам.

Внезапно окликает деда моя бабушка:

— Телеграмму принесли, идите, прочитайте.

Мужа она звала на «вы» и никогда самолично его обширную почту не открывала и не читала.

Телеграмма была как раз от моего дяди-офицера, который сообщал, что «проигрался в карты», и просил срочно выслать денег.

Дед, прочитав, осерчал, долго хмуро ходил по дому, лестница на второй этаж натужно скрипела под его тяжелыми шагами. Но денег выслал.

Месяца через два, поздно вечером, привезли вторую телеграмму того же содержания. На этот раз дед не спал почти всю ночь. И опять тяжело охали ступени лестницы, эхом отзывались вздохи бабушки, носившей наверх в кабинет деда то чашки с чаем, то рюмку водки. Но снова дед своему сыну помог.

Ближе к осени все повторилось: дед отдыхал в саду, глядя на реку и на пестреющие берега, чуть тронутые желтизной, над водой резко и тоскливо кричали гуси.

— Принесите телеграмму сюда, — сказал он бабушке. И, когда она вернулась, хмуро развернул лист и, прочитав, поднялся со скамейки.

— Посыльный не ушел?

— Еще нет. Обедает.



— Идите и скажите ему, чтобы срочно ехал на телеграф. Ваш сын написал мне: «Отец, вышлите денег, а то застрелюсь», так пусть отобьют ему мой ответ: «Стреляйся, р-р-ракалия\*!»

И наше семейное раскатистое грозное «р» понеслось над берегом вслед за тоскливым криком гусей. Дед долго еще сидел над рекой, бесконечно повторяя: «Стреляйся, ракалия... стреляйся, ракалия... стреляйся, ракалия...»

Дядя мой тогда не застрелился. Но игру в карты оставил навсегда. Расстреляли его через несколько лет пришедшие к власти большевики.

Так и осталось в памяти: еще голый сад, холодная сверкающая река и грузный старик, сидящий в саду на скамейке, вперив свой взгляд в бурлящие волны, повторяющий одни и те же роковые слова.

### Речь Цицерона

За своих одноклассниц я обычно писала сочинения, а они мне в ответ делали уроки по рукоделию: вышивали да плели кружева. Все эти дамские занятия на меня нагоняли скуку. Вот читать русских классиков или книги по истории я любила. И однажды, восхитившись талантом Цицерона, даже выучила наизусть одну его речь, которую и продекларировала на уроке истории, восхитив преподавателя. Он пришел к нам недавно — и я тут же стала его любимой ученицей. И — перестала учить уроки.

Полистав скучный учебник, просто отбросила его за свою кровать и о нем забыла. Тем более что на уроках историк смотрел на меня всегда с восхищением и домашних заданий не спрашивал, видимо, решив: если такую длинную речь Цицерона ученица знает наизусть, то уж краткие сведения из учебника и подавно. В классном журнале против моей фамилии стоял длинный ряд записей «весьма удовлетворительно», что в переводе на сегодняшнюю шкалу оценок означало «отлично», «отлично», «отлично»....

Настало лето, приближались экзамены. Девочки-одноклассницы сдали за меня все задания по рукоделию, я за них — все сочинения. Пришла пора экзамена по истории. Светило солнышко, стояла чудная погода, и я, убегая на берег реки, ложилась на зеленую траву и мечтала о театре, о роли Клеопатры или Джульетты. Мне хотелось стать актрисой. Когда родители ставили сами пьесы и распределяли роли, все романтические героини доставались моей старшей сестре — нежной блондинке, а мне — крупноголовой и носатой — только роли свах да старух...

По Енисею плыл пароход. Он гудел так призывно, что хотелось тут же вскочить, перепрыгнуть через сизые волны, взбежать на палубу и, оказавшись среди пассажиров, уплыть с ними далеко-далеко. И конечно,

\* *Ракалия* — мерзавец, негодяй (устар.). — Прим. ред.



я представляла, что у капитана красивые черные усы, синие глаза, ослепительная улыбка — и он влюбится в меня...

Однажды, года через два после тех событий, о которых рассказываю, мы и в самом деле плыли на пароходе по Енисею с подругой, пятнадцатилетней пышнотелой девушкой Еленой Лизогуб. В Сибирь были сосланы очень многие представители славных русских, польских и украинских фамилий — предок Лизогуб, украинский казачий полковник, был среди них.

И вот, когда мы стояли и смотрели с палубы на суровые енисейские волны, подошла к нам старая цыганка.

— Погадаю вам, барышни, — сказала она, — ты, — она глянула быстрым цепким взглядом на меня, — считаешь себя несчастной, а ведь проживешь долго-долго... А вот тебя, золотая моя, — обратилась она к Лизогуб, — ждут большие перемены: покинешь ты свой дом, потеряешь всю родню, но жить будешь богато.

Что ж, права была цыганка: мне уже девятый десяток, а Лизогуб за несколько месяцев до революции вышла замуж за очень обеспеченного датчанина, уехала с ним — и «железный занавес» надолго перекрыл все ее связи с родственниками...

А учебник по истории я так тогда и не прочитала...

Дни шли, солнышко светило. На экзамен идти мучительно не хотелось. Год назад я увильнула от всех экзаменов, нарисовав на теле синяки химическим карандашом. Старичок-доктор был почти слеп и глуховат, испугавшись, он отправил меня на неделю в лазарет, и мне выставили «весьма удовлетворительно» по всем предметам без всяких проверок. Но в этом году старичка сменил молодой врач — и с синяками номер бы не прошел.

В ночь перед экзаменом я стала испытывать неприятную тревогу: жалко мне было разочаровать сильно верящего в меня преподавателя. Поразмыслив, я дотянулась рукой до обросшей пылью книги — и вытащила ее из-под кровати. Пыль, точно застывшая черная пена, свисала с обложки. Я вздохнула и закинула учебник обратно.

На экзамене присутствовал не только учитель истории, но и комиссия, состоявшая из нашей директрисы и двух важных чиновников. Едва я вышла к столу и вытянула из разбросанного ряда свой билет, как историк гордо сказал: «Это моя лучшая ученица!»

Увы, лучшая ученица не знала ничего! И, когда ее вызвали отвечать, залилась горькими слезами.

— Что? Что с вами?! — разволновалась комиссия, и даже в казенных лицах чиновников появилось что-то человеческое.

— Не... не учила... — всхлипывая, призналась я. — Солнышко светило...

— Господа! — выкрикнул историк, лицо которого стало таким несчастным, что слезы у меня полились еще сильнее. — Я настаиваю все равно на высшей оценке... Это моя лучшая ученица! Ее надо простить!



Поставили мне «весьма удовлетворительно». А на следующий год к нам пришел другой преподаватель истории — тот уволился.

Так и осталось в памяти: зеленый берег реки, несчастное лицо учителя — и хлопья черной пыли на учебнике истории.

## Две бестужевки

...А священником мой дядя Володя стал совершенно внезапно. Изменил первой жене с девушкой-горничной, та забеременела и на чердаке дома повесилась. Дядю Володю это так потрясло, что он сразу отказался от сексуальной жизни и стал жить с женой как с сестрой. А до этого, кстати, даже мне, племяннице, давал читать Августа Фореля «Половой вопрос»... Думаю, если бы не революция, дядя Володя принял бы монашеский постриг и стал архиереем — склонен он был к быстрой и очень успешной карьере: умный человек, прекрасный оратор и, ко всему прочему, — гипнотизер. Он унаследовал от своей матери, моей бабушки, Александры Львовны, экстрасенсорные способности: в округе слыла она ясновидящей. А дядя Володя, будучи благочинным и миссионером, излечивал больных, возвращал способность ходить и даже зрение, легко снимал (и себе в том числе) зубную боль. И по-прежнему продолжал писать для газет и заниматься издательской деятельностью — издавал православную газету и так называемые «листки»: он был сильнейшим противником пьянства и в этих листках и брошюрках объяснял весь вред винопития и последствия для организма хронического употребления алкоголя. Наружность дяди Володи была нестандартная: очень высокий рост, яркие зеленые глаза, черные волосы и слегка выраженная азиатскость.

Женат он был дважды, и оба раза на бестужевках, но детей у него ни в первом, ни во втором браке не было. Бестужевками называли выпускниц Санкт-Петербургских высших женских курсов — их первым ректором был Бестужев-Рюмин, потому и курсы стали «бестужевскими». Это было тогда главное учебное заведение в России, дававшее университетское образование именно девушкам.

Трагический повод, который привел дядю Володю в духовенство — гибель девушки-горничной, — повторял историю его отца: ведь тихий мальчик кухарки, говорила мне бабушка, был незаконным сыном нашего деда...

Священническая карьера дяди Володи кончилась так же внезапно, как началась: он приветствовал революцию, увидев в ней обновление и очищение от рутины, косности и застоя. И стал публиковать в православных газетах статьи, за которые его лишили сана и, скорее всего, отправили бы потом, как революционера, на рудники, но ему повезло: пока он ждал приговора, власть в который раз поменялась, он был освобожден и тут же уехал в Омск, где стал главным редактором газеты. Вскоре его вызвали в Москву, он какое-то время работал в какой-то московской газете, а за-



тем был назначен главным в отдел классики Главлита. Но тут начались московские «чистки»...

После революции дядя Володя сразу разошелся со своей первой женой, сказав ей: «Извини, после долгих лет воздержания стал относиться к тебе как к сестре...» Как сейчас помню, тетя Лиза плачет и говорит мне: «Ведь всю жизнь ему отдала... всю жизнь... а к старости осталась одна...» — и ее пенсне падает на пол.

А дядя вернулся к Форелю и женился на второй бестужевке, судьба которой сложилась трагично: именно она попала под первые московские репрессии конца двадцатых годов — и, когда ее попросили положить на стол партбилет, покончила с собой: тоже повесилась, оставив записку, что девушка (сестра моя), проживающая с ней в одной квартире, никакого отношения к ней не имеет, — это чтобы Валюшу не арестовали. Похоронили бывшую бестужевку на Новодевичьем кладбище, чем очень гордилась сестра моя Валюша.

Кстати, это я уговорила дядю Володю взять Валюшу к себе в Москву. Как сейчас помню: она маленькая, фиалковоглазая, говорит мне шепотом: «Если три раза обернуться вокруг себя, когда месяц только народился, и загадать желания — они исполнятся!»

— Что же ты загадала?

— Хочу жить в Москве и выйти замуж за офицера... Или за инженера!

Первым мужем Валюши был офицер, а вторым — инженер.

Когда, после десяти лет счастливого брака, инженера попыталась увести соперница, Валюша продала все, что могла, и отнесла ей деньги. «Вот тебе восемь тысяч, — сказала она любовнице мужа, сумму я называю приблизительно, точно не помню, — и прогони его обратно ко мне». Та и прогнала. Он вернулся. И, надо сказать, жили они очень хорошо. Золотую свадьбу справили — и портрет Валюши вместе с красивым седым мужем появился на обложке журнала...

Так и осталось в памяти: вертящаяся в полумраке фиалковоглазая девочка, загадывающая желания, и маленькая сторбленная женщина, почти старушка, в белой шали, и ее падающее на пол пенсне...

## Ферочка

Своих братьев мама моя потеряла: Бориса, штабс-капитана, застрелили, Валериан пропал без вести на Гражданской, была надежда, что ему удалось перебраться в Китай, но никаких сведений о нем мы не имели. А старшего мамино брата — Владимира, бывшего протоиерея, а потом редактора и журналиста, хватил удар, когда пришли его арестовывать. Судьба послала ему быструю смерть, возможно, так избавив от жестоких допросов и Бутовского полигона.

Только внуки утешали маму. Особенно — моя дочка.

Из мужчин у нас оставался мой муж, но в начале тридцатых годов и он внезапно умер. Был Петр Викентьевич много старше меня и, между прочим, принадлежал к древнему титулованному роду Галиции, хотя и родился в Иркутске из-за отца, который девятнадцатилетним участвовал в Польском восстании 1863 года, вступив в его киевское крыло: будущего повстанца маленьким ребенком привезли родители на Вольту, и, когда австрийским подданным — участникам восстания было разрешено вернуться на Родину, его это не коснулось: женившись в Иркутске на дочери чиновника Чернышева, он там и остался. Дворянство ему вернули. Родился сын. И, поскольку его жена, мать новорожденного, была русская, окрестили младенца уже в православном храме. Хотя дед моей дочки, бывший ссыльный, австриец по отцу, по матери поляк, так до конца жизни и оставался католиком.

Как муж мой умер, мне до сих пор неизвестно. История странная. Он подыскивал нам жилье — мы решили перебраться в другой город, где ему, пианисту, предложили место в оркестре, — и вдруг перестал мне писать. Оставив маленькую дочку с моей мамой, я поехала на поиски. Хозяйка дома, где муж остановился, пугливо сообщила, что к ее временному жильцу вечером пришли какие-то люди, забрали все его вещи, а ночью он случайно отравился сулемой. Это были уже тридцатые годы, и, ощутив и над собой, и над дочкой опасность, я на всякий случай позже дала ей отчество отчима, моего второго мужа ...

Осталась я с полуторогодовалой девочкой на руках одна. Было трудно. Мама моя настояла, чтобы в то лето я уехала в деревню, сняла комнату, поила ребенка хорошим парным молоком и кормила яйцами. Она поехала с нами. Инвалид — нога ее давно не разгибалась в колене, — могла она посидеть с ребенком, пока я работаю или хожу за продуктами.

Село, в котором мы сняли у хозяйки две комнаты, было татарским, жили в нем татары-мишари, мусульмане, но были среди них и православные. Легенда сохранилась в селе о старом слепом священнике, который никого не окрестил насильственно, а просто ходил с поводырем из дома в дом и рассказывал о Христе....

Соседский шестилетний мальчик Фарид с очаровательным круглым личиком и яркими черными глазами стал прибегать к нам и с удовольствием возиться с моей девочкой. Звал он ее — Ферочка. Сначала он бывал у нас раз в два дня, потом каждый день и, наконец, стал сбегать к нам, едва проснувшись, и оставался до самого вечера: моя мама кормила его обедом и ужином, а он самозабвенно играл с маленькой подружкой.

Как-то мать Фариды, у которой имелось еще несколько таких же черноглазых мальчишек, но не было ни одной дочери, встретив меня на улице, спросила — не мешает ли он. Нет, наоборот, улыбнулась я, чудесно играет, развлекает малышку, что-то ей рассказывает по-татарски, наверное сказки, и даже поет ей песенки.



Самые крайние дома села сбегали к реке — и хотя татары не были никогда рыбаками, некоторые из сельчан ловили рыбу и продавали тем, кто приехал в село только на лето. Однажды отец Фарида принес нашей хозяйке рыбу, не взяв с нее денег, и попросил передать нам с мамой.

...Но лето кончилось. И мы стали постепенно готовиться к отъезду домой. Чтобы не стало это для Фарида неожиданностью — ведь он очень привык к нам, — я иногда говорила ему, что мы скоро уедем и вернемся только в следующем мае. Я не была уверена, что мы вернемся, время было сложное, к тому же мне предложили с осени новую работу заведующей литчастью небольшого театра — как можно было загадывать на год вперед? Но хотелось мальчику дать надежду: он привязался к моей дочке, как к родной сестре.

Час отъезда настал. Муж хозяйки со своим другом погрузили на подводу наши вещи и помогли сесть моей маме, хозяйке, в длинном темном платье, в черном платке, сама правила спотыкающейся через каждый шаг лошадь, а я шла на пристань пешком, с дочкой на руках, и рядом, подпрыгивая, поспешал Фарид.

И вот вещи погрузили на пароход, маму завели на палубу первой, я поцеловала Фарида, наклонила лицо дочки к нему — чтобы она прикоснулась к его смуглой щеке своим крохотным носиком — и зашла следом. Мостик убрали. Просигналил гудок — пароход, отчалив от берега, медленно стал набирать ход.

Я стояла на палубе с дочкой на руках, смотрела на отдаляющийся берег и не могла сдержать слез: по кромке воды вслед за пароходом бежал шестилетний мальчик, отчаянно и горько крича: «Ферочка! Куда поехал? Ферочка! Куда поехал?! Ферочка?!»

В крик его уже врывались рыдания, их заглушали волны и ветер, а потом его фигурка стала далекой точкой на покинутом берегу.

— Куда поехал, Ферочка?!

В том селе мы больше никогда не бывали.

Так и осталось в памяти: спотыкающаяся лошадь, которой правит женщина в темном платье, и черноглазый мальчик, бегущий вслед за пароходом, исчезающим в холодной воде времени...

## Атеист

Второй мой муж, Михаил Маркович, химик по профессии, считал себя атеистом и ленинцем. Прожили мы с ним всего три года, и все три года я тряслась от страха: он ненавидел Сталина и постоянно об этом говорил. Я боялась, что моя маленькая дочь случайно, играя во дворе, повторит его слова — и нам всем придет конец: мне снился из ночи в ночь «черный воронок»...

— Скрыли от народа письмо Ленина, вот и пришел к власти этот усач! — бормотал муж за ужином. — Я бы лично его застрелил!





Но Михаил был не простой ленинец, пропитанный революционным пафосом, он был человеком со своей собственной философской теорией. Узнала я о его теории случайно: приехала погостить ко мне моя младшая сестра, Таисия, Тася, милая стройная девушка с льняными волосами, — и как-то вечером, когда она, улыбаясь, рассказывала об очередном своем кавалере, уговаривающем ее выйти за него замуж и читающем ей на свиданиях стихи Маяковского, Михаил Маркович усмехнулся и сказал:

— Вот выйдешь скоро замуж и узнаешь, что жизнь человеческая начинается с плевочка, и, как ни называй эту горстку слизи жемчужиной, суть не меняется. И сама жизнь — тот же плевок, чем бы человек ни был занят — с девицей гулял, ел и пил в ресторане, считал деньги, — он всегда, даже как бы не думая об этом, помнит каждой клеткой своего организма, что смертен, что еще год, два или даже сорок лет, и он будет втопан в земную грязь и станет всего лишь добычей червей. Разве такая обреченность не унижительный плевок в лицо человеку?

— Ты же атеист, — возразила я, — а твоя теория предполагает наличие того, кто человека унизил.

— Ну, можно посмотреть иначе, — сердито сказал он, — просто мы оказались вписаны в законы природы как маленькая ее часть, осознающая свою конечность. И в этом осознании таится змея — яд ее начинает действовать с того момента, как человек узнает о своей смертности.

— И что же делать? — тревожно спросила моя сестра.

— А что бы ты сделала, если бы какой-то случайный прохожий на улице внезапно плюнул тебе в лицо? Наверное, утерлась бы платком, а дома тщательно вымыла щеку и, подумав, что этот человек или дурак, или негодяй, постаралась об инциденте забыть.

— Я бы долго плакала, — сказала Тася, — мне бы хотелось умереть от унижения.

— Так мы все и живем, ежедневно утирая плевком!

— А я бы, умывшись, посмеялась над происшедшим!

Мои слова, как ни странно, произвели на Михаила Марковича впечатление:

— Посмеялась бы? Удивительно. Такая химическая реакция мне в голову не приходила!..

Михаила Марковича увела у меня бухгалтерша. Прожил он с ней почти тридцать лет и за два года до своей смерти ее похоронил.

А Таисия через полгода после того разговора вышла замуж за читавшего ей стихи Маяковского молодого ученого-геолога, профессорского сына, потомственного интеллигента, человека очень образованного, внешне похожего на поэта Блока, причем тоже Александра Александровича. И все было бы у них с Тасей неплохо, но в геологической среде начались сталинские аресты, расстреляли его близкого, самого любимого друга, и Александр, охваченный отчаянием и страхом, почему-то решил, что донес на его друга их бывший университетский однокурсник, и, опасаясь за себя

и за уже беременную жену, сам написал на него анонимное заявление и отправил письмом в НКВД.

Однокурсника арестовали. Он погиб.

Муж Тасии умер молодым — от туберкулеза.

Сама Таисия тоже ушла рано. И всю жизнь она мучилась чувством вины за мужа, говорила мне, что ее дочь прорвалась в жизнь по чужому билету, вытеснив в смерть невинного человека, и кара судьбы за это — в ее ребенке: внук Таисии родился слепоглухонемым. А может быть, Александр с того света, мучимый раскаянием, так наказал себя через внука, иногда прибавляла она.

А я часто думала, хотя никогда не говорила сестре об этом, что тяжелая патология ее внука — не кара судьбы, не наказание с того света, — это ее собственная энергия совести исказила организм ребенка еще до его рождения. Мы все носим приговор за свои поступки в самих себе. И наказание ударит по самому дорогому, что у нас есть. Чаще — это собственное здоровье и собственная жизнь. К сожалению, человек часто и не догадывается, отчего заболел. Но порой — если мы воспринимаем детей или внуков как собственное продолжение, то есть распространяем на них ауру своего «я», — наказание бьет по ним.

Стоял ноябрь, после дождя разразился мороз — и ветки за окном за одну ночь стали хрустальными. Слышно было через открытую форточку, как позванивают они на ветру.

И я не сразу поняла, что звякнул очень тихий дверной звонок.

На пороге стоял седой старик. Вглядываясь в сморщенное лицо с вишачим носом, долгими мешками под глазами и запавшим ртом, я не сразу узнала Михаила Марковича.

— Жить мне осталось немного, пришел проститься, — сказал он.

Я вскипятила чай, поставила на стол печенье, конфеты, сделала бутерброды с паштетом.

Мы молча пили чай.

Форточку я закрыла — из нее тянуло холодом.

— Вот и жизнь прошла, — Михаил Маркович попытался усмехнуться, но одна сторона лица у него окаменела, видимо, он недавно перенес инсульт, — и усмешки не получилось. — И как ни называй плевочек жемчужиной...

— Помню, Миша, — сказала я, — видишь ты жизнь как плевков, но ведь другой видит ее как сад... На самом деле только образ и творит каждую человеческую жизнь.

— У меня всю жизнь один образ — ты, — тихо сказал он, и по его старым дряблым щекам поползли слезы.

Так и осталось в памяти: радостная девушка с льняными волосами, «черный воронок» у соседнего дома и желтые слезы, ползущие по лицу одинокого старика.

**Александр ФОМИЧЕВ, Роман ЯКОВЛЕВ**

## **ПУТЕШЕСТВИЕ СИБИРСКИХ ЗООЛОГОВ В ИРАК**

### **17. Тюремный распорядок**

**Александр.** В тюрьму мы попали вечером 2 мая. Как оказалось, ужин, который по расписанию в 19:00, мы уже пропустили. В 20:00 дверь камеры была открыта тюремным надзирателем в гражданской одежде, и все стали выходить в коридор. Однако сначала необходимо было скатать покрывала, на которых все сидели, чтобы заключенные-дежурные могли вымести с пола каракуль, сыпавшийся с людей, и провести влажную уборку. В коридоре оказалась гора мокрых резиновых тапочек. Каждый, надев тапочки, шел дальше по коридору — в сторону, противоположенную той, где находится т-образный перекресток. Оказалось, что к нашей камере примыкает соседняя, являющаяся зеркальным повторением первой, в которой так же много людей. Камера была закрыта, а все люди были внутри нее. Пройдя по коридору, который дважды свернул влево, мы с потоком заключенных из нашей камеры попали в странное помещение. Это был куб воздуха среди серого бетона, длина и ширина — около десяти метров, а потолок не удавалось разглядеть из-за того, что в комнате было темно — освещения не было. В серых стенах были зарешеченные окна, но решетки почему-то были с нашей стороны. Повсюду на бельевых веревках были развешены различные тряпки. Темные люди хаотично двигались в окружавшем их полумраке. И вдруг на нас сверху закапала вода, и мы поняли, что, оказывается, мы находимся на улице! Приглядевшись к темно-сиреневому потолку, мы обнаружили, что это вовсе не потолок, а небо, но зарешеченное. Решетка была на высоте около шести метров над нашими головами.

У сокамерников мы выяснили, что это прогулка, длится она в течение часа, и в день таких прогулок — три. Мы пригляделись (насколько позволяла темнота) к поведению заключенных. Люди просто ходили туда-сюда и вели друг с другом беседы. Вырвавшись на свежий воздух, наши сокамерники все равно не забывали курить почаще. Мы не оставались в стороне от дискуссий, разговаривая с самыми разными людьми. Основной темой для бесед в этот вечер служили наши персоны. Ни у кого не укладывалось в голове, что мы приехали в Ирак не воевать, не шпионить, не торговать оружием или наркотиками, а ловить бабочек и пауков. Спрашивали также о нашем вероисповедании. Мы оба атеисты, но в



ответ на вопрос о религии отвечали, что мы христиане. В мусульманских странах нет атеистов. Ахмед из Мосула уверял, что нам беспокоиться не о чем и что не пройдет и двух недель, как нас отпустят, конечно, при условии, что мы невиновны.

В 21:00 прогулка была окончена, и мы проследовали в свою камеру. По телевизору показывали футбол. Заключенные оказались яростными болельщиками, чего нам было не понять по причине ненависти к футболу. Постепенно наша тревога улеглась — мы поняли, что, по крайней мере, нас не собираются убивать. Хотя ночь была еще впереди. Оставшийся вечер прошел за курением и вялыми разговорами. В полночь был объявлен отбой.

Ночь оказалась самым тягостным временем суток. Как уже было сказано, на одного человека приходилось чуть больше квадратного метра площади. Покрывала, на которых сидели днем, были раскатаны на всю длину, а из других были чрезвычайно хитрым образом скручены подобия подушек. За укладку людей на ночь отвечал один из опытных заключенных. Каждый человек ложился строго на бок, а его соседи, также лежа на боку, ложились ногами к его голове, то есть валетом. Лицами в таком положении все сориентированы в одну сторону. Такая раскладка позволяет разместить 80—90 человек в камере семнадцать на шесть метров, но она чрезвычайно унизительна: приходится спать, уткнувшись лицом в задницу соседа спереди, в то время как сосед сзади дышит туда же уже тебе. Так как таких рядов в камере получается три, то на твоей макушке лежат ноги человека из следующего ряда, а твои ноги — на голове человека из предыдущего. Перевернуться на другой бок или тем более на спину не было никакой возможности, приходилось проводить по восемь часов в таком положении. Так как спящего от бетонного пола отделяет только тонкое синтетическое покрывало, то уже буквально через несколько минут такого лежания начинает ломить бок. Все тело быстро затекает и потеет от жары, очень хочется пошевелиться, но это невозможно — настолько плотно люди прижаты друг к другу. Несмотря на то что кругом люди, хоть и «бармален», остро чувствуется одиночество и заброшенность. Вдобавок ко всему — курить ночью нельзя. Свет в самой камере на ночь выключают, но в коридоре он горит с такой силой, что все равно так светло, что можно читать (только нечего).

В первую ночь нам выпало спать совсем недалеко от Кощей Изгой. Более опасного соседа невозможно представить: терять ему уже явно нечего, а убить, задушив спящего человека с помощью наручников (Кощей Изгой был все время закован в наручники), очень просто — тут даже пикнуть не успеешь. Мы договорились спать «шибко не засыпая» и следить за сохранностью жизней друг друга. Но примерно через час оба провалились в тяжелый сон, не приносящий ничего, кроме усталости. Сны в тюрьме снятся очень яркие, о свободе. Но от этого на душе становится еще тягостнее, когда просыпаешься. А просыпались мы десятки раз за ночь. Кощей Изгой не рыпался.

Один из основных страхов людей, попавших в тюрьму, — возможность изнасилования. Ни для кого не секрет, что в тюрьмах процветает гомосексуализм, в том числе и на недобровольной основе, нередки групповые изнасилования. Но в нашей иракской тюрьме никаких подобных проявлений не было — слава Аллаху всемогущему! Гомосексуальные отношения в исламе трактуются как «харам» — нечто абсолютно запретное. А на территориях, подконтрольных Ис-

ламскому государству\*, геев вообще казнят: их сбрасывают с высоких зданий, а потом добивают камнями. Как правило, местное мусульманское население одобряет эти казни.

В 7:00 звучит крик Смотрящего по камере или Аусера Полицейского: «Эрастен кака!» — «Просыпайтесь, братья!» Но к этому часу все уже давно не спят, а просто лежат и тихонько мучаются, поглядывая на часы. Начало дня в тюрьме — тоже очень тягостно. Вновь приходит осознание ситуации, в которую вляпался.

В 8:00 — завтрак. Еду на телеге довозят до внешней решетки в т-образном коридоре. Там телегу забирают дежурные по кормежке заключенные, которые и доставляют еду в камеру. В качестве стола используется клеенка, которую расстилают на полу в два ряда. Каждому «брату» выделяется лепешка и тарелка с едой. Вообще, пищу в тюрьме давали неожиданно хорошую: рис, рагу, курица, баранина, лук. Однажды принесли даже мандарины и «Спрайт». Плохо тому, кто сидит в начале «стола», — приходится передавать дальше десятки тарелок (а затем забирать обратно — с объедками). К счастью, мы сидели не в начале.

Хоть еда и хорошая, но аппетита особо нет — сказывается тяжелый эмоциональный стресс. Кроме того, из-за тесноты и скученности приходится есть сидя на корточках. В такие моменты люди ощущают себя рабами. Какое-то средневековье. После еды все немедленно, с остервенением придаются курению. Надо сказать, что в обычной жизни мы почти не курим — только лишь в экспедициях и иногда под настроение, но в иракской тюрьме выкуривали каждый как минимум по десятку сигарет в день. Когда свои сигареты (предусмотрительно подаренные доктором Али) мы выкурили, то стали стрелять у сокамерников, которые никогда не отказывали уважаемым российским шпионам, а затем начали и покупать их через надзирателей. В Ираке в продаже имеется множество различных марок сигарет и сигар.

В 9:00 начинается утренняя прогулка, и все снова идут в «кубик бетона» с зарешеченным небом. Сквозь решетку видно только облака. Иногда во внутренний дворик залетают мини-голуби — горлицы. Находясь в этом крайне стесненном пространстве для прогулок и глядя сквозь решетку на небо и пролетающих через нее горлиц, можно мысленно взлететь над территорией тюрьмы, набрать высоту над Эрбилем и, повернувшись спиной к Мосулу, полететь на северо-запад. Затем, миновав Иранское нагорье, Каспийское море и Казахстан, можно очутиться дома в Западной Сибири. Ну и еще можно разговаривать с соседями, отжиматься от пола и курить. В 10:00 утренняя прогулка завершена.

До 12:00 — свободное время. В камере, естественно.

Заключенные общаются друг с другом, смотрят футбол по телевизору, изготавливают поделки на продажу (картонные коробочки в форме сердечек), перебирают четки и, конечно, читают Коран. В камере имелось много экземпляров Корана различных форматов: от книг монументального склада до карманных вариантов. Так как Коран — это священная книга, то она требует благоговейного к себе отношения. Нельзя брать Коран грязными руками и класть на пол. В нашей камере все экземпляры Корана лежали на подоконниках. К несчастью,

\* *Исламское государство* (ИГ), ранее — Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) — экстремистская террористическая организация, запрещенная в России.



не было ни одного экземпляра на английском или русском — иначе бы мы обязательно начали его читать. Пять раз в день наши соседи по камере совершали молитву — намаз. Но, как ни странно, были и такие грешники, которые не совершали намаз, например Кощей Изгой. Скорее всего, он уже ни во что не верил.

В 12:00 наступает время обеда.

К сожалению, в условиях гиподинамии еда вызывает отвращение, тем более что есть ее приходится сидя на корточках. Жителям Востока, в силу некоторых особенностей их анатомии, легко и удобно сидеть на корточках, чего не скажешь о нас, европейцах. Особенно плохо в этом отношении было мне: из-за старой травмы крестообразной связки правого колена мне тяжело сгибать правую ногу.

С 14:00 до 15:00 — время дневной прогулки. А после ее завершения наступает совершенно абсурдный и издевательский тихий час. Заключенные, разгоряченные прогулкой, вынуждены ложиться на пол и целый час изображать сон. По пятницам (выходной в Ираке) тихий час отменяется. После 16:00, когда ненавистный, практически как в детском саду, тихий час заканчивается, вновь наступает свободное время. На этот раз досуг заполняется просмотром турецких сериалов. Нам особенно понравился сериал про какую-то скандальную турецкую бабу с вечно зверски разбитой мордой. Помимо этого, можно играть в домино с соседями по камере. В Ираке в домино играют против часовой стрелки.

В 19:00 — время ужина.

Мы оба носим очки из-за близорукости. Это обстоятельство затрудняло адаптацию к тюремному быту. Приходилось постоянно заботиться о сохранности очков. На ночь мы, по подсказке сокамерников, просто убирали их на подоконник. Причем старались делать это как можно более скрытно, не привлекая лишнего внимания. Мои очки — «хамелеоны», в камере они были абсолютно прозрачны, а на улице, то есть во внутреннем дворе тюрьмы, — сильно затемнялись под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца. Это «волшебство» взбудоражило игольцев, которые наперебой просили дать им их померять. Особенно упорствовал Злой Иголец. Но я никому не давал в руки очки, так как их могли легко поломать: дашь померять одному — начнут просить все. Только один из заключенных посмотрел через мои очки — Усатый Пешмергист. У бойца порвались четки, а починить он их не мог по причине своей дальновзоркости. Тогда он и попросил мои очки. Объяснять, что близорукость и дальновзоркость — разные вещи, было бесполезно. В очках Усатый Пешмергист предсказуемо стал видеть еще хуже.

**Роман.** Почти все курили. Курево, как скоро выяснилось, можно было купить через охрану — вот все и курили, чад стоял чудовищный. Думаю, что астматики умирали здесь за несколько часов.

После часа привыкания к обстановке дверь открыли, и мы пошли на прогулку. Внутренний двор тюрьмы, около ста квадратных метров, окружали глухие стены около шести метров высотой. Небо было перекрыто решеткой. Во дворе были складированы какие-то сумки (как выяснилось — вещи заключенных и тазы, в которых можно было стирать). Когда мы шли по коридору, нам показали довольно большую душевую с индивидуальными кабинками.

После часовой прогулки, которую мы посвятили дальнейшему общению с заключенными, мы опять пошли в камеру, где расселись и еще пару часов смо-

трели сериалы и футбол. Все это было нереально, поверить в происходящее было странно и страшно.

К 24:00 начиналась укладка на ночь.

В камере были свои непревзойденные мастера этой процедуры. Люди укладывались валетом, плотно-плотно друг к другу, так что в результате, если посмотреть сверху, в камере не оставалось ни одного сантиметра свободной площади. Люди, люди, головы, ноги, прижатые к бокам руки, никто не может повернуться, скученность страшная. Лежа на боку на тонком одеяле ты чувствуешь всем телом твердый бетонный пол, ноги соседа у тебя на голове, ощущаешь дыхание своих сокамерников. По лбу текут струйки пота. Чуть сгибаешь в колене ногу, поднимаешь колено вверх — колену лучше, прохладнее. Люди стонут, пытаются повернуться, вздрагивают, кто-то из молодых засыпает, кто-то тихонько разговаривает. Шумит вентиляция. Забытье пришло не сразу, сном это не назвать, так, проваливаешься минут на пятнадцать, потом опять очнулся, и так ты спишь.

Потом пробуждение.

Люди тихо встают, занимают очередь в туалет, к умывальнику.

Один из наших соседей был одноногим. Отсутствующую конечность ему успешно заменял пластиковый протез, на котором он довольно бодро передвигался. Поскольку скученность в камере была ужасающей, спать рядом с протезом ему не удавалось, и ногу ставили отдельно — к умывальнику. Рано утром, когда безногий просыпался, кто-то из находившихся рядом с туалетом кидал ему его ногу через всю камеру. Я был уверен, что данная сцена вполне могла бы вдохновить Тарантино на ближневосточный ремейк «Омерзительной восьмерки».

## 18. Обыск

**Александр.** На вторые сутки пребывания в тюрьме надзиратель забрал нас из камеры и повел в один из кабинетов. В кабинете нас ожидали неприятности. На столе лежали полиэтиленовые пакеты, содержащие некоторые интересные вещи из нашего багажа, о которых мы не рассказали на допросах в полицейском участке в Дахуке. Из вещей Романа там оказались специальные ультрафиолетовые лампы для привлечения ночных бабочек, бутылки с этилацетатом (яд, применяемый в энтомологических морилках, обладает резким запахом) и фотокамера (моя камера была конфискована еще в Дахуке). В моем багаже оказались вещи гораздо более интересные: GPS-навигатор с целой кучей забитых в него непонятных для непосвященного координат (это в придачу к целой папке прекрасных карт Северного Ирака, которую забрали еще в Дахуке), два перцовых баллончика, дополнительные SD-карты и, наконец, фотоловушка.

Фотоловушка — это фотоаппарат, который может осуществлять съемку без участия человека, имея автоматический запуск от чувствительных датчиков. Фотоловушки используются в основном для съемок животных в дикой природе. Это хитроумное приспособление реагирует на тепло, выделяемое животным, и на движение. Оно может долгое время работать автономно и фотографировать как днем, так и ночью, даже в самой крошечной темноте (так как фотоловушка способна фиксировать даже невидимое для человека инфракрасное излучение).

После того как нам были продемонстрированы все эти вещи, мы подписали их опись, составленную на арабском. Для подписания этого документа потребо-



валось лишь оставить на нем отпечаток своего пальца, окрашенного специальными чернилами. Нам объяснили, что мы якобы скрыли эти вещи от полиции, и теперь предстоит их изучение.

В подавленном настроении мы были водворены обратно в камеру.

Как раз к обеду, который не лез теперь в горло.

## 19. Раздумья

**Александр.** Наш первый стресс от попадания в тюрьму постепенно улегся, но вместе с этим пришло осознание сложности и непредсказуемости ситуации, в которую мы попали. Мы стали много думать о нашем положении. Сидеть и думать. Самым плохим было то, что мы находились в полной изоляции. Наши мобильные телефоны были, естественно, конфискованы. Когда нам представляли на обозрение дополнительные изъятые у нас вещи, мы, конечно, спросили, можем ли мы позвонить консулу России в Иракском Курдистане. Нам было отказано. Потом заключенные пояснили нам, что по здешним правилам любые телефонные звонки запрещены в течение первых двух недель заключения. Но на деле по тем или иным соображениям многим заключенным не разрешают пользоваться телефоном вообще никогда — даже спустя месяцы и годы заключения. Как мы поняли, такая жестокая мера применяется, по-видимому, в основном к иностранцам. Например, Ахмед из Сирии к моменту нашего появления находился в тюрьме уже месяц. Несмотря на это, ему не разрешали позвонить, а значит, его родные, скорее всего, не знали, где он. Ахмед очень переживал по этому поводу и попросил меня взять у него выцарапанный на кусочке картона номер телефона его брата в Сирии — чтобы я, оказавшись на воле (а Ахмед был уверен, что меня выпустят, и выпустят раньше), позвонил в Сирию и рассказал о нем брату. Я отказался взять номер на «материальном носителе», так как это могло сослужить мне плохую службу при очередном обыске, но выучил его наизусть.

Роман в ходе нашей поездки по Ираку ежедневно созванивался с женой и ожидал, что она уже должна обеспокоиться внезапным прекращением связи. Для нас эта обеспокоенность могла оказаться выгодной, так как нас хватились бы и начали искать, рано или поздно дело бы дошло до официальных структур. А я лишь пару раз созванивался с родителями, да и то только на пару минут. Меня бы точно никто не хватился, а поэтому никаких надежд в этом плане с моей стороны не было. Основные надежды мы возлагали на консула РФ в Иракском Курдистане — Евгения Вадимовича Аржанцева, с которым Роман созванивался незадолго до нашего ареста. Мы ждали, что он как-то объявится, например, нас вызовут на допрос, а там мы с ним и увидимся. Или, например, нам разрешат связаться с ним по телефону. Но ничего этого не было, и потому мы решили, что нас бросили на произвол судьбы.

Относительно причины нашего ареста нам никто так ничего и не сказал. Мы предполагали, что нас подозревают в шпионаже. Вряд ли кто-то в дохукском отделении «Асаиш» поверил, что мы приехали в Ирак за бабочками и пауками. Ну не понятно это людям Ближнего Востока и Центральной Азии. Не понятно в принципе по причине совершенно другого менталитета. А наш странный (с точки зрения любого полицейского, в том числе и российского) багаж еще





больше мог подкрепить уверенность в том, что мы шпионы или диверсанты. Не стоит забывать и о том, что шла война. Даже в камере мы слышали доносившиеся до нас глухие раскаты авиаударов, наносившихся в те дни по Мосулу силами Международной коалиции.

Это, несомненно, усиливало паранойю местных силовых структур.

Неважно, что полный комплект карт Северного Ирака был нами скачан с общедоступного сайта в Интернете, на котором хранятся карты Генштаба СССР. Неважно, что карты эти давно устарели. Фотоловушку мы, конечно, собирались использовать для сбора фото- и видеоматериалов, регистрирующих передвижения бронетехники и живой силы пешмерга по территории Иракского Курдистана. Ультрафиолетовые лампы, конечно же, предполагалось использовать не для ловли каких-то там никому не нужных бабочек, а для маркирования участков для нанесения минометных и зенитных ударов. Заспиртованные пауки и скорпионы в пробирках, а также бабочки, разложенные на ватных матрасиках, представляли собой не более чем прикрытие, причем совершенно идиотское и неправдоподобное, что-то вроде нелепой детской отмазки. Вне всякого сомнения, арсенал из перцовых баллончиков и бутылок с этилацетатом предназначен для химической атаки на доблестных солдат пешмерга. Примерно так могли рассуждать в «Асаиш». Объяснить что-либо мы могли лишь своим сокамерникам, да и то с трудом. Например, все считали, что я был невесть как попавшим в Ирак российским солдатом, видимо, забредшим из Сирии. Такое мнение сложилось лишь из-за того, что на мне были камуфляжные штаны и я хорошо отжимался от пола...

По всему выходило, что сидеть нам, возможно, придется долго.

Сидеть в тяжелых условиях и полной изоляции от окружающего мира.

И хорошо еще, если сидеть в этой тюрьме, а то ведь могут перевести в какой-нибудь подземный «лагерь смерти» для особо опасных шпионов, надежно укрытый в горах Загроса. А то и вообще от греха подальше выведут с мешками на головах до ближайшей стенки...

## 20. Адаптация

**Александр.** Постепенно мы начинали адаптироваться. Appetit вернулся, сон стал лучше. Среди сокамерников сформировался свой круг общения. Состоял он, как легко догадаться, из таких же интеллигентов, случайно попавших в тюрьму, как и мы. Время мы проводили в беседах, рассказывая о России, о Сибири и, конечно, слушая о родных странах наших новых друзей: Ираке, Сирии, Иране, Турции. Все это стало казаться чем-то совершенно обыденным и близким. И уже исчезло ощущение, что попал в какой-то дерьмовый фильм. Любых контактов с игиловцами мы старательно избегали, а вот с простыми уголовниками, конечно, общались. Все они оказались отличными мужиками. Попутно мы еще играли в домино. Роман читал мне лекции по психиатрии (он по первой специальности врач-психиатр). Я же, в свою очередь, читал лекции Роману — по палеонтологии (ею я увлекаюсь с детства).

При посредстве Ахмеда из Мосула мы купили сменное белье, а также мыло, зубные щетки, пасту и салфетки. Оказалось, что в тюрьме можно помыться во время любой из трех прогулок. Проходя по коридору, соединяю-



щему нашу камеру с двориком для прогулок, можно зайти в душевую комнату. В этой комнате было несколько кабинок без дверей, в каждой из которой был душ. Каждая кабинка была закрыта прилепленной на торцы ее боковых стенок мокрой клеенкой, и, чтобы в нее попасть, требовалось подлезть под эту клеенку снизу. Это делалось для того, чтобы никто не увидел обнаженного тела моющегося в кабинке человека (это «харам»). Однажды произошел даже забавный случай. Заходя в освободившуюся кабинку, я по неуклюжести снес спиной клеенку, которая закрывала сразу несколько кабинок, в которых мылись заключенные. Этот инцидент вызвал переполох среди мывшихся игольцев, которые начали в панике прикрывать свой срам руками и пытаться водворить клеенку обратно. Однажды душевая оказалась заблокирована Арью Пахлаваном Шизофреником, который разломал швабру и сделал из обломка ее черенка засов, который просунул под дверную ручку. Когда наконец другие заключенные уговорили его открыть дверь, тот решил использовать заостренный обломок черенка как копьё. К счастью, это импровизированное оружие у него быстро отобрали.

В один из дней была устроена большая уборка, когда все покрывала вынесли во внутренний дворик и стали выбивать из них пыль. Работали в парах. Я выбивал покрывала вместе со Злым Игольцем. Способ, применяемый в тюрьме для выбивания покрывал, достаточно сложный, так как требует синхронизации движений. Злому Игольцу никак не удавалось объяснить мне, как выбивать покрывала наиболее эффективно, так как он не владел английским языком.

На прогулках Роман участвовал в песнях и плясках, которые устраивали заключенные среднего и старшего поколения. Главой этих мероприятий выступал Усатый Пешмергист, который играл на «барабане» — пластмассовом тазу для стирки белья. Интересно отметить, что однажды молодые игольцы начали смеяться над Романом в ходе такого мероприятия, за что были немедленно одернuty старшими.

Как уже было сказано, рядом с нашей камерой располагалась другая камера с зеркальной планировкой. Так как время прогулок заключенных нашей камеры и соседней не совпадало, то мы не могли познакомиться с ее узниками.

По вечерам мы продолжали смотреть турецкий сериал про скандальную женщину с разбитым лицом. Несмотря на то что нам удалось быстро адаптироваться в тюрьме, ночь все равно оставалась тягостным временем. По утрам Усатый Пешмергист просыпался одним из первых. Так как он был одним из самых уважаемых заключенных, то на него режим особо сильно не распространялся. Поэтому примерно в 6:30 утра мы пробирались к месту Усатого Пешмергиста. Там он угощал нас чаем из термоса и сигаретами, а также на языке жестов рассказывал о том, как он убивал боевиков, которые, кстати, в этот момент вполне мирно дрыхли вокруг нас. Самым приятным было то, что у Усатого Пешмергиста было бластное место, и, придя к нему в гости, можно было сесть относительно свободно и дать затекшему от тесноты телу отдых.

Сильно нам досаждала языковая изоляция, ведь далеко не все могли объясняться на английском. Поэтому я договорился с Ахмедом из Мосула о приобретении англо-арабского разговорника (который так и не был нами получен).

**Роман.** Вероятно, здесь стоит опять оторваться от хронологии событий и просто поделиться впечатлениями.



В камеру вкинули пацана. Лет пятнадцать. Похож на молодого Пушкина. Ребенок в школьной форме стоит посреди камеры — смотрит на заключенных, они на него. Парень белеет и падает без чувств. К нему подбегают мужики, мочат лоб водой, бьют по щекам. Бедолага постепенно приходит в себя, плачет — его успокаивают.

Один из заключенных (этнический араб) говорит: скажите Путину, что нельзя поддерживать курдов, при Саддаме мы жили нормально, а курды не щадят никого. Он достает сигарету, слегка ухмыляясь, протягивает одну и мне. Курим, стряхивая пепел в какую-то крышечку. Каждый думает о своем.

Саша победил нескольких человек в отжиманиях от пола.

Выхожу из туалета — девяносто товарищей по несчастью стоят плечом к плечу и молятся. Кто-то читает Коран (их у нас в камере было несколько экземпляров), кто-то просто беззвучно шевелит губами, кто-то стоит на коленях. «Господи, — думаю, — неужели это со мной происходит? Как в страшном кино...» Делюсь с Сашей впечатлениями — и получаю ответ: «А потом в кадре появился Фомичев...»

Пытаемся шутить. «Саня, — говорю я, — надо тебе научного руководителя менять...»

Кое-кому придумываем клички: страшный сумасшедший мужик с выпученными глазами — Глазунья, дикого вида психопат в наручниках — Кошеч и все такое прочее.

Мы обзавелись еще одним полезным знакомством — худощавый молодой полицейский Аусер с наколкой на руке «I love you my friends!». Не знаю, кто были эти «friends», но он их любил. Аусер был одним из самых влиятельных лиц в камере, агрессивный, юморной, он производил впечатление опасного, но в то же время справедливого человека.

Поняв, что мы ученые-биологи, работаем в университете, что я — профессор, а Саша — аспирант, наши новые друзья относились к нам ровно и даже с уважением.

Заметным персонажем был долговязый мужчина метра два ростом — Умет. Похожий на главного героя фильма «Ширли-Мырли», он постоянно улыбался лошадиной улыбкой и вечерами на прогулке очень ритмично барабанил по перевернутому тазу и пел красивым голосом бесконечные и довольно однообразные курдские песни. Умет любил всем показывать свои боевые ранения. А показать ему было что. Часть мышц на голени оторвана миной, ключица и грудь прострелены из «калашникова», рука — из карабина, ноги пробиты осколками и пулями. Пораженный (вероятно, из-за своего роста) почти всеми видами стрелкового оружия, он подвергся пыткам в плену у боевиков, ему молотили палкой по руке, пока не сломали плечевую кость. В застенках рука не смогла нормально зажить, и в середине плеча сформировался ложный сустав.

Саше приходилось общаться и с молодежью. Один из них, парень лет восемнадцати, признался: «Я работаю в ИГИЛ... Это нехорошо... Я заражен ВИЧ...»

Вечером мы играли в домино, резались в нарды.

На прогулках максимально пытались размять затекшие конечности.

Прошла еще пара дней. Мы постепенно превращались в з/к.

Подъем, завтрак, прогулка, обед, сон-час, ужин, прогулка, телевизор, отбой, забытье, подъем... Как сказал доктор Омар, самое страшное здесь — сон



и еда. Убивала бездеятельность. Саша предложил учить арабский язык. Мне мысль эта понравилась. Еще просто убивало курение: это ужасно, когда в замкнутом пространстве постоянно курят восемьдесят мужиков. Убивали дневной и ночной сон. По крайней мере, я понял, как чувствовали себя африканские рабы, которых португальцы везли на невольничьи рынки в душных трюмах парусников. Но ведь сейчас же не шестнадцатый век. Почему от нас не отсадят несчастного Арю, почему его не лечат? Почему к нам не пришел консул? Сообщили ли вообще нашим дипломатам о нас? Почему не ведется следствие? Почему нас не вызывают полицейские? Почему нам не дают адвоката, не предъявляют обвинения? Да спасемся ли мы вообще? Сколько это займет: неделю, месяц, год, всю оставшуюся жизнь?

Поняв, что нам не угрожает физическая расправа от наших сокамерников, я не стал бояться меньше. Меня тревожило наше здоровье (на своем узком совете мы решили максимально поддерживать чистоту тела, хорошо, пусть даже через силу, питаться и есть больше лука, которого, к счастью, давали в изрядном количестве). Еще нас беспокоила политическая ситуация. Если игиловцы когда-то смогли взять Мосул и Пальмиру, то что им теперь помешает завладеть Эрбилем? Несмотря на явную маловероятность, это волновало нас. Ведь при таком раскладе уж нас-то с Сашей точно бы распяли на ближайшей финиковой пальме.

Народу не убывало. Выпустили только одного дурачка-хулигана, а новые товарищи поступали ежедневно. Все это еще более осложняло ужасающий быт иракской тюрьмы.

На пятый день в камеру вошел импозантный невысокий араб с очень дорогостоящей улыбкой, невероятно аккуратно постриженной бородкой, в элегантных брюках и белой сорочке. Весь его внешний вид выдавал в нем весьма успешного бизнесмена. Бегло говоря по-английски, Мустафа рассказал нам свою историю. Прилетев из Багдада в Эрбиль на деловую встречу с партнерами из Ливана, он был арестован из-за сходства своей фамилии с фамилией террориста. Повод, конечно, веский, чтобы бросить человека за решетку. Эта история происходит с ним в третий раз. Мустафа оказался славным малым и просил нас забыть о времени. «Обычно такие дела, как мое или ваше, занимают две-три недели», — сказал он нам. Не расстраивайтесь, мол, просто попытайтесь воспринять это как отдых. Мустафа очень следил за здоровьем, диету ему расписывал знаменитый ливанский врач, спортивный комплекс — известный физиотерапевт из Дубая... Короче, парень был богатый, но без понтов. Красивые, как финики, глаза увлажнялись слезой, когда он вспоминал о восьмимесячной дочери, по лицу блуждала нежная улыбка, когда он говорил о жене, в речи и движениях появлялась неукротимая энергия, когда он рассказывал о своем бизнесе. Мустафа стал одним из наших главных доверенных лиц.

Довольно интересным собеседником был душевный молодой сириец Ахмед. Ахмед, с его слов, был арестован непонятно за что и нетерпеливо ждал освобождения. «Иншалла! — говорил он раз по десять в день. — Я чувствую — сегодня нас отпустят. Но вы, мои русские друзья, домой не поедете. Я хочу познакомить вас со своим братом, он в Бейруте сейчас. Поедем вместе на недельку в Бейрут». Сама мысль о том, что мы хотели бы домой, а не в Бейрут, вызывала в нем приступы праведного гнева.

## 21. Новый допрос

**Александр.** Периодически кого-нибудь из камеры вызывали на допрос. Тюремный надзиратель подходил к двери в камеру и выкрикивал имя заключенного. Вызывали немногих. Некоторых заключенных, даже проведших в тюрьме много времени, не вызывали ни разу. До нас очередь дошла 5 мая. Надзиратель подошел к решетке и выкрикнул наши имена, исковерканные до неузнаваемости. Мы даже не узнали своих имен в его произношении — среагировать нам подсказали сокамерники. Нас провели по коридору в незнакомую часть тюрьмы и подвели к дверям кабинета. Первого на допрос вызвали меня. Были заданы совершенно обычные вопросы, не уточняющие никаких деталей. Все это спрашивали еще полицейские в Дахуке. Мне пришлось снова объяснять, для чего мне нужен второй заграничный паспорт, и рассказывать о том, где в Интернете можно посмотреть мои статьи о пауках. Кроме того, полицейские особенно интересовались тем фактом, что приехали мы по гостевой визе, в то время как утверждаем, что занимаемся в Ираке научными исследованиями.

Неожиданно мне был задан вопрос теистического характера: в какого я верю бога? Я ответил, что являюсь атеистом. Полицейские не поняли такого ответа. Я объяснил, что для меня не существует ни одного бога. В ответ на это ошарашенные полицейские начали подсказывать мне, что, возможно, я верю в солнце... В кабинете одна стена была целиком зеркальная — очевидно, за ней кто-то сидел и наблюдал за реакциями допрашиваемых. В целом полицейские были очень вежливы и корректны, чего нельзя было сказать об их коллегах из Дахука. В конце моего допроса они даже поинтересовались, есть ли у нас какие-либо пожелания. Пожелание было одно — книги или газеты на английском языке.

После меня на допрос пошел Роман.

Пока я стоял в коридоре и ждал конвоя, по перпендикулярному коридору прошла толпа женщин. Как потом оказалось, это были жены, которым дозволили увидеться с рядом заключенных во внутреннем дворе тюрьмы, из-за чего была отменена общая прогулка.

**Роман.** На четвертый день нас пригласили на допрос. Два уставшего вида следователя с зевотой допросили нас, задав те же вопросы: имя матери, цель приезда, когда познакомились с Саидом. Протоколы нас заставили заверить отпечатком пальца, смоченным в чернилах. Конечно, ставить отпечаток было рискованно и необдуманно, но, честно говоря, мы уже сильно устали и просто потеряли бдительность, да и опыта такого у нас, конечно, не было.

## 22. Уныние

**Александр.** Прошел еще день. Никаких подвижек по нашему делу не было, в связи с чем мы все больше тревожились. Мы были уже совсем не уверены в том, что до нас есть кому-либо дело. Больше всего мы боялись, что против нас могут сфабриковать улики. Сделать это просто — достаточно лишь наснимать на наши фотоаппараты какие-нибудь танки или бронетранспортеры и использовать это как доказательство того, что мы шпионы. Совершенно великолепные возможности для фальсификации улик предоставляла конфискованная у нас



фотоловушка. Достаточно было установить ее на пути следования боевой техники или живой силы пешмерга, чтобы получить неопровержимое доказательство нашей деятельности, враждебной по отношению к Иракскому Курдистану. А можно поступить еще проще — подбросить в наши вещи наркотики, например пару граммов героина в отсек для батареек в фотоаппарате. Как за шпионаж, так и за контрабанду наркотиков в Ираке полагается смертная казнь.

Конечно, мы не рассматривали такие крайности как действительно возможные, но перспектива длительного заключения сильно пугала нас. Шестого мая некоторым заключенным разрешили позвонить. Мы просили разрешить нам связаться с консулом (его номер был записан у нас на клочке бумаги), но нам отказали, хотя и вежливо. Надо сказать, что сокамерники каждый день говорили нам, что завтра нас обязательно отпустят, но мы совершенно не разделяли их оптимизма.

Были у нас и другие страхи.

В те дни война с ИГИЛ бушевала совсем близко к Эрбилю.

В связи с этим мы опасались, что часть города вполне может быть захвачена боевиками Исламского государства. Кроме того, в те дни наблюдался рост напряженности в отношениях Иракского Курдистана с Турцией, что тоже могло перерасти в полноценную войну. Мы боялись, что если так произойдет, то, во-первых, про нас могут забыть, а во-вторых, резко ухудшатся условия содержания. Одно нас поддерживало: нами опубликовано много научных работ, имена наши известны в научном сообществе, а это значит, что есть люди, способные подтвердить, что мы никакие не шпионы. Хотя, конечно, научная деятельность вовсе не означает чистоту намерений.

**Роман.** Пятый день заключения...

Это только кажется, что четыре-пять дней — малый срок...

Всего лишь одна рабочая неделя, но, поверьте, это настоящая вечность. За это время успеваешь все заново пережить. Я бегу вниз по какой-то горке, пятилетний, падаю, а за мной бежит, чтобы спасти меня, отец. Я поступил в университет, дома хлопает шампанское, все счастливы, отец, мама, еще живые бабушка и деды... Мой дорогой сыночек, как он там, он умница, все будет у него хорошо... Моя любимая Ленка, почему я не уделял больше времени тебе, нашей любви, нашей теплой и нежной дружбе... И еще миллион каких-то воспоминаний, каких-то добрых мыслей о доме...

Я принял твердое решение выжить: впасть в какое-то полузабытье, отключиться от реальности. Я робот, сплю на одном квадратном метре площади, ем по часам, во время прогулки двигаюсь, в душевой тщательно моюсь, я со всеми доброжелателен, но всегда настороже. И еще — ни одна ближневосточная сволочь здесь не увидит на моих глазах слез. Эх, только бы не грипп, только бы не тромбоз в постоянно затекших от сидения на корточках ногах, только бы не аппендицит...

Интересно, где они хоронят умерших — в болотах Месопотамии?

Как я уже писал, пожалуй, самым страшным было интеллектуальное безделье. Дома в день получаешь по полсотни писем: студенты, коллеги, друзья — сейчас же полный вакуум. Мы с Сашей решили читать друг другу лекции. Саша исключительно интересно прочел для меня лекции по общей палеонтологии, и рассказы о кипящей планете и смене фаун надолго заняли наше воображение.



Я прочел ему курс по детской психиатрии. Сашу увлекли многие нозологии. Пристально рассматривая Глазунью, он довольно четко описывал его симптоматику на вполне грамотном медицинском лексиконе. Морально сломленный учитель географии тоже поставлял нам немало фактического психиатрического материала. На прогулках мы старались двигаться интенсивно, разгоня застоявшуюся кровь, отжимались. Один раз вытащили все наши половики на улицу и всей гвардией выхлопали их.

Один из описанных выше колхозников, полный добродушный усач, через доктора Омара передал нам, что он очень бы хотел пригласить нас в гости, будь сейчас мирное время. У него дом в горах, сад, он очень любит гостей (в это очень охотно верилось), он был бы счастлив видеть нас у себя.

Отдельных слов заслуживает телевидение в камере. Управляли пультом сильные мира сего, и все наши просмотры сводились к каким-то курдским каналам, низкосортным турецким сериалам и футболу. О футболе говорить не буду: футбол, он и в Ираке футбол (ну, кроме Мосула, где казнили всех болельщиков). Курдские каналы показывали новости и видеоклипы на народные курдские песни. Песни были заунывными, но довольно ритмичными. Видеоклипы чаще всего имели довольно сбалансированный видеоряд: горы, облака, проплывающие по небу, пасущиеся овцы или козы, иногда лошади, чуть вдали развевается флаг свободного Курдистана, сидят в кругу на природе, на какой-то лужайке усатые серьезные мужики и поют песню. В этом плотном кругу всегда есть несколько свободных мест — для тех, как мы догадались с Сашей, кто сейчас в заключении. Песнопения звучат долго, мужики, взявшись за плечи, сидя на корточках, раскачиваются. Потом опять: горы, долина, ручеек, облака, овцы, кони, козы, флаг Курдистана. И новый, насыщенный теми же содержательными образами, видеоклип. Не менее «интересными» для нас были и турецкие сериалы. В одном из них главным действующим лицом (помимо красавцев турок и красавиц турчанок) была какая-то экзальтированная особа с фонарем под глазом. Что с ней произошло, мы не знали, но ее появление на экране всегда сопровождалось какой-то активизацией действия, скандалом, потасовкой и тому подобными деяниями. Девка с фингалом всегда провоцировала конфликт и, на наш взгляд, была самым интересным действующим лицом. Мы, не понимая смысла увиденного, сами додумывали сюжет. Думаю, что он получался у нас не менее интересным, чем задумка сценариста.

Другими развлечениями в камере были домино и нарды. Мы тоже иногда присоединялись к играющим.

Отхожее место было удивительно чистым, и вообще сильных запахов выделений человеческих тел в камере не было. Конечно, какой-нибудь Ив Сен-Лоран, возможно, и нахмурил бы бровки, войдя в нашу камеру, но, честно говоря, было вполне терпимо. После посещения туалета все мыли даже ноги в раковине. Многие ежедневно ходили в душевые.

Мы с Саней заказали через главного по камере футболки и трусы, а также пару пачек сигарет. А грязную одежду постирали в тазу по время прогулки. В нашем дворе была куча бельевых веревок и масса стандартных китайских сумок с вещами заключенных.

Когда нас водили на прогулку, мы проходили мимо еще одной такой же камеры, где сидело около сотни бородачей. Изнуренные лица, потухшие глаза, у



кого-то, наоборот, озорные, у кого-то злые, ненавидящие. Мы проходили рядом с решеткой, кто-то что-то спрашивал, кто-то из нашей камеры отвечал. Мы приветствовали друг друга кивком головы, какими-то словами, жестом руки. Европейцев видно не было.

## 23. Американец

**Александр.** Шли уже пятые сутки нашего пребывания в тюрьме. Мы были практически уверены, что нашим делом если и занимаются, то очень вяло и быстрых подвижек ждать не стоит. В связи с этим нами был введен режим экономии денег.

К вечеру у Арья Пахлавана Шизофреника случился очередной буйный припадок — он размахивал отобранным у кого-то термосом, бил им о бетонный пол и требовал, чтобы ему позволили обратиться в посольство Швеции, причем немедленно, потому что «он устал». Какое отношение имеет гражданин Ирана к Швеции — осталось загадкой. Интересно отметить, что всю свою гневную тираду Арья Пахлаван Шизофреник произносил на чистом английском языке. Прибравший на шум тюремный надзиратель потребовал утихомирить нарушителя спокойствия, что и было не без труда выполнено старшими уркаганами камеры.

За все дни, которые мы уже пробыли в тюрьме, из камеры ушел лишь один человек. По «официальной» версии, общепринятой в нашей камере, его отпустили на свободу. За это же время к нам успело попасть несколько новичков. Становилось уже совсем невыносимо тесно. Особенно сильно это ощущалось ночами, когда хоть как-то повернуться было просто невозможно. При этом в камере соблюдалась чистота: никто не мусорил (даже пепел с окурков стряхивался строго только в пепельницы или в пустые сигаретные пачки), туалет оставался чистым, все соблюдали личную гигиену (кроме Коцея Изгоя) и не было дурного запаха.

Вечером к нам доставили нового, особенного заключенного. Все тихо-мирно сидели и смотрели телевизор, играли в домино, когда в коридоре раздались вопли — кто-то отчаянно и с яростью выкрикивал ругательства на английском языке. Мы с Романом чрезвычайно обрадовались, предвкушая общение с новичком, так виртуозно владеющим английским языком. К двери камеры подвели мужчину возрастом около тридцати лет, европеоидной наружности. Одет он был в какую-то полевую, но не военную одежду и имел бороду. Увидев через решетку двери «содержимое» камеры, новичок был шокирован. Мы сами были на его месте несколько дней назад. Мужчина вошел и сел на пол напротив Смотрящего по камере и Ахмеда из Киркука. Мы, терзаемые любопытством, направились туда же. Началась беседа, в которой помимо новичка и Ахмеда из Киркука (Смотрящий по камере не знал английского) участвовали и мы. Оказалось, что вновь прибывший является гражданином США. По профессии он военный врач, арестован на одном из блокпостов по дороге из Киркука в Эрбиль.

В тот день в камере как раз смотрели новости, из которых узнали, что боевики ИГИЛ напали на базу с американскими военными советниками в Киркуке. В ходе столкновения никто из американцев не пострадал, а вот среди представи-





телей пешмерга были жертвы. Вот как раз из Киркука и ехал этот американский военный врач. Как мы поняли из разговора с ним, он был, скорее, не лечащим врачом (военно-полевым хирургом), а занимался научными исследованиями в области военной медицины. В Ираке американец был уже не в первый раз и был чрезвычайно разозлен и обескуражен тем, что его бросили в тюрьму, но не слишком напуган. Мы с видом бывалых кратко ввели американца в курс тюремных распорядков и как смогли успокоили, объяснив, что это неплохое место. Американец сразу поинтересовался, есть ли в нашей камере игиловцы, на что получил утвердительный ответ.

Вел он себя очень смело и уверенно, громко и бойко разговаривал с другими заключенными (конечно, с теми, кто знал английский язык), смеялся во всю глотку и показывал татуировки, которые занимали у него значительную часть площади кожных покровов, объясняя значение того или иного элемента. Заключенные очень заинтересовались этой натальной живописью. В общем, похоже на то, что психологически американец при попадании в тюрьму оказался сильнее нас — было видно, что он уверен в том, что за ним стоит сила, и это делало его стойким и уверенным в благополучном исходе. А стояла за ним его всемогущая страна. Американец знал, что про него не забудут и обязательно, любой ценой, вытащат из тюрьмы в каком-то захолустном, отсталом и варварском Ираке. Даже если для этого понадобится разнести к чертовой матери эту проклятую тюрьму...

**Роман.** Вечером шестого дня в коридоре раздались матерки по-английски. Знакомое каждому «fuck you!» неслось из коридора. Мы переглянулись: похоже, ведут еще одного бледнолицего.

В камеру втокнули спортивного молодого мужика.

Он затравленно смотрел на нашу потную многоликую толпу.

Ахмеды-переговорщики сразу подошли к нему и начали: «Don't worry» и тому подобное, пытаюсь объяснить парню, что здесь его точно не пришьют. Мы тоже подошли, парень встрепенулся, увидев белых. Джон оказался военным врачом-травматологом из штата Теннесси, служащим антиигиловской коалиции. По его словам, выехав по необходимости в Киркук, на обратном пути он был арестован полицией без каких-либо объяснений. Так и не дождавшись ни американских военных советников, ни консула, парень затих, ходил на прогулки со всеми.

Опять танцы и песни под звуки барабанищего по тазу изрешеченного пулями Умета. Мы с Аусером, взявшись за плечи, крутя четками, танцуем боевой курдский танец. Душный темный двор, ритмичный звук песни, разговоры на ломаном английском, приятный вкус хорошей ливанской сигареты. И с ужасом думаешь, через тридцать... двадцать пять... пятнадцать минут — уже в камеру, лечь на пол и пытаться спать...

## 24. Подведение Кошца Изгоя под монастырь

**Александр.** Как уже было сказано, от некоторых заключенных мы старались держаться как можно дальше. К таковым относились все игиловцы без исключения, даже Игиловец Школьник. Но были и другие персоны, признанные нами опасными. Татуированный Уркаган и Толстый Хулиган отличались буйным

нравом, гиперактивностью и крепким телосложением. Вокруг них часто возникали очаги беспокойства, и мы старались не находиться рядом с ними, хотя их агрессия никогда не была направлена против нас. Общение с Учителем Географии, у которого от нервного истощения запали глаза, могло повергнуть в уныние. Он все время повторял: «Мы все здесь умрем...» С ним мы решили также не общаться — во избежание заражения упадком моральных сил.

Арья Пахлавана Шизофреника мы боялись как огня и всячески старались, чтобы между нами и им всегда оставалась дистанция в несколько метров. И это легко понять, ведь человек, страдающей шизофренией, находящийся в фазе острого психоза, активно галлюцинирующий и при этом не получающий никакого лечения, без сомнения, очень опасен. Невозможно предсказать, что он сделает в следующий миг: воткнет ли своему соседу в бок заточенный обломок от украденной им на обеде ложки или сам ударится головой об стену. Ситуация усугублялась тем, что некоторые наши сокамерники (типа Татуированного Уркагана и Толстого Хулигана) постоянно задирали сумасшедшего, провоцируя его на драку. Арья Пахлаван Шизофреник гонялся за ними по всей переполненной камере или в коридорах и душевой, вооружась различными предметами: от ложки до сломанного черенка швабры. Подвергнуться нападению тюремного психа в ходе такой потасовки и затем умереть от отсутствия медицинской помощи — та еще перспектива. Но когда шизофреник просто спокойно сидел, то на него невозможно было смотреть без смеха и содрогания: его глаза были выпучены в пространство подобно глазам Ивана Грозного на известной картине Ильи Репина. В связи с этим мы даже дали ему прозвище Глазунья, и иногда развлекались, придумывая про него различные истории в жанре фантастического боевика, в которых наделяли его всевозможными сверхспособностями.

Но наиболее опасным был, вероятно, Кощей Изгой.

Как уже отмечалось, в тюрьме он совершил ряд нарушений, за что был постоянно скован наручниками без промежуточных звеньев. Все заключенные ненавидели Кощея Изгоя и всячески шпыняли и притесняли его. Именно поэтому его было трудно избегать: из-за того, что мы были единственными людьми в камере, которые не проявляли к нему открытой агрессии, он всегда старался держаться возле нас. По ночам нам удавалось лечь так, чтобы от проблемного субъекта нас отделял кто-то еще (хотя это еще не гарантировало безопасности). Днем же он постоянно сидел возле нас и даже пытался заговаривать с нами, словно не понимая, что произносимые им звуки имеют для нас не больше смысла, чем тьяканье шакала. В камере за каждым был закреплен свой пластмассовый стакан. Все эти стаканы хранились либо на подоконниках, либо на верхнем ребре стены, которая отделяла камеру от коридора и в верхней своей части, ближе к потолку, переходила в решетку. Наши стаканы, как и стакан Кощея Изгоя, стояли как раз на этом ребре, и дотянуться до них было непросто. А для сгорбленного Кощея Изгоя с руками в наручниках — и вовсе почти невозможно. По этой причине ему приходилось кого-либо просить, чтобы ему достали его стакан, но помогать никто не хотел. Тогда страдалец с помощью жестов обращался за помощью ко мне, и я доставал ему стакан. Со временем эта просьба стала повторяться слишком часто. Кое-кто из заключенных заметил это и сделал мне своего рода замечание, сутью которого было то, что не хорошо помогать этому негодяю. Тем временем Кощей Изгой начал покупать мою «дружбу», пытаясь

угостить меня сигаретами, которых у него и так было мало (он делил каждую сигарету на половинки).

Я опасался, с одной стороны, постоянного соседства с опасным и непредсказуемым человеком, а с другой — потери уважения со стороны сокамерников, а потому решил, что пора принимать меры.

Вечером 7 мая я подошел к Смотрящему по камере и Ахмеду из Киркука и сказал, что мне не нравится постоянное соседство с «problem maker» (что в переводе с английского означает «создающий проблему» — так называли Кощея Изгоя наши сокамерники) и что этот problem maker часто пытается заговорить со мной, а это тоже нехорошо. Жалоба была принята. Кощея Изгоя вызвали в переднюю часть камеры для разборок. Там Смотрящий по камере объяснил Кощею Изгою суть претензий и начал страшно на него ругаться и сыпать угрозами. Провинившийся сидел на полу, опустив голову, а Смотрящий по камере безостановочно бил его по лысине каким-то журналом. Наконец Кощею Изгою сказали, что если он еще хоть раз посмеет заговорить с «руси» (русскими), а тем более обратиться к ним с какой-либо просьбой, то его убьют. После этого наказанному приказали идти прочь. Кощей Изгой поплелся на другое место — к нам он сесть уже не рискнул.

Таким образом, положение Кощея Изгоя стало совсем ужасным: руки, стертые в кровь вечными наручниками, потеря насиженного безопасного и удобного места в камере, дополнительное озлобление на него лидера камеры и окончательное падение на самое дно иерархии. Теперь ему уже точно никто не мог подать стакан. Я запретил себе испытывать какие-либо угрызения совести — на войне все средства хороши.

**Роман.** Остановлюсь еще на двух сокамерниках.

Арю, иранец по происхождению, был совершенно сумасшедшим. Какой-то злокачественный вариант шизофрении с галлюцинациями, отсутствие лечения и чудовищный стресс, который все мы испытывали, оказали на него разрушительное действие. Бедняга постоянно галлюцинировал, то беседовал с невидимыми духами, дико вращая глазами, то со своей пластиковой кружкой ходил по камере, набирая ее из воображаемых потоков. В эти моменты он утихал, становился спокойнее. Он часто сидел, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, и был невообразимо страшен внешне, совершенно непредсказуем в поступках и побуждениях. Постоянно подвергаясь нападкам со стороны наиболее примитивных сокамерников, он возбуждался еще сильнее. По неизвестным для нас причинам восплавав доверием к Саше, он показал ему заточку, сделанную из алюминиевой ложки. Мол — убью их, сволочей. Один раз сломал швабру и кинулся на обидчиков в душевой. В целом, соблюдая нейтралитет и, в общем-то, поправ конвенцию о правах душевнобольных, мы старались держаться от него подальше.

Не менее интересным человеком был Кощей. Очень худой, со злыми колючими глазами, он, несомненно, был опасным преступником, способным удушить родного ребенка или без веских на то причин убить человека. Со слов наших товарищей, он постоянно дрался, пару раз весь «коллектив» из-за него не выпускали на прогулки. Доктор Омар назвал его «траблмэйкером». Меткое прозвище, это уж точно. Потом, после очередных нарушений, его заковали в наручники. Все в камере его ненавидели. Мы же, будучи гуманистами и не ведая

о его прежних бесчинствах, пару раз помогли ему, подали кружку, налили воды. После этого Кощей стал тянуться к нам, сидеть рядом, постоянно обращаться с разными просьбами. Общение с этим человеком было очень неприятным, явные признаки антисоциальной личности делали его предельно опасным соседом. Даже больше меня опасность, исходящую от него, чувствовал Саша, который по моему доброму наущению пожаловался местным авторитетам, те пригласили Кощея и, объяснив ему что почем, порекомендовали никогда не обращаться к нам, иначе его убьют. Даже на такого явно не склонного к тревогам человека эта угроза произвела впечатление, и он отстал от нас.

## 25. Новая дорога в неизвестность

**Александр.** Подходило время вечерней прогулки, когда тюремный надзиратель велел нам выйти из камеры. По камере пробежал слух, что нас хотят отпустить. Нас повели по коридору в направлении внутреннего двора. Дверь, соседняя с дверью душевой, как оказалось, была дверью камеры хранения, в которой находились вещи заключенных. В комнатухе в страшном беспорядке были свалены сумки и пакеты, покрытые слоями пыли, в нос бил резкий запах этилацетата из сумки Романа. Мы выбрали из этой груды вещей свои сумки и пакеты, в которых хранились ремни, обувь, носки и головные уборы. Со всеми этими тюками в руках нас провели мимо обеих камер, в которых раздавались крики ободрения и одобрения: наши товарищи по несчастью искренне радовались за «руси», которых отпускают. Нам было приказано оставить все наши вещи в т-образном коридоре и вернуться в камеру. Как раз подошло время ужина.

Несмотря на то что наши сокамерники подбадривали нас и говорили, что вот наконец нас и отпускают, мы сильно нервничали, так как не знали, чего ожидать. Ахмед из Сирии украдкой напомнил мне о своей просьбе: позвонить из России его брату в Сирию. Но мы с Романом вовсе не были уверены, что скоро окажемся в России. Ведь на самом деле никто толком не знает, куда отправляются люди, которых «отпускают» из нашей камеры. Человека просто забирают, и больше сокамерники его не видят. И хотя по слухам, ходившим по камере, нас решили отпустить, в реальности нас могли просто перевести в другую тюрьму, например в тюрьму более строгого режима — для самых оголтелых игиловцев, где будет уже не восемьдесят человек в одной малюсенькой камере, а сто восемьдесят. Самым худшим раскладом был бы вариант с разделением нас по разным камерам или тюрьмам. Мы заранее договорились, что если окажемся разделены, а впоследствии один из нас выйдет на свободу, то освобожденный должен будет приложить максимум усилий для освобождения второго — вплоть до письма в МИД РФ.

Со страхом ждали мы «освобождения». Покидать камеру, которая уже воспринималась как безопасная, нам не хотелось. Ахмед из Мосула попросил оставить ему нашу зубную пасту и салфетки. Его просьба была удовлетворена. Наконец за нами пришел надзиратель. Когда мы покидали камеру, наши товарищи по несчастью радовались за нас. Не все, конечно. Меньше всего было поводов для радости у окончательно забитого Кощея Изгоя. Мы вошли в т-образный коридор, взяли наши вещи, оставленные в нем, а затем были сопровождены до одного из кабинетов. В этом кабинете нас встретили полицейские, которые

выдали нам конверт с конфискованными у нас несколько дней назад деньгами и попросили расписаться. После этого один из полицейских, который, кстати, был одет в гражданскую одежду и даже не имел при себе оружия, вывел нас на улицу. Так как мы уже более пяти суток не были за пределами тесного помещения (внутренний дворик — кубик в бетоне, конечно, не в счет), ощущения показались необычными. Оказавшись на улице, мы увидели наш тюремный корпус снаружи. Затем нас завели в другое здание, в котором не было ни одного человека, но зато были большие залы и множество стеклянных дверей, снабженных замками, которые полицейский открывал с помощью магнитной карточки. Удивление вызывало то, что безоружный сотрудник правопорядка остался наедине с нами — опасными «шпионами» и «диверсантами». А ведь еще несколько дней назад нас везли автоматчики. Пройдя несколько пустых залов непонятного назначения, мы оказались перед входом в лифт. Лифт переместил нас на пару этажей. И вот мы снова входим в какую-то комнату...

**Роман.** Какой-то заключенный орет: «Руси, руси!» Мы идем за ним, Аусер поспешает за нами, охранник открывает решетку, мы жмем руки, выходим на территорию охраны. Сердцебиение, страшный стук сердца, куда, зачем, там уже свой мир, зачем они нас вывели? Конвоир ведет нас в камеру хранения, где мы получаем свои чемоданы и рюкзаки. Мы идем с багажом по чудовищно длинным коридорам. Одна дверь, вторая, двадцатая... куда-то едем на лифте... Пытаемся ободрить друг друга, но очень-очень страшно. Куда-то переводят, сейчас нас разделят. Саша говорит: «Роман Викторович, если вас освободят, не забудьте про меня». Киваю, психологическое напряжение ужасное, попытка обратиться к конвоиру не дает никакого результата...

Еще полкилометра коридоров.

## 26. Консул и «Заслон»

**Александр.** Первое, что мы услышали, войдя в большой кабинет, была фраза на русском языке: «Ну все, отмучились».

И мы поняли, что мучения наши, действительно, закончились!

Слова эти произнес седой, плотный мужчина лет шестидесяти.

Оказалось, что это и был консул РФ в Иракском Курдистане — Евгений Вадимович Аржанцев. Рядом с ним сидел человек чрезвычайно мощного, атлетического телосложения, имевший при этом интеллигентный вид. Мы сразу поняли, что перед нами телохранитель. Евгений Вадимович представил нам атлета: «Это Виталий — наш русский Рэмбо». Оказалось, что Виталий является членом отряда специального назначения «Заслон». Загадочное здание со многими залами, стеклянными дверями и лифтами, в котором мы находились, было чем-то вроде Центрального разведывательного управления Иракского Курдистана и являлось частью единого комплекса, в который входила и наша тюрьма.

«Заслон» — это подразделение Службы внешней разведки России, в задачи которого входит обеспечение охраны первых лиц посольств России в других странах, проведение контртеррористических операций и спасение российских граждан из горячих точек.

Первым делом Аржанцев спросил о нашем самочувствии. Также он поинтересовался, знали ли мы, находясь в тюрьме, что над нашим освобождением

работают. Мы ответили, что не знали, и это было, пожалуй, наиболее тяжелым для нас фактором. Кроме русских в кабинете также находился и иракский следователь по имени Серван, который и привел нас из тюрьмы. Евгений Вадимович и Виталий встали, попрощались с Серваном и пригласили нас следовать за ними. Аржанцев сказал: «Идемте быстрее, пока они не передумали». Это, конечно, была шутка.

На улице мы все сели в машину, перед этим погрузив наши вещи в багажник. Но это оказалась не простая машина, а бронированная. Это было заметно уже по весу дверей, с которыми легко мог управляться лишь Виталий, бицепсы которого были в толщину как бедро у нормального человека. Толщина кузова и стекол также впечатляла. По словам Евгения Вадимовича, им разрешено передвигаться по территории Ирака только на таких бронированных автомобилях. И это неспроста, ведь Ирак очень опасен для работы дипмиссий. Например, в 2006 г. в Багдаде произошло похищение боевиками Совета моджахедов Ирака российских дипломатов, в ходе которого один из двух присутствовавших засланных был убит, а второй — увезен вместе с дипломатами. Все похищенные впоследствии были зверски убиты.

Автомобиль подъехал к воротам тюрьмы. После короткой заминки — консулу пришлось звонить Сервану, чтобы тот отдал распоряжение об открытии ворот, — ворота открылись, и мы покинули территорию тюремного комплекса. И снова нас везли по Эрбилю, на этот раз без наручников.

**Роман.** Мы входим в небольшой кабинет, где, помимо крупного левантийца, сидят — полный мужчина с хитрым прищуром живых умных глаз и рядом красавец здоровяк с очень мощным корпусом. Оба явно славянского происхождения.

«Все, ребята, не волнуйтесь, мы вас забираем».

После часа различных формальностей, выписки справок об освобождении и возврата нам всех наших наличных денег мы в сопровождении русских товарищей идем во двор, усаживаемся в бронированный, с ужасающе тяжелыми дверями «лэнд круизер» и едем по ночному Эрбилю. Консул дает нам телефон. Через минуту я слышу прорвавшийся через тысячу километров родной голос...

## 27. Консульство

**Александр.** Везли нас на территорию консульства России в Иракском Курдистане. По дороге консул рассказал нам, что работа по нашему освобождению началась практически сразу после нашего ареста. Как уже говорилось, Роман звонил Аржанцеву в тот день, когда у нас забрали паспорта. Евгений Вадимович помнил о нас и ждал повторного звонка с докладом о развитии событий. Но — по понятным причинам — так и не дождался. Тогда он начал, используя свои каналы для получения информации, нас искать и нашел в тюрьме. Подать какой-либо знак, который бы дал нам понять, что решением нашей проблемы занимаются, он не имел возможности.

Обо всех причинах нашего ареста полицией Иракского Курдистана консул рассказывать не стал, но сказал, что их было много. В частности, подозрения полиции были связаны с тем, что мы побывали в предгорьях хребта Чаийе-Да-



ири — на территории, подконтрольной Рабочей партии Курдистана, воюющей против Турции, то есть, возможно, осуществляли шпионаж в пользу последней. Кроме того, в Иракский Курдистан мы приехали по гостевой визе, указав в качестве цели «визит к другу», а сами занимались научно-исследовательской деятельностью. По мнению полиции, у нас были бы специальные на то разрешения, будь мы настоящими учеными, а не замаскированными вражескими агентами. Насторожило и наличие двух заграничных паспортов у меня, причем с разной транскрипцией имени и разными подписями — «прямо как у международного террориста!» Не говоря уже о том, что на мне надеты были камуфляжные штаны, наличие которых только подтверждало мою причастность к миру войн и насилия. Наш друг Саид, по словам Аржанцева, также попал в тюрьму — за то, что помогал осуществлению нашей диверсионно-шпионской подрывной деятельности.

Мы подъехали к консульскому гостевому дому. Гостевой дом был небольшой, но чрезвычайно комфортный, особенно после тюрьмы. На ночь нас оставили здесь. Перед сном мы созвонились со своими родственниками, объяснив, почему мы так долго не подавали о себе вестей. Кроме того, мы осмотрели наш багаж. Оказалось, что все в наших сумках было грубо и зверски перелопачено полицией. Вскрывали абсолютно всё. Была разрезана даже упаковка с халвой: вдруг это пластичная взрывчатка? Ноутбук Романа имел следы грубой разборки — был даже отломан уголок его крышки. В моем багаже не хватало некоторых вещей утилитарного назначения: котелка, складного ножа и аккумуляторов для фотоаппарата. Очевидно, что эти вещи сейчас используются полицией Иракского Курдистана. В фотоловушке обнаружился снимок верхней части лица полицейского, проводившего обыск. При осмотре багажа мы сразу выбросили из него перцовые баллончики и бутылки с этилацетатом, так как не хотели нарваться на неприятности в аэропорту. Наконец, закончив все эти акции, мы легли спать, все еще не веря своему счастью.

На следующий день, прогуливаясь среди пальм во дворе консульства, а также осматривая его главное здание, мы снова общались с Аржанцевым. Евгений Вадимович рассказывал нам о ситуации на Ближнем Востоке в целом и в Иракском Курдистане в частности. О сложных противоречиях, которые существуют не только между правительством в Багдаде и курдской автономией на севере Ирака, но и между различными группировками курдов, в частности между Демократической партией Курдистана, возглавляемой президентом Иракского Курдистана — Масудом Барзани, и Рабочей партией Курдистана — курдской террористической организацией, возглавляемой Абдуллой Оджаланом, в настоящее время отбывающим пожизненное заключение в турецкой тюрьме. Кроме того, консул рассказал о своей длинной трудовой биографии — до Ирака Аржанцев работал в Республике Судан в Восточной Африке. Судан также является очень беспокойной страной, в которой непрерывно идет гражданская война. Помимо всех этих интересных историй нам пришлось выслушать и выговор — впрочем, не слишком строгий — за то, что мы самостоятельно поехали в Ирак, да еще и в самую гущу событий.

В тот же день, 8 мая, все на том же автомобиле нас перевезли в гостиницу. У нас уже были на руках билеты на самолет, но на 10-е число, поэтому нам пришлось еще дожидаться вылета.



**Роман.** Оставив за кадром наше общение (очень корректное и доброжелательное) с российскими дипломатами, я могу лишь сказать, что частая и заслуженная критика наших дипломатических работников никак не может распространяться на Эрбиль. Думаю, что в горячих точках работают люди, слепленные из совершенно другого теста... Спасибо, дорогие наши товарищи, здоровья и всех благ вам.

## 28. Последние часы в Ираке

**Александр.** За весь следующий день мы выходили из гостиницы только один раз — до христианского магазина, который очень кстати находился неподалеку. В Ираке в подобных торговых точках продается хорошая анисовая водка. Уходить куда-то далеко от гостиницы мы, сильно запуганные недавним тюремным опытом, боялись. Была мысль съездить в Эрбильскую цитадель и, возможно, даже половить в щелях ее многотысячелетних зданий скорпионов, но, к счастью, мы вовремя отказались от этой идеи: ловля скорпионов среди бела дня была бы неправильно истолкована местными жителями, особенно полицией. В гостинице на верхнем этаже оказался хороший тренажерный зал и бассейн с панорамными окнами. В то время как я был занят штангой, а Роман плавал в бассейне, на горизонте, там, где находился Мосул, внезапно появился огромный столб черного дыма, который исчез через несколько минут. Вне всякого сомнения, причиной появления этого дымного столба был не пожар, а мощный взрыв, возможно — авиаудар.

Находясь в гостинице, мы избавились еще и от нескольких десятков пробирок со спиртом (но без членистоногих), выкинув их в мусор. Сделано это было из опасения, что штабеля пробирок будут хорошо видны при просвечивании сумки в аэропорту и вызовут подозрения. Пробирки с пауками, скорпионами и многоножками мы сохранили, как и ватные матрасики с бабочками.

На следующий день у нас был запланирован вылет. В аэропорт мы отправились на такси, которое вызвали для нас сотрудники гостиницы. Аэропорт Эрбиля отличается высоким уровнем безопасности, который обеспечивается охраной, расположенной вокруг него в несколько периметров. На машине можно доехать только до внешнего периметра, где производится первичный досмотр на наркотики и взрывчатые вещества — с помощью специально обученных собак. На въезде в пункт досмотра стоит пикап, оснащенный крупнокалиберным пулеметом. После первого досмотра приходится покинуть автомобиль и пересаживаться на автобус, курсирующий по территории аэропорта, и ехать на нем еще несколько километров. Над всей этой огромной площадью, представляющей собой буферную зону охраны аэропорта, курсируют военные вертолеты. На подъезде к самому зданию аэропорта становятся видны самолеты, стоящие на взлетно-посадочной полосе. Среди них выделяются огромные американские военно-транспортные самолеты С-17.

В аэропорт мы вошли благополучно, хотя наши вещи пристально рассматривали через рентгеновский сканер. Не менее благополучно мы дождались своего самолета и осуществили посадку на него. Когда шасси самолета оторвалось от взлетной полосы, мы наконец-то вздохнули с облегчением.



## 29. Путь домой

**Александр.** Мы летели над горами Северного Ирака. Над теми горами, в которых так хотели побывать, но так и не побывали. Но тогда мы не испытывали ни малейшей грусти по этому поводу, была только радость, что мы летим домой. Но с каждой минутой к этой радости примешивалась и тревога, ведь мы летели не в Россию, а в Турцию. Тревога эта была вызвана опасениями, что теперь нас могут арестовать и в Турции, ведь непонятно, что мы делали три недели в Ираке. И это на фоне значительного обострения иракско-турецких отношений.

Наш самолет приземлился в Стамбуле. Удачных рейсов в Россию не было в тот день, поэтому далее наш путь лежал в Анкару, также по воздуху. Ни в Стамбуле, ни в Анкаре мы никого, к счастью, не заинтересовали. Уже из Анкары мы наконец вылетели в Москву, а из нее в Барнаул. В Москве на пограничном контроле мне задали вопрос: «Откуда вы летите?» Я почему-то соврал, что летал в Турцию по делам. Штампик Иракского Курдистана на одной из страниц паспорта почему-то остался незамеченным.

Наша эпопея благополучно завершилась.

Спустя несколько дней после возвращения домой я сделал попытку позвонить брату Ахмеда из Сирии. К сожалению, попытка не увенчалась успехом: в номере, который я запомнил наизусть, не доставало цифр, вероятно, не хватало кода города. В каком конкретно городе живет брат Ахмеда мне, увы, вспомнить не удалось.

**Роман.** Через четыре дня мы сидим уже в отеле рядом с Домодедово, ждем вылета в Барнаул. На столе немного хорошей водки, рядом за соседним столиком приятные курортники из Челябинска. Мы сидим и думаем: «А сможем ли мы все это забыть?..»

## 30. Послесловие

**Александр.** Казалось бы, мы потерпели полное фиаско: бабочек и пауков почти не наловили, значительную часть экспедиционного времени просидели в тюрьме с игиловцами и другими не менее интересными личностями, познакомилась в основном с оружием — автоматами и пулеметами, а вовсе не с живой природой Ирака, и потеряли значительную сумму денег (все экспедиционные расходы мы оплачивали из своего кармана, а не за счет какого-либо гранта). Не говоря уж о пережитых душевных волнениях...

На самом деле наша экспедиция в Ирак не была полным провалом.

Во-первых, по-настоящему неудачной она была бы в том случае, если бы мы из нее не вернулись. Или вернулись бы, понеся неприемлемый урон (особенно физический). Например, подрвался бы кто-нибудь из нас на противопехотной мине, коих раскидано по Иракскому Курдистану предостаточно, и приехал бы домой без ноги — вот это можно было бы назвать провалом. Плохим исходом было бы и просидеть несколько месяцев в тюрьме, особенно учитывая ее население и условия содержания. Так что мы еще легко отделались. Во-вторых, мы приехали не с пустыми руками: несколько пробирок, наполненных редкостными пауками, скорпионами и многоножками, а также несколько матрасиков с бабоч-



ками мы все же привезли. Учитывая высокую степень научной новизны этих материалов, можно уверенно прогнозировать научные открытия, которые появятся в ходе их обработки, а значит, и публикацию ряда статей в научной периодике. Один из видов пауков, обнаруженных в ходе нашей экспедиции, оказался новым для науки. Теперь он описан нами под названием *Pterotricha arzhansevi* Fomichev et al., 2018 — в честь Е. В. Аржанцева.

Так что все пережитое было не напрасно.

Территория, на которой мы так сильно обожглись, в ближайшие десятилетия точно останется белым пятном для зоологов. Несмотря на успехи, которые были достигнуты в борьбе с ИГИЛ в Ираке, до победы над этим злом еще очень далеко. Мосул отбит в июле 2017 г., но в Северном Ираке все равно остается значительное количество боевиков Исламского государства, которые теперь будут скрываться в деревнях и в труднодоступной горной местности и вести партизанскую войну. Кроме того, летом 2017 г. Иракский Курдистан объявил о намерении провести референдум, на котором будет решаться вопрос независимости. Официальный Багдад, а также соседние страны — Турция и Иран, как и страны Запада, высказались против проведения референдума. Однако в сентябре референдум состоялся, и, как и следовало ожидать, курды проголосовали за свою независимость от остального Ирака. Центральное правительство в Багдаде столь же предсказуемо отказалось признать итоги голосования и пригрозило вводом войск в Иракский Курдистан. В свою очередь, Анкара объявила о готовности ввести свои войска в Иракский Курдистан для помощи Багдаду. В середине октября Ирак начал военную операцию в провинции Киркук. Произошли первые боестолкновения между правительственной армией и силами пешмерга. Таким образом, Ирак, а возможно, и Ближний Восток в целом, находится на пороге новой большой войны. Поэтому ожидать хоть какого-либо прогресса в изучении фауны Ирака в ближайшие годы не приходится.



Руслан ИЗМАЙЛОВ, Светлана КЕКОВА

**КРЕСТ И ЗВЕЗДА.  
ДУХОВНЫЕ СМЫСЛЫ  
РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА**

*На этом кладбище простом  
покрыты травкой молодой  
и погребенный под крестом,  
и упокоенный звездой.*

*<...>*

*Как спорили звезда и крест!  
Не согласились до сих пор!  
Конечно, нет в России мест,  
где был доспорен этот спор.*

*А ветер ударяет в жесть  
креста, и слышится: «Бог есть!»  
И жесть звезды скрипит в ответ,  
что бога не было и нет.*

*Пока была душа жива,  
ревели эти голоса.  
Теперь вокруг одна трава.  
Теперь вокруг одни леса.*

*Но, словно затаенный вздох,  
внезапно слышится: «Есть Бог!»  
И словно приглушенный стон:  
«Нет бога!» — отвечают в тон.*

(«Сельское кладбище»)

Это послевоенное стихотворение Б. Слуцкого как нельзя лучше, на наш взгляд, обнаруживает главную болевую точку, точку выбора, от которой зависит осмысление истории России, ее настоящего и ее будущего. За «затаенным вздохом» и «приглушенным стоном» — грохот катастрофы, кровь и страдания миллионов, мученичество и исповедничество тысяч наших соотечественников.

Катастрофа 1917 г. обрушилась на Россию страшной марксистско-большевистской идеологией, которая главным своим врагом избрала Бога, избрала Христа. Октябрьский большевистский переворот был переворотом антихристианских сил. Недаром одним из первых памятников победившей революции был



памятник Иуде, поставленный в городе Свияжске. Но не было бы победы у большевиков, если бы сам народ не прельстился их идеями. Антихристианскую, демоническую сущность большевизма сразу почувствовал поэт М. Волошин. В своих стихах 1917—1920 гг. он оставил нам страшное свидетельство того времени, при этом поэт старался быть предельно объективным, ибо «молился за тех и за других» и спасал от смерти и белых, и красных. Духовный диагноз происходящего таков:

*С Россией кончено... На последях  
Ее мы прогалдели, проболтали,  
Пролузгали, пропили, проплевали,  
Замызгали на грязных площадях,*

*Распродали на улицах: не надо ль  
Кому земли, республик да свобод,  
Гражданских прав? И родину народ  
Сам выволок на гноище, как падаль.*

*О Господи, разверзни, расточи,  
Пошли на нас огонь, язвы и бичи,  
Германцев с запада, монгол с востока,*

*Отдай нас в рабство вновь и навсегда,  
Чтоб искупить смиренно и глубоко  
Иудин грех до Страшного суда!*

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский Иоанн (Снычев) писал: «Преступление против государства и государя признается... преступлением церковным, религиозным, направленным против промыслительного устройства земли Русской и достойного самых тяжких духовных кар. “Если же кто не пощет послушати сего соборного уложения, — говорит клятва, — которое Бог благословил... да не будет на нем благословения отныне и до века, ибо, нарушив соборное уложение, сам попал под проклятие”<sup>1</sup>. Не под этими ли клятвами ходим мы и до сей поры, люди русские? Ужели водовороты страшной смуты XX века не заставят нас оглянуться на века минувшие, дабы усвоить их уроки?»<sup>2</sup>

Россия оказалась преданной и распятой на крестах XX века. При всех политических разногласиях, противоположных взглядах, мировоззрениях периода революции и Гражданской войны, главный водораздел проходил по линии вероисповедной. Это разделение прошло и через русскую литературу, русскую поэзию. Звезда диктовала забвение прошлого, презрение и ненависть к нему. Идеал Святой Руси должен был исчезнуть из сердец, а на его место должен быть водружен безбожный идеал коммунизма. Антихристианская коммунистическая квазирелигия становится духовной основой нового общества. Вся репрессивная и идеологическая сила новой власти была направлена на искоренение старой и утверждение новой религии. Пролетарские и комсомольские поэты рьяно бросились в бой с «пережитками прошлого». Поэзия 20—30-х гг. XX в., начиная с Маяковского и заканчивая Безыменским и пр., — это воистину апофеоз бес-

<sup>1</sup> Из текста Соборной клятвы — итогового документа Земского собора 1613 г., санкционировавшего восхождение на престол Михаила Федоровича Романова. — *Прим. ред.*

<sup>2</sup> Иоанн (Снычев), митр. Русская симфония. Очерки русской историософии. — СПб.: Царское дело, 1998. С. 201.

почвенности. Современный поэт и критик Г. Красников совершенно справедливо отмечает: «За Пушкиным простиралась благодатная почва для развития национальных гениев — Гоголя, Толстого, Достоевского, Лескова, Чехова; за Есениным — мертвая зона, на которую, как из преисподней, высыпала толпа “праздничных, веселых, бесноватых” (Н. Тихонов). И пошла писать Совдепия Жаровых, Светловых, Багрицких, Долматовских — литература (а не сами авторы, что еще отвратительней) без роду, без племени, без памяти, открывшая эру социалистического ирреализма, оптимистического амнезианства»<sup>3</sup>.

От литературы требовалось, чтобы она воспитывала нового человека для нового общества. Юный строитель коммунизма должен бодро шагать в светлое будущее, смело отвергать Бога, чтобы в итоге обрести... смерть. Именно таков сюжет одного из главных произведений для детей и юношества, изучавшегося в советской школе, — стихотворения Э. Багрицкого «Смерть пионерки» (1932):

<...>

*Трубы. Трубы. Трубы  
Подымают вой.*

*Над больничным садом,  
Над водой озер,  
Двигутся отряды  
На вечерний сбор.*

*Заслоняют свет они  
(Даль черным-черна),  
Пионеры Кунцева,  
Пионеры Сетуни,  
Пионеры фабрики Ногина.*

*А внизу, склоненная  
Изнывает мать:  
Детские ладони  
Ей не целовать.  
Духотой спаленных  
Губ не освежить —  
Валентине больше  
Не придется жить.*

<...>

*Не противься ж, Валенька!  
Он тебя не съест,  
Золоченый, маленький,  
Твой крестильный крест.*

<...>

*Красное полотнище  
Вьется над бугром.  
«Валя, будь готова!» —  
Воскликает гром.*

*В прозелень лужайки  
Капли как польют!*

<sup>3</sup> Красников Г. Н. В минуты роковые. Культура в зеркале русской истории. — М.: Вече, 2011. С. 546—547.

*Валя в синей майке  
Отдает салют.*

*Тихо подымается,  
Призрачно-легка,  
Над больничной койкой  
Детская рука.*

*«Я всегда готова!» —  
Слышится окрест.  
На плетеный коврик  
Упадает крест.  
И потом бессильная  
Валится рука  
В пухлые подушки,  
В мякоть тюфяка...*

Трудно найти в русско-советской литературе более страшное, более безысходное стихотворение. Торжество смерти без воскресения.

Если поэты, вступающие в литературу, хотели, чтобы их слово звучало, доходило до читателя, им необходимо было принимать правила игры, выстраивать себя, свое творчество по заранее предложенным чертежам, лекалам, образцам. Это очень ярко засвидетельствовано в стихотворении 1921 г. Л. Мартынова, где мы встречаем такие строки:

*Мы — футуристы невольные  
Все, кто живем сейчас.  
Звезды остроугольные —  
Вот для сердец каркас!..*

Звезда торжествовала в поэзии 20—30-х гг. В поэзии, но не в душе народа. Душа по-прежнему оставалась христианкой. Единомыслия власти и народа не было. Наступление воинствующего атеизма приносило свои плоды, но не в том объеме, в каком ожидала власть. Всесоюзная перепись населения 1937 г. показала, что большинство граждан советской России оставались верующими, православными. Несоответствие официальной идеологии народному идеалу гениально показано в произведениях Андрея Платонова, писателя, искренне верившего в мессианскую идею революции, в то, что она несет освобождение трудящихся. «Без сомнения, Андрею Платонову принадлежит непревзойденное разоблачение самой авантюрной Иллюзии XX в. и описание механизма ее действия, когда остервенелая власть живет в абсолютной иллюзии, что ежедневно и ежечасно осчастлиливает свой народ. Народ откликается на это искаженной, как в кривом зеркале, иллюзией-согласием, иллюзией-покорностью и даже иллюзией-языком!»<sup>4</sup> Но иллюзия эта была трагической, страшной, ибо она создавала выморочную жизнь, выморочную страну: «...с библейских времен, кажется, никогда еще не случилось целому народу оказаться почти в вековом сиротском блуждании по фантомной стране, оторванной от родного материка, в расколе гражданской войны, среди чужих миражей и химер, без своей истории, без прошлого, без своей культуры, без царя в голове, без креста

<sup>4</sup> Там же. С. 234.

на отчих могилах, без веры, без Русского Неба... Словно мы все в XX веке оказались в эмиграции, без тысячелетней Родины, наблюдая с обрывистого берега 1917 года, как плачет в небе “отчавившая Русь”...»<sup>5</sup>

Но Русь скорее не отчавила, а стала невидимым градом Китежем. То же самое произошло и с русской литературой. Русская литература советского периода взошла на свою голгофу. Многие творцы окончили дни в застенках ЧК—ГПУ—НКВД. Еще больше прошли через тюрьмы и лагеря ГУЛАГа.

Открытое исповедание идеалов Святой Руси в официальной литературе было невозможно. Но подлинно русские писатели оставались на глубинном уровне органично связанными с идеалами православной Руси. Выход был найден в своего рода криптохристианстве, т. е. тайном христианстве, проявляющемся порой даже не на рациональном, а на бессознательном уровне. Духовно-эстетические принципы этих писателей имели своим истоком не основы марксизма-ленинизма, а евангельское благовестие Христа. Именно это и является самым важным и самым главным в русско-советской литературе. Как пишет философ А. Казин, «разные энергетически-смысловые комплексы борются за обладание национальной душой — марксистский миф, анархистский, либерально-буржуазный, но за всем этим карамазовским разгулом идет неслышной поступью Христос, и именно ему в конечном счете принадлежит решающее слово в русском мире»<sup>6</sup>.

Невидимый град Китеж начинает свое благодатное преображающее воздействие на все, что способно преобразиться. Сам коммунистический соблазн перерабатывается душой народной не в холодные рационалистические схемы социально-экономической теории, а в родные сердцу образы: «...русский народ не принял бы коммунизма, не искусился бы им, если бы в нем не было притягательной силы *стояния за правду*. Красная звезда и флаг с серпом и молотом — сплошь оккультные знаки — обращались в душе России в голгофский символ — вот где подлинное чудо русской истории, если воспользоваться формулой архимандрита Константина (Зайцева). Ленин, Сталин и Дзержинский, Луначарский и Ярославский вместе со всем их “чрезвычайным аппаратом” ничего не могли с этим поделывать: в руку России вкладывали коммунистический меч, а она его — как и все иноземные дары — переделывала в православный Крест»<sup>7</sup>. Советская власть, коммунистическая идеология, паразитируя на исконно религиозном, православном мироощущении народа, используя формы и формулы, заимствованные из христианства, не учла силы этих форм. Форма перерабатывала содержание, а не наоборот, как того хотела власть. И народное сознание воспринимало всю пропагандистскую риторику с большой поправкой. Большевики, создавая свою новую религию, думали, что произойдет так, как произошло, когда на смену Риму и Афинам пришла христианская Византия, которая взяла некоторые формы языческой античности и воцерковила их, наполнив новым содержанием. Но советская власть просчиталась. Даже *форма истины* сильнее *живого содержания*. В результате многие, в том числе главные атрибуты советской власти воспринимались народным сознанием совсем не в марксистско-ленинском ключе: «Когда Леонтьев и Соловьев предсказывали приход на Русь антихриста, они не могли видеть того, как встретит его русская душа. Ныне... мы знаем, что русская душа встретила его... невидимым Крестом за видимым красным флагом»<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Там же. С. 170—171.

<sup>6</sup> Казин А. Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. — СПб.: Алетейя, 2000. С. 401.

<sup>7</sup> Там же. С. 399.

<sup>8</sup> Там же. С. 396—397.

В 1941-м, в День всех святых, в земле Российской просиявших, 22 июня, началась Великая Отечественная война. Русская поэзия пошла на фронт. Для передачи всего ужаса войны, злодеяний врага язык агиток не годился. Слишком пуст и легковесен он. Масштаб горя можно было адекватно передать только библейскими, евангельскими словами, такими как в стихах 1941 г. С. Наровчатова:

*На церкви древней вязью: «Люди — братья».  
Что нам до смысла этих странных слов?<sup>9</sup>  
Мы под бомбежкой сами как распятья  
Лежим среди поваленных крестов...*

Или:

*Я проходил, скрипя зубами, мимо  
Сожженных сел, казненных городов,  
По горестной, по русской, по родимой,  
Завещанной от дедов и отцов.*

*Запоминал над деревнями пламя  
И ветер, разносивший жаркий прах,  
И девушек, библейскими гвоздями  
Распятых на райкомовских дверях...*

(«В те годы»)

Распятие на райкомовских дверях — страшный образ зверства фашистов и потрясающий символ, в котором Крест и звезда не противостоят друг другу, а соединяются в единстве общего страдания.

Надо сказать, что власть поняла, что без Креста ей не одолеть врага. В годы войны по указанию Сталина была отменена всякая антирелигиозная работа, многих священников вернули из лагерей и с фронтов, открыли сотни храмов, был разрешен Поместный собор, на котором Русская православная церковь вновь обрела патриарха. Силой только оружия, увенчанного красной звездой, победить мы не смогли бы. Необходима была сила духа, осененная православным крестом. В Великой Отечественной войне победил крещеный народ, православный народ. Есть воспоминания архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Шаховского)<sup>9</sup>, который служил в те роковые годы в Берлине. Он по долгу службы окормлял лагерь советских военнопленных и был поражен, как быстро из этих военнопленных, многие из которых были рождены уже при советской власти и в сознательном возрасте не ходили в церковь, составлялся церковный хор. Просыпались память и вера, заложенные на генетическом уровне. Безбожные пятилетки не смогли изменить «духовный геном» русского человека. Молитвы тысяч мучеников, пострадавших от «безбожных власти» в 20—30-е гг., были услышаны. К этому великому хору присоединился и многомиллионный хор «убиенных на поле брани, живот положивших за веру, народ и отечество», хотя они и носили звездочку на пилотках и шапках. Однако в родную землю звездочка с головы и нательный крестик с груди уходили вместе, мирно, как с миром и сознанием выполненного долга уходили и воины, — с осознанием исполнения наивысшего долга — долга любви, ибо «нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15:13).

<sup>9</sup> Иоанн (Шаховской), архиеп. Избранное. — Петрозаводск: Святой остров, 1992.





Поэты, не терявшие органичной связи с народным мироощущением, миро-созерцанием, с настоящим русским словом, крещенным в водах языка церковно-славянского, не могли не быть, пусть, может, сначала и неосознанно, вместе с Крестом, а значит, со Христом. Те страдания, которые выпали на долю народа, в равной степени выпали и на долю русской литературы. А все людские страдания — есть страдания Христа.

В 1947 г. в большую литературу вступил удивительный мастер слова, ведущий свою поэтическую родословную от «крестьянских поэтов», прежде всего Николая Клюева, расстрелянного в 1937 г. (Николаю Клюеву он посвятит одно из своих стихотворений). При этом он совсем не был антисоветчиком, диссидентом, борцом с режимом. Он просто был настоящим русским поэтом. Звали его Николай Тряпкин.

*Нет, я не вышел из народа.  
О, чернокостная порода!  
Из твоего крутого рода  
Я никуда не выходил...*

Геннадий Красников отмечает, что «за долгую жизнь при советском строе он, по существу, так и не стал советским писателем, оставаясь русским поэтом в добольшевистском значении этого понятия... “Не сумели меня прокрусты / уложить на свою доску...”»<sup>10</sup>. Тряпкин своим творчеством показал — и в этом его принципиальная заслуга, считает современный критик, — какая художественная и философская мощь заключена в фольклорной линии отечественной литературы. Только это не широкая фольклорная линия, в которой было и кощунственное скоморошество, но фольклор, воспринявший всецело духовные соки христианской веры.

*Значит — снова в путь-дорогу,  
Значит — вновь не удалось.  
Значит — снова, братцы, — с Богом!  
На авось, так на авось.*

*Что нам отчее крылечко!  
Что нам брат и что нам друг!  
Ты катись, мое колечко,  
Хоть на север, хоть на юг.*

*Умираем, да шагаем  
Через горы и стада.  
А куда идем — не знаем,  
Только знаем, что туда:*

*В те края и в те предместья,  
Где дома не под замком,  
Где растут слова и песни  
Под лампадным огоньком.*

*Провались ты, зло людское,  
Все карманы и гроши!  
Проклинаю все такое,  
Где ни Бога, ни души...*

(«Русь»)

<sup>10</sup> Красников Г. Н. Указ. соч. С. 165.



Это позднее стихотворение дает ключ к уразумению пути поэта, по которому он шел сам и призывал нас идти вместе с ним. Еще в стихах 60—70-х гг. Николай Тряпкин наставлял любить землю:

*Я не был славой затуманен  
И не искал себе венца.  
Я был всегда и есть крестьянин —  
И не исправлюсь до конца.*

*И вот опять свой стих подъямлю  
Пред ликом внуков и сынов:  
Любите землю, знайте землю,  
Храните землю до основ...*

В начале 80-х он нашел точное определение земле, из которого становится ясно, почему он так любит ее, почему эта любовь священна:

*Среди лихой всемирной склоки,  
Среди пожаров и смертей  
Все реки наши и потоки  
Для нас все ближе и святей,*

*И каждый цвет, и прозябанье,  
И солнца вешнего набат...  
Земля моя! Мое сказанье!  
Мой неизбывный Вертоград!..*

Земля — Вертоград. Церковнославянское слово с большой буквы отсылает нас к эдемскому саду. Отблеск райской красоты в падшем, но все же помнящем Творца мире, — вот то главное, что открывается в «земных» стихах Николая Тряпкина. Вообще, в начале 80-х гг. из-под пера поэта появляются удивительные, глубокие стихотворения, в которых осмыслиется прошлое и настоящее советской — тогда еще — России, например стихотворение «Стихи о борьбе с религией». Произведение автобиографическое, Тряпкин повествует о реальных событиях, очевидцем которых был сам, о своем отце, рушившем храм, о своих чувствах и мыслях, которые он испытывал при виде этого разрушения.

<...>

*И пришел я туда — посмотреть на иную заботу!  
Не могу и теперь позабыть той печальной страды —  
Как отцовские руки срывали со стен позолоту,  
Как отцовский топор оставлял на иконах следы.*

*Изломали алтарь, искрошили паркетные плиты,  
И горчайшая пыль закрывала все окна кругом.  
И стояли у стен наши скорбные тетки Улиты,  
Утирая слезу бумазейным своим лоскутком.*

<...>

*Я любил эти своды, взлетавшие к высям безвестным,  
И воскресные хоры, и гулы со всех ступеней...  
Этот дедовский храм, возведенный строителем местным  
И по грошику собранный в долах Отчизны моей!*

<...>

*Пусть послушает внук — и на деда не смотрит столь криво:  
Хоть и робок бывал, а любил все же правду старик!..  
Ты прости меня, Боже, за поздние эти порывы  
И за этот мой горестный крик.*

(«Стихи о борьбе с религией»)

В те годы у Николая Тряпкина возник, можно сказать, целый цикл, в котором осмыслиется пройденный безбожный путь и звучит нота покаяния за себя и за всю страну. А уже в новое время, в 1993 г., написано одно из лучших стихотворений поэта, где дан потрясающий образ Матери-России XX в., а может быть, образ России вообще — на все времена:

*Когда Он был, распятый и оплеванный,  
Уже воздет  
И над крестом горел исполованный  
Закатный свет,  
Народ притих и шел к своим привалищам —  
За клином клин,  
А Он кричал с высокого распяльца —  
Почти один.  
Никто не знал, что у того Подножия,  
В грязи, в пыли,  
Склонилась Мать, Родительница Божия —  
Свеча земли.  
Кому повем тот полустон таинственный,  
Кому повем?  
«Прощаю всем, о Сыне Мой единственный,  
Прощаю всем».  
А Он кричал, взывая к небу звездному —  
К судьбе Своей,  
И только Мать глотала кровь железную  
С Его гвоздей...  
Промчались дни, прошли тысячелетия,  
В грязи, в пыли...  
О Русь моя! Нетленное соцветие!  
Свеча земли!  
И тот же крест — поруганный, оплеванный.  
И столько лет!  
А над крестом горит исполованный  
Закатный свет.  
Все тот же крест... А ветерок порхающий —  
Сюда, ко мне:  
«Прости же всем, о Сыне Мой страдающий:  
Они во тьме!»  
Гляжу на крест... Да сгинь ты, тьма проклятая!  
Умри, змея!..  
О Русь моя! Не ты ли там — распятая?  
О Русь моя!..  
Она молчит, возревши к небу звездному  
В страде своей.  
И только сын глотает кровь железную  
С ее гвоздей.*

(«Мать»)





Такое понимание, такое восприятие не позволило поэту стать либерал-большевиком, оплеывающим и отвергающим недавнее прошлое своей Родины. Прозорливое око поэта видело, что, уйдя от Звезды, к Кресту мы не пришли. Изгнанный бес привел семь злейших: «Нынче в России бесчинствуют подлые духи, / В каждом из нас теперь столько волков и волчат!..» Иные символы стали путеводными знаками для многих и многих.

Скорбь за поруганную страну, за вновь обманутый народ порождает в поэтическом мирозерцании Николая Тряпкина удивительную мифологему единства красной и Святой Руси, единства в страдании и единства в надежде будущего воскресения: «Ликуйте, звери, пойте, веси, / Трубите с Волги на Дунай! / И вот кричим: Христос воскрес! / Цвети и славься, Первомай!» Только ошибется тот, кто решит, что для Николая Тряпкина Советский Союз и Святая Русь — это одно и то же. Нет, поэт прекрасно осознает высоту и чистоту Святой Руси, которую можно обрести только покаянием, только с Божьей помощью, положив к подножию Голгофы все то лучшее, что было в нас всегда, и в советский период в том числе:

*За великий Советский Союз!  
За святейшее братство людское!  
О Господь! Всеблагой Иисус!  
Воскреси наше счастье земное.*

*О Господь! Наклонись надо мной.  
Задичали мы в прорве кромешной.  
Окропи Ты нас вербной водой,  
Осени голосистой скворешней.*

*Не держи Ты всевышнего зла  
За срамные мои вавилоны —  
Что срывал я Твои купола,  
Что кромсал я святые иконы!*

*Огради! Упаси! Защити!  
Подними из кровавых узилищ!  
Что за гной в моей старой кости,  
Что за смрад от бесовских блудилищ!*

*О Господь! Всеблагой Иисус!  
Воскреси мое счастье земное.  
Подними Ты мой красный Союз  
До Креста Своего аналая.*

(«Вербная песня»)

Поздние стихи Николая Тряпкина удивительно перекликаются со стихами другого поэта, сумевшего преодолеть годы безбожия с чистой душой и прийти к вере. Глеб Горбовский тоже наделен зрением пророка-поэта, способного различать духов. Прокомментировав события августа 1991 г. шуточной частушкой: «Что за странная страна, / Не поймешь — какая? / Выпил — власть была одна. / Закусил — другая», — поэт увидел в происходящем не пришествие свободы, но событие иного рода:

*Народ — суров, толпа — спесива...  
На площадях вершится труд!  
Увы — ни лысый и ни сивый, —  
нас от беды не уведут...*

*Кумир ли, вождь — исчадье прессы.  
Им — возмуцать, нам — изнывать...  
...Все это — бесы, бесы, бесы! —  
На них ли сердцу уповать?!*

Снова бесы! Одни бесы сменяют других, и «мерзость запустенья на месте святе».

Образ поруганного храма возникает в стихотворении «Снаружи — храм. Хотя и без креста...»:

*<...>  
Не красный клуб здесь был и не вертеп:  
всего лишь — цех, производящий ширпотреб.  
На фресках — доски. Острия гвоздей  
уходят в роспись, как в тела живых людей.  
О городок, в своем ли ты уме?!  
На окнах — ржавые решетки, как в тюрьме.  
Но стекол нет. Гуляет ветерок.  
И сердце просится из склепа — за порог.  
Не запустенье ощутила грудь,  
но отращенье! Как сюда вернуть  
любовь и святость? Как избыть позор?  
Чтоб просиял народа мутный взор!..  
...Снаружи — храм. Хотя и без креста.  
Внутри — Россия. В ожидании Христа.*

Примечательный образ России. Она не храм! (Об этом поэт свидетельствовал еще и в другом стихотворении: «Россия — далеко не храм / и не собор, не кроткая обитель. / Она — барак, где вечный тарарам! — / и стыд, и срам, разборки в гнусном виде...») Но она внутри храма, поруганного, оскверненного, но храма, у невидимого престола которого стоит ангел и сам Христос, ожидающий возвращения блудных детей. Поэт с болью возносит свою молитву за Россию, видя, как она погибает в новой смуте:

*Во дни печали негасимой,  
во дни разбоя и гульбы  
спаси, Господь, мою Россию,  
не зачеркни Ея судьбы.*

*Она оболгана, распята,  
разъята... Кружит воронье.  
Она, как мать, не виновата,  
Что дети бросили ее.*

*Как церковь в зоне затопленья,  
она не тонет, не плывет —  
все ждет и ждет Богоявления.  
А волны бьют уже под свод.*



Новая Россия 90-х отнюдь не избавилась от бесовской одержимости. Во второй раз свершился великий обман. Вместо свободы для народа мы получили свободу власти от народа.

*В Кремле, как прежде, Сатана,  
в газетах — байки или басни.  
Какая страшная страна!  
Хотя и нет ее прекрасней...*

*Как черный снег, вокруг Кремля  
витают господа удачи.  
Какая нищая земля!  
Хотя и нет ее богаче...*

*Являли ад — сулили рай,  
плевались за ее порогом...  
Как безнадежен этот край!  
Хотя и не оставлен Богом...*

Богом не оставлен наш край, именно поэтому и отпущены нам страдания для очищения, искупления грехов. И главный из них — грех цареубийства, о котором говорил митрополит Иоанн (Снычев). Глеб Горбовский точно так же осознает наше положение и состояние:

*Вот мы Романовых убили.  
Вот мы крестьян свели с полей.  
Как лошадь загнанная, в мыле,  
хрипит Россия наших дней.*

— «За что-о?! — несется крик неистов, —  
за что нам выпал жребий сей?»  
За то, что в грязь, к ногам марксистов  
упал царевич Алексей.

Но кровь царя и его семьи, грех цареубийства не только на красных, но и на белых, среди которых монархистов было крайне мало. В основном белые вдохновлялись идеями Февраля, т. е. идеями, предающими монархию. Без Февраля не было бы и Октября! Прошло сто лет, но точка в гражданской войне, к сожалению, не поставлена, и не поставлена она по той причине, что подлинного всенародного покаяния не свершилось. А что касается примирения белых и красных, то Глеб Горбовский в своих стихах дал потрясающий по трагичности и величию образ символа-памятника, который теме примирения, на наш взгляд, исчерпывает до конца:

*Когда-нибудь, во времени бесстрастном,  
воздвигнут памятник — не белым и не красным,  
а просто — гражданам страны,  
их крестным мукам,  
что воевали, кровные,  
друг с другом.*

*То будет мрамор — не слепой, не плоский,  
то будет плоть,  
но не Венеры плоть Милосской.  
То будет Мать:  
фуфайка, плат, кофтенка,  
два бездыханных — на руках — ребенка.*

Православный публицист М. Назаров в книге «Тайна России» писал: «В XX веке Россия распята, но не побеждена духовно. Русский народ с безмерным терпением перенес от мира такие испытания, какие ни один европейский народ не выдержал бы. <...> После векового атеизма эти страдания и терпение, конечно, далеко не всеми осознаются религиозно, но совесть и обычай народа все же во многом сохранили христианскую основу»<sup>11</sup>. Русский народ, родившийся в крещальной купели, русское сознание, сформированное православной верой, всегда были способны перемолоть иноприродное явление, навязанное чуждыми русскому духу деятелями. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Что будет дальше, кто победит, Святая Русь или Новый Вавилон, — зависит от нас и от промысла Божьего.



---

<sup>11</sup> Назаров М. В. Тайна России. Историософия XX в. — М.: Русская идея, 1999. С. 551.

Екатерина ГИЛЕВА, Александр ГИЛЕВ

## ЕХАТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ КОНЧИТСЯ МАТЕРИК

В этом нет ничего сверхъестественного — доехать до Владивостока на мотоцикле. Этот путь ежегодно совершает множество мотопутешественников из разных стран. Один из самых популярных маршрутов — Владивосток — мыс Рока\*. По сравнению с большинством из этих байкеров мы салаги: Новосибирск — Владивосток — Улан-Батор, всего лишь шестнадцать тысяч километров — только на старте и в первый раз это расстояние может казаться невероятным.

Мотоцикл BMW R 1150 RS 2002 года выпуска, проверенный временем, надежный. Единственный его недостаток — необходимость ровного асфальта.

Багаж небольшой: палатка, спальники, пенки\*\*, смена белья, теплая одежда, дождевики. Месяц в одних штанах — и в дождь, и в жару. Есть шуточная поговорка: «Чистый байкер — горе в семье». Когда в очередной раз возвращаешься с трассы живым, дорожная пыль кажется своеобразным благословением.

### День 1. Новосибирск — Ачинск

Мы выехали 18 июля. Задача на первый день — доехать до Ачинска.

Из всех дорог до Кемерова выбираем ту, что через Танай. Эта трасса утром буднего дня пустынна — в отличие от той, что ведет через Болотное. Здесь почти нет фур, мало придорожных деревень. А главное — на въезде в с. Журавлево, на границе Кемеровской и Новосибирской областей, прямо на берегу Танаева пруда — кафе, где можно отобедать не просто дешево и вкусно, а очень-очень вкусно и очень дешево.

Немолодая официантка говорит: «Я люблю мотоциклы. Только боюсь их. Здесь часто обедают байкеры, и все, как один, едут во Владивосток, будто там медом намазано».

За окном — огромное мелководное озеро, по его поверхности медленно дрейфуют травяные острова. Есть легенда, что посреди водоема или в его глубине есть «Кучумов остров», на котором сокрыты несметные ханские богатства.

Идет дождь. Говорят, что выезжать по дождю хорошо — это плачет природа родного города, это небо скучает. Хочется верить, что этот дождь предвещает нам благополучное возвращение. Весь день мы едем по самому краешку тучи.

---

\* Мыс Рока (Португалия) — самая западная точка Европы.

\*\* Туристические коврики из вспененных материалов.



А под Кемеровом в канаве спит в траве большой плюшевый пони и всем своим видом показывает, что уже приехал.

Вечереет. В лучах заходящего солнца на въезде в Ачинск нас встречает огромный глиноземный комбинат, зловещий и прекрасный: постапокалиптические пирамиды, дымящие трубы, красное солнце, пылающее в изогнутых лужах.

Ночуем на байк-посту. Это такие места, где любой мотопутешественник может найти место для ночлега, ужин, мотомастерскую и обрести новых друзей. Байк-посты есть во многих городах. Денег с постояльцев в таких местах не берут, чаще всего имеется лишь копилка: у кого есть возможность, сколько-то в нее бросают, у кого нет — не страшно. Все путешествующие на мотоциклах — друг другу братья с первого взгляда и словом, и делом. Даже если говорят на разных языках и могут объясниться лишь жестами и улыбками.

За окном всю ночь проносятся поезда, фуры, неистовствует гроза, и кажется, что дождь хочет смыть с лица Земли все, но не может и оттого идет еще отчаяннее. Под такой шум снятся самые лучшие сны — сны о дорогах.

## День 2. Ачинск — Канск

Утро над Ачинском хмурое, но быстро приходит в «походное» состояние.

На одной из заправок объездной дороги Красноярска обитает стайка собак, на первый взгляд они милые, но, как только пытаемся ехать, они бросаются под колеса и пытаются ухватить за ноги. Одна из них гналась за нами по трехполосной дороге метров триста. Как только они с таким рвением до сих пор там живы, непонятно.

Погода портится, начинается дождь. Все вокруг внезапно сходят с ума: попутные машины пытаются перепрыгнуть нас, встречные — непременно взять на таран.

Подъезжаем к ремонту моста, светофор: то встречный поток едет, то наш. На мосту затор — машинка, которая едет первой, заглохла. Водитель тщетно пытается столкнуть ее с места. Идущие следом пытаются ее объехать, рискуя притереться бортами и надолго закупорить движение. Идет дождь, и, сидя в промокших штанах, откровенно завидуешь «коробочникам» — у них есть крыша над головой, можно откинуться на спинку мягкого сиденья и слушать музыку.

По узкому краешку вдоль ограждения минуем затор. Да, нужно было остановиться и помочь пареньку оттолкать его заглохший автомобиль, но подумалось: «Там столько машин. Пока не отодвинут — ведь не проедут. Помогут».

Сразу после ремонта моста — серьезная авария, машинка залетела под встречную фуру. Фура в кювете, машинка, обгоревшая, посреди дороги, еще одна застряла рядом на пригорке (как туда попала — неизвестно). До ремонта моста — метров двести, там все ползут, как черепахи. Как они сумели там столкнуться?..

В Канск въезжали на закате. Много заколоченных домов. Тревожная встреча с захолустьем. На улицах мелькают пацаны, всем своим видом напоминающие о новосибирских окраинах 1990-х гг.

В Канске кого-то очень интенсивно ловит полиция: главную магистраль города перекрыли и проверяют все машины подряд. Когда мы заселились в отель, туда тоже пришла полиция, о чем-то долго говорили с администратором, на нас даже не взглянули. «Вы по тревожной кнопке?» — спрашивает администратор полицейских о цели визита. «Хуже», — устало отвечает лейтенант.

Но вместе с тем город прекрасен, его маргинальность — сакральна. Здесь доживает XX век. За мостом через реку Кан виднеется панельная девятиэтажка, у нее на крыше сохранились надписи: «Магазин СТАРТ», «ДОМ КНИГИ», — как будто советское детство машет нам рукой. Утром нас еще благословит с пригорка статуя Ленина, выкрашенная «под золото».

### День 3. К Иркутску

Выезжаем из Канска, почти сразу начинается дождь. Нас обгоняют два чоппера\*, Олег и Семен. С ними мы познакомимся только через две с половиной тысячи километров.

Утром проехали деревню Тины, в ней — река Погорелка, а на въезде в деревню — болото с торчащими черными стволами и мертвыми ветками, как в песне: «Из поганых болот чьи-то тени встают». Из интересных названий где-то встречались еще потом деревня Шаманка и в ней река — Каторжанка.

Мы ехали, а Иркутск все отступал. Едем третий день, четвертый. Декабристские места. Прежде казалось, что они где-то далеко — «во глубине сибирских руд», а они — вот, и солнце над ними светит обыкновенное, и Нижнеудинск запоминается почти часовой очередью на заправке. Мы и вправду уже далеко от дома, но километры до Владивостока, что еще впереди, кажутся невозможными, непроходимыми.

Подумалось еще, что у нас есть отчетливое стремление фотографировать руины и заброшенные дома. По фотографиям выходит, будто родина стоит на пороге небытия, но в реальности это совсем не так. За Канском, чем ближе к Иркутску, тем крепче деревни — много детей, хорошие дома, новая техника, в поселках — работающие заводы, живые, ухоженные поля, хорошие дороги.

Проехали очередной колхоз им. Ленина. За ним следом — колхоз им. Чапаева. В первой же деревне два пацана лет семи вдруг бросают свои игры и бегут вприпрыжку по траве вдоль трассы за мотоциклом и радостно машут руками. А мы машем им в ответ.

В деревне с чудесным ласковым названием Тулюшка остановились перед шлагбаумом на ж/д переезде. Кругом — поля сплошь в цветущем иван-чае до сопок на горизонте. И краски все яркие на закате. В нашем дневнике появилась запись: «Вдруг подошла девочка, красивая, загорелая, из деревенских, пальчики — видно, что к работе привыкли. Протягивает пластиковый стакан клубники: “Купите”. Саша говорит: “Нет, спасибо”. Она ко мне: “А вы хотите?” — “Нет, — отвечаю, — спасибо”. Она показывает на камеру, прикрепленную к моему шлему: “А что это у вас?” — “Камера”, — говорю. Она спрашивает: “А зачем?” — “Красивую природу снимать. Ты здесь живешь?” — “Да”. — “Красиво здесь”, — говорю я ей. Она смотрит на меня недоверчиво, грустно соглашается: “Красиво...” — и уходит куда-то в сторону. Я думаю: дурочка я. Это мое “красиво”, про это ей говорить не надо, это она и без меня знает, это для нее настолько очевидно, что об этом не говорят. Лучше бы клубнику у нее купила. Да только переезд открывается — ехать надо, деньги во внутреннем кармане, глубоко, да и куда с ягодой на мотоцикле... А остановиться есть ее — вечереет, кругом тайга, впереди четыреста километров до ночлега, надо быстрее ехать, не до клубники. Прости, девочка».

\* Чоппер — мотоцикл с удлиненной рамой и высокой передней вилкой.

У переезда с клубникой еще несколько детей. Дальше вдоль трассы стоят женщины с ведрами клубники, еще чуть дальше — старик... Детский базар, бабий базар... Собираются по интересам, чтоб не скучно было стоять. Неизвестно, насколько серьезен там этот клубничный приработок, но слева и справа от трассы часто встречаются ягодушки.

## День 4. К Иркутску

Поселок Куйтун. Краеведческий музей и общественная приемная Дмитрия Медведева в одном здании. Мы очень хотели попасть в краеведческий музей. Он должен был, согласно расписанию, открыться в 8:30. Но и в половине десятого в музее никого не было. Обидно, но история края нам не открылась. Едем дальше.

Фотографируемся у знака «Зима — 300 метров направо», это банально, но, действительно, «Зима близко». Километров через сто пятьдесят — поселок с названием Мальта, получается, что от Зимы до Мальты тоже не так далеко. Фотографируемся и со знаком «Мальта». Местные коровы ужасно любопытны и подходят знакомиться. Пастух говорит: «С Новосибирска? Жена у меня в Новосибирске от рака умерла. Дочка там живет».

Недалеко от Усолья-Сибирского город Тельма. Там храм Казанской иконы Божьей Матери — бело-голубой, над солнечным прудом. Кажется, что здесь поселилась старинная Москва. Ведь в русской истории так повелось, что все оседает в Сибири, как в кладовке, и чем глубже — тем долговечнее. Прекрасные храмы, подобные этому, мы встречали потом в селах неподалеку от Улан-Удэ и по пути из Улан-Удэ в Кяхту. Старинные они или новоделы — не столь важно. Важно видеть с трассы, как чуть внизу и вдалеке над серыми крышами высятся белая колокольня. Думается, что там, в дальнем углу родины, она точно дотягивается до Бога. Уму непостижимо, сколько «китежей» разбросано вдоль федеральных трасс.

От Иркутска до Слюдянки (южного берега Байкала) — чудесная дорога, правда, горная, довольно опасная. Грузовики ползут вверх и вниз по серпантину со скоростью пешехода. Они пахнут сожженным топливом и горящими тормозными колодками...

Наверху перевала — источник. Там на деревья повязывают ленточки, набирают воду и на счастье бросают монетки.

Вечером нам внезапно открылся Байкал! Настоящий! Огромный! Далеко внизу! А вслед нам выползала из-за перевала невероятная туча, похожая на кожаный бурдюк. С нее свешивалась белая пелена дождя, которая постепенно поглощала долину. Нам удалось сбежать к Байкальску, а над священным морем вышла огромная двойная радуга.

## День 5. Улан-Удэ

Видели чудесный Улан-Удэ на реке Селенге, его мосты, которые охраняют тигры и бегущие косули — в городе множество памятников. Там сухая степь и на горизонте — низкие желтые горы. По сравнению с другими сибирскими реками Селенга похожа на нищенку, на бродячую монахиню — берега ее пусты и пологи, воды текут медленно, так что порой речная гладь выглядит неподвижной. Она извивается широкой белой лентой по долинам, привязывает друг к другу Монголию и Россию.

В ста километрах от Улан-Удэ — поселок Мухоршибирь. Там в придорожном чистом деревянном туалете, вытянувшись в солнечном луче, спал довольный дымчатый котик, положив лапку на упаковку от детских салфеток. И над ним плавали пылинки. Здравствуй, Забайкалье!

## День 6. К Чите

В дороге, особенно в дальней, становишься суеверным. Чудом и Божьим даром кажется каждый успешно пройденный километр, каждый поворот, каждая ямка в асфальте.

К полудню мы достигли поселка Хохотуй. Издали он кажется светлым и просторным: дома посреди желтой степи — как зерна на ладони у Бога. Вблизи поселок грустен — он жмется к трассе в частом и чахоточном сосняке. Въехали в него, на центральной улице встретили пацанов с неухоженными сельскими «Уралами». Они фотографировались с нами как с достопримечательностью. Даже привели ребенка — девочку лет трех, посадили ее на мотоцикл к нам на колени, сфотографировали. «А чего вы в поселок-то наш заехали?» — спрашивают пацаны. Отвечаем, что название заинтересовало — Хохотуй. Пацаны говорят: «Ага, веселое, мы тут аж обхохотались все...» Один из них показывает на свой дом, говорит: «Ты включи камеру, дом вот сними. Смотри — на нем резьба старинная. Нигде больше такого дома нет. Да ты посмотри, посмотри: там даже имя мастера вырезано! Мы три года тут живем, я сам это недавно заметил». А когда прощались, спохватился: «Даже ж не познакомились! Меня Женис зовут, — и пояснил: — Казах я». А вслед всплеснул руками: «Ой, мы же даже поесть вас не пригласили!..» Грустное место этот красивый Хохотуй — станция на Транссибе...

А на полпути от Улан-Удэ до Читы в кафе встретился волшебный дальнобойщик, сказал, что двадцать лет ездит по трассе Красноярск — Владивосток, рассказал множество историй. А у него самого фура поломалась, а начальник отправил ему запчасть, которая не подходит. Он рассказывает нам: «Я ему говорю: а как я ее поставлю, она же не подойдет! А он мне: продай эту, купи какую надо, у меня нет денег на нужную. А где я ее тут в этих деревнях продам?» И говорит на прощание: «Да вы тоже, можно сказать, дальнобойщики. Через тридцать километров будет перевал, там наверху — белая ступа, ты положи монетку бурятскому бурхану, поблагодари за дорогу, попроси, чтобы техника не ломалась, чтоб хорошо все было в дороге».

В тот день мы ночевали в подсобке придорожного кафе. На полу, на пенках, в куртках, в сапогах. А на следующий день между Читой и Хабаровском среди сухих желтых степей нас от всего сердца кормил обедом один решительный офицер, прошедший две войны.

## День 7. К Могоче

Вдоль трассы много крестов и цветов. На серпантинах — битые заграждения, на них — как лекарства на ранах — ленты и цветы. Позже, за сто тридцать километров до Биробиджана, промелькнут справа четыре креста в ряд, в свежих венках.

В городе Могоча (пятьсот километров от Читы) на одном из байк-постов байкеры говорят: «А дальнобой хорошо к нам относятся, за своих принимают». Там мы знакомимся с Семеном и Олегом, теми, что обогнали нас за Канском.

Они сами из Хабаровска, ездили в Москву и Питер, теперь возвращаются. Говорят, что прошли в этот раз двадцать пять тысяч километров.

## День 8. В Латифундию

До следующего байк-поста от Могочи — тысяча километров, он в селе Екатеринбургославка.

Пройти в Забайкалье за день тысячу километров не так уж и сложно: трасса очень хорошая и почти пустая.

Вечером ветер над Свободным пахнет жареной картошкой. А может, это и есть запах свободы? Да, определенно, свобода пахнет жареной картошкой. Бензин на заправке под Екатеринбургославкой пахнет пропastiной, огурцами и сахарными бабочками.

Хозяин байк-поста — невероятный человек. Свой дом он превратил в волшебную страну, «Латифундия» — называет он ее. Он спроектировал и смонтировал настоящий лифт, который возит гостей с первого этажа гаража на второй, он выкопал у себя на участке маленький прудик и поселил туда резинового крокодила, у него в огороде множество сортов цветов, ягод и прочего. Его отец — художник, чеканщик по металлу, много десятилетий он преподает изобразительное искусство в местной школе.

Мы ночуем на чердаке и слушаем во сне поезда, проносающиеся по Транссибу.

## День 9. К Хабаровску

Чуть более пятисот километров до Хабаровска. Не такой уж он и дальний, этот Дальний Восток...

В Хабаровске от перспективы ночевать под открытым небом нас спас человек по имени Роман. Накормил ужином. У него в квартире — байк-пост и огромная коллекция автомобильных и мотоциклетных номеров со всего мира. «Это номер, с которым один байкер прошел кругосветку, — говорит Роман, — потом мне его прислал...» Он рассказал, что в 1958, кажется, году, когда дорог практически не было, группа мальчишек вместе с педагогом на советских мотоциклах прошли путь от Хабаровска до Байкала. Они несли мотоциклы на себе, пилили деревья, разбирали завалы...

## День 10. Владивосток!

Во Владивостоке нас приютил байк-пост мотообъединения «Братство Востока». Если в Хабаровске, после девяти полных дней дороги, мы всерьез думали: «Доедем до Владивостока, а обратно вместе с мотоциклом погрузимся в поезд», — то теперь, помывшись, выспавшись и постиравшись, мы решили, что не только поедем обратно на мотоцикле, но еще и Монголию по пути посетим. Если бы не заканчивался отпуск, запланировали бы путешествие еще на месяц, а то и больше.

Город Владивосток для езды на мотоцикле подходит мало: сопки, бесконечные спуски и подъемы «с приподвыподвертом». В нем сложно ориентироваться: чтобы попасть в видимую точку, порой нужно изрядно покружить. В нем невероятной красоты мосты и бухты. И маяк. Город моряков и рыбаков. С одной из высоток можно часами наблюдать, как работает грузовой порт: днем и но-

чью огромные краны перемещают бесконечные контейнеры, встают на погрузку суда, ползает вдоль контейнеров железнодорожный состав с разноцветными вагонами.

И на острове Русском с какой-то внезапной грустью становится понятно, что край огромной родины достижим. И вся она на самом деле не то чтобы маленькая — она «объятная». Будто бы объять ее можно и нужно. Родная, теплая, близкая до самого краешка.

## Дни 14—20. Возвращение

Мы ехали той же дорогой, другой там нет, разве что через Китай, но это слишком сложно, хоть и было бы короче на тысячу километров.

Женщина и девочка лет десяти идут вдоль трассы из Будукана в Лондоко. В Будукане — женская исправительная колония, в Лондоко — известковый завод. На женщине розовый платок, черный пиджак, халат и кроссовки. Вдоль трассы — Транссиб. Он торчит из этих поселков как трубка аппарата искусственного дыхания.

Станция Жанна, сто пятьдесят километров не доезжая Могочи. В 2010 г. одним из местных жителей там был убит мотопутешественник Алексей «Scutt» Барсуков. Теперь там стоит памятник «Памяти невинно убиенных в пути». Мы заезжаем к нему на закате, ночевать планируем в Могоче. Вспоминаются рассказы людей, встреченных в пути: «Это сейчас дорога хорошая. А еще десять лет назад была гравийка. Две тыщи — гравийка. Доходили до Читы — меняли подвеску. Сколько тут народу недоехавшего по лесам лежит, сколько тут людей сгнуло. Едешь по маршруту, фур пятнадцать по обочинам горит». А что было 20—25 лет назад, когда процветал «перегон» японских автомобилей?.. Едем, сгущается тайга, кажется, что среди сосен стоят тени всех тех, кто по разным причинам не доехал.

## День 20. Монголия

Девушка-пограничник у последнего забора проверяет паспорта. Мы спрашиваем: «Все, там уже совсем Монголия?» — «Да, там уже Монголия», — улыбается она и желает нам счастливого пути. Вечереет, до Улан-Батора триста сорок пять километров. Надо срочно ехать.

Когда въехали в Монголию, показалось, что границы мы не пересекали: те же степи, в поселках похожие дома, только цвета менее яркие и фасады не крашены. Постовые полицейские стоят на перекрестках в этаких «грибочках», и на машинах большими-большими буквами написано: «POLICE».

Вдоль трассы от границы до Улан-Батора очень много населенных пунктов, порой один как бы переходит в другой. Есть большой город — Дархан. Мы остановились отдохнуть на его окраине, рядом с юртами (придорожным кафе), отсюда вышли две девочки десяти и одиннадцати лет, сестренки, заговорили с нами по-монгольски. Мы сказали, что понимаем только по-русски и по-английски, что мы русские. Девочка улыбнулась, спросила по-английски, как нас зовут, откуда и куда мы едем, будем ли мы останавливаться в Дархане. И еще они с сестренкой с нами сфотографировались.

Закат в Монголии долгий, воздух какой-то иной вязкости, в сумерках степь становится коричнево-фиолетовой.

## День 22. О русских

В Улан-Баторе два дня пытались найти русскоговорящего экскурсовода. Может, не там или не так искали, но все напрасно. На третий день он случайно нашел нас сам.

Сидим на лавочке в аллейке одной из центральных улиц, пьем «Фанту» персиковую и виноградную (есть в Монголии такая), подходит к нам монгол лет пятидесяти. «Вы русские! Я, — говорит, — с 1999 года работаю экскурсоводом, вожу по всей Монголии. Хочу дать вам визитку». Слово за слово, он присел с нами на лавочку, заговорил: «В России у каждого есть знакомый, который служил или работал в Монголии. Если у вас нет таких, я не верю, что вы из России», — и смеется. Говорит: «Монголия сейчас больше тяготеет к Европе, к Америке. Но исторически так сложилось, что без России не будет монгольской государственности. Монголии надо держаться России, молодежь сейчас этого не понимает, потому что не знает истории. Вы знаете барона Унгерна? Так вот он спас Монголию от китайских захватчиков. Страна была оккупирована китайцами. Он их разбил, у него воевали и русские, и буряты... и другие, и татары... Официально считается, что Монголию спас Сухэ-Батор. Да, он воевал, хорошо воевал, но его усилия были не столь значительны. Сегодня много книг написано, много исторических данных известно, но мало кто читает. Так что Монголию защитили русские, и белые, и красные. А от китайской культуры мы далеки, намного дальше даже, чем от русской. Мы, по сравнению с китайцами, совсем другие».

Вот такой неожиданный получился разговор. Он вручил нам визитку, показал альбом своих поездок с туристами, пожелал счастливого пути и исчез так же внезапно, как и появился.

## День 23. Город

Гуляли по Улан-Батору, заглянули за пределы центральной части. Там видны сопки и улицы — как речки, разливающиеся по сухим долинам.

Монгольские девушки очень красивы. Еще очень красивы монгольские бабушки, многие из них ходят в национальных халатах и в шляпках.

Еще видели кварталы из хрущевок, на многих достроен шестой этаж. Видели памятник маршалу Г. К. Жукову, на табличке написано, что он Герой Советского Союза и Герой Монголии.

Днем пошел очень холодный дождь, потом град. Обнаружилось, что на улицах вообще нет ливневки, поэтому кругом потекли реки воды. Осталось закатать штаны и продвигаться в направлении гостиницы.

## Дни 24—32. Домой

А потом снова были Улан-Удэ, Куйтун и Ачинск, и байкерские фестивали «Байкальский берег» и «Одной дорогой» (в Алтайском крае), поля подсолнечников и скалы Кольванского озера на границе с Казахстаном. И голос мамы в телефонной трубке был уже менее тревожным. И под колеса начали падать первые желтые листья. И с мотодрузьями из Новокузнецка мы ели огромный вкуснящий арбуз прямо на тротуаре у супермаркета в Поспелихе и доедали его так же, на асфальте, прощаясь, под камерами у служебного входа автозаправочной станции на развязке «Алтай — Кузбасс».

До следующего лета!

Михаил ХЛЕБНИКОВ

## «ПРОДОЛЖАЛ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ОШИБОЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ...»

*К истории одного забытого романа*

Год 1956-й прошел под знаком двух важных политических событий. Первое из них — XX съезд партии и развернувшаяся кампания разоблачения культа личности. Второе — венгерский мятеж, показавший, что период внешней экспансии коммунистической идеологии подошел к своему завершению. В художественной, культурной жизни страны 1956 г. — точка отсчета, связанная со стремительной идеологической мутацией романа Пастернака «Доктор Живаго». Из спорного, но интересного произведения, которое должно было быть напечатано в журнале «Знамя», роман превратился в «злостный антисоветский пасквиль». На фоне этих, безусловно, масштабных явлений и событий достаточно скромно выглядит публикация в этом же году романа Валентина Иванова «Желтый металл» и последовавшая за ней, непубличная по большей части, критическая кампания. Но как раз в этой затемненности и незаметности скрываются проблемы, настоящий объем и значение которых мы можем увидеть лишь спустя годы.

Собственно разговор о романе следует начать с краткого описания жизни автора и его творчества, без которого многие ключевые моменты книги останутся непонятными для современного читателя.

Биография Валентина Иванова, точнее то, что нам о ней известно, позволяет лишь обозначить пунктирной линией

основные события его жизни. Будущий писатель родился 31 июля 1902 г. в Самарканде. О своих родителях в автобиографии 1952 г. он пишет достаточно уклончиво: «Отец умер рано, его я не помню и воспитан матерью, учительницей французского языка. Работать начал с шестнадцатилетнего возраста с перерывами для окончания среднего образования». Несколько лет спустя в ответе на анкету Дома детской книги Иванов уточняет: «Работать я начал с весны 1918 г. грузчиком на кирпичном заводе... С работой на тачке я справлялся, так как был юношей скороспелым и физически очень сильным». Как мы видим, упор делается на раннее приобщение писателя к правильному социальному классу, призванное затемнить невнятное социальное происхождение: «не помню», обтекаемое «учительница французского языка». Также Иванов удачно забывает об учебе в гимназии, память начинает функционировать только после оздоровляющего знакомства будущего писателя с тачкой. В 1919 г. Иванов добровольцем вступает в Красную армию, но уже в начале следующего года демобилизуется, стремясь получить начальное образование. Школу он заканчивает уже в Пензе в солидном «ломоносовском» возрасте. Но, в отличие от архангельского гения, продолжить образование Иванов не смог. В качестве оправдания он ссылается на «материаль-



ные причины», что также вызывает вопросы. Возможный ответ скрывается в тех самых анкетных скороговорках. Получение высшего образования в те годы достаточно жестко увязывалось с безупречной классовой родословной — «без попов и дворян». Анкетные данные не просто принимались, но проверялись...

В середине двадцатых годов Иванов переезжает в Москву и поступает работать экономистом на завод «Каучук». Начиная с 1935 г. Иванов выезжает в длительные командировки. В качестве строителя он трудится на возведении Уфимского нефтеперерабатывающего завода. В 1938 г. он приезжает в Омск, где работает начальником планового отдела на заводе автомобильных шин. Трехлетнее пребывание в Сибири самим Ивановым воспринималось не столько в качестве затянувшейся командировки, сколько как способ узнать о жизни людей, создавших оригинальную цивилизацию. Уже много лет спустя, размышляя об особенностях освоения Сибири, он пишет:

Сейчас как-то странно думать об этом длительнейшем процессе, который строил Россию самобытными действиями людей, на их страх и риск, без организации, без плана и субсидий, словом, без всего, что сегодня кажется неизбежно-необходимым.

Суровые условия требовали особого типа человека, который мог не просто выживать, но и обживать окружающий его мир. Этот особый тип выработался не путем ускоренной модернизации, но, напротив, в свободном обращении к основам русской культуры:

Старина виделась явно в предметах обихода и не менее явно — в самом порядке, в отношениях, в рассуждениях. Но была она никак не декоративной, а весьма практичной, рациональной даже и модернизирующей в том смысле, что такая новинка, как сепаратор для молока и все тому подобное, не нуждалась в рекламе. Прочно оставался духовный

уклад, по которому русский, не рассчитывая на помощь извне, «долг платил, в долг давал, в воду деньги бросал», — то есть кормил своих стариков, поднимал сыновей и растил дочерей для выдачи их замуж на сторону.

Знакомство с историей Сибири и ее людьми станет впоследствии одним из важнейших источников развития Иванова как писателя и человека. В 1950 г. своему сибирскому другу П. И. Кизирову он напишет:

Широта и раздолье Сибири потянули меня с новой силой. Если будет хоть малейшая возможность, проведу в ваших краях конец лета и осень будущего года... Во всяком случае, ни о каких черноморских курортах я не мечтаю. То ли дело сибирские степи и грандиозные озера!

Перед самым началом войны Иванов возвращается в Москву и получает новую должность — заместителя начальника сектора Наркомрезинпрома СССР. В дальнейшем он еще не однажды меняет должности и места работы, оставаясь при этом техническим работником среднего уровня. Ситуация изменяется в возрасте, когда люди обычно стараются не совершать резких движений, стремясь как минимум сохранить то, что есть. Для самоуспокоения мы называем это «житейской мудростью». В 1947 г. Иванов пишет несколько научно-популярных статей. Одна из них — «Скрытая сила воды» — публикуется в журнале «Знание — сила» в 1948 г.

Автор статьи именовался еще как «В. Д. Иванов, инженер». Но для себя инженер, точнее, бывший инженер Иванов принимает окончательное решение — он уходит в писательство. Зримым и быстрым подтверждением тому становится научно-фантастический роман «Энергия подвластна нам», главы из которого печатает тот же журнал уже в следующем году. Через два года роман выходит отдельным изданием в расширенном и дополненном

виде. Состоявшийся полноценный писательский дебют трудно признать удачей Иванова: роман переполнен всеми возможными идеологическими штампами и клише и демонстрирует отсутствие профессиональных литературных навыков.

Речь в нем идет о борьбе за «правильное использование» ядерной энергии. Как и положено, советские ученые, открывшие загадочный химический элемент «энергит», используют его мощь исключительно в созидательных целях. Используют не без размаха. Серией ядерных взрывов улучшается фарватер Северного морского пути, ядерной энергией же лечится рак... В западных странах технический прогресс становится заложником милитаристских, реваншистских сил. Там строится «небесная пушка», которая способна осуществлять лазерную бомбардировку Луны. О том, что представляют собой конструкторы небесной артиллерии, можно понять из портретной характеристики одного из них:

Голова с лысым черепом — остатки волос сохранились только над ушами и на затылке — сидела на длинной, сухой, морщинистой шее. Обтянутое пергаментной кожей лицо напоминало лицо египетской мумии. <...> Сутуловатость спины несколько уменьшала громадный рост герра Хаггера. Длинные руки оканчивались тяжелыми кистями. Сухие, жесткие, крючковатые пальцы с крепкими выпуклыми ногтями были покрыты пучками волос... Светло-серые глаза сидели в глубоких орбитах, окруженные припухшими, лишенными ресниц веками.

Для разминки, чтобы продемонстрировать серьезность намерений, герр Хаггер убивает профессора Форрингтона, заявившего: «Вы хотите, чтобы я выбрал? Я выбираю русских! Я раздавлю вас, негодяи, и я сумею это сделать, будьте вы прокляты! Я протягиваю русским руку! Они люди большой человеческой науки. Довольно крови!» Затем подельники Хаггера, «добавляя крови»,

расправляются с чернокожим солдатом Джимми — свидетелем убийства прогрессивного ученого.

Читатель, знакомый с классикой фантастической и приключенческой литературы, безусловно, должен ощутить нечто вроде эффекта дежавю, следя за похожими действиями героев романа. И действительно, образец вдохновения для начинающего автора спрятан не слишком далеко. Им является достаточно известный роман Ж. Верна «Пятьсот миллионов бегумы», изданный в 1897 г. Несмотря, как уже было сказано, на известность, этот роман трудно отнести к безусловным удачам великого фантаста. Руку французского писателя направляли не вдохновение с фантазией, а жажда политического реванша. Будучи патриотом, Верн болезненно переживал поражение своей родины во франко-прусской войне. Книга носит откровенно пропагандистский антинемецкий характер. Миролюбивому городу с прозрачным названием Франсевиль противостоит мрачный агрессивный Штальштадт, возведенный благодаря сумрачному тевтонскому гению Шульцу. Патологический мизантроп химик Шульц одержим простой и ясной идеей — захватить весь мир. С этой целью он создает... да, правильно, гигантскую пушку. Жители Франсевилля — созидатели и гуманисты, начинают бескомпромиссную борьбу за мир.

К сожалению, вместе с заимствованным сюжетом «молодому» писателю «пакетно» переходят и многочисленные его недостатки, справиться с которыми не смог и его маститый предшественник: описательность, декларативность, отсутствие динамики.

Сюжет «Энергии...» откровенно провисает, не в силах справиться с темпом повествования. Иванов, как и многие неопытные авторы, или прибегает к торопливому пересказу событий, или перегружает текст ненужными, избыточными деталями. Но на фоне откровенно беспомощного «научно-фантастического»

текста неожиданно сильными и точными выглядят природные зарисовки Иванова.

Серой тенью метнулась белка, оставив на мгновение зримую в воздухе стремительную черту прыжка, и исчезла в густом сплетении жестких словых ветвей.

В этом и заключается некоторая парадоксальность писательского дебюта: научно-техническая сторона книги, которая должна быть (в силу профессиональной компетентности автора) наиболее сильной, проигрывает ее необязательному элементу.

В целом роман, при всей его вторичности, выполнил важную для Иванова роль формальной заявки на право заниматься литературой. Это право он пытается закрепить следующими своими книгами, которые пишет с похвальной скоростью. На страницах все того же журнала «Знание — сила» он публикует в 1952 и 1953 гг. две крупные вещи, жанрово отличающиеся от его дебютного романа. Речь идет о романах «По следу» и «Возвращение Ибадулы». В первом из них Иванов прощается (как оказывается — навсегда) с научной фантастикой и начинает осваивать такую перспективную нишу, как шпионский роман — один из столпов советской массовой литературы середины прошлого века. К сожалению, в современной отечественной критике и литературоведении практически полностью отсутствуют исследования причин популярности шпионской литературы и текстуальный анализ ее образцов, что существенно снижает уровень нашего понимания той непростой и потому интересной эпохи.

Поэтому, не вдаваясь в детали, отметим основные черты отечественной шпионской литературы. В ней представлен дуалистический, почти религиозный взгляд на мир. С одной стороны, есть СССР-Космос — мир гармонии, красоты и порядка. С другой стороны, наличествует Запад-Хаос, единственная задача которого сводится к разрушению

Космоса. Шпионы — агенты Хаоса, пересекая границу двух миров, не столько выполняют конкретно поставленное «шпионское задание»: выкрасть чертежи, взорвать мост, убить талантливого изобретателя, — сколько самим фактом своего пребывания пытаются подорвать целостность Космоса. В этом отношении шпионский роман, в отличие от советской литературы 20—30-х гг., отказывается от идеи экспансионизма, победного шествия мировой революции и выступает в качестве художественного обоснования модели добровольной изоляции, автаркии не просто экономической, но и духовной. В данном аспекте обращение Иванова к шпионской литературе следует понимать не просто как прямолинейное следование конъюнктуре или объяснять продолжающимся поиском своей писательской ниши. Его привлекает образ самодостаточного, цельного общества-коллектива, отстаивающего свое существование в борьбе с внешней угрозой. В его творчестве, как мы увидим далее, названный образ не только получает постоянную прописку, но со временем поднимается до уровня полноценной художественной идеи.

Что касается содержательной стороны этих двух романов Иванова, то, с одной стороны, они демонстрируют несомненный профессиональный рост. Писатель научился технически грамотно расставлять в тексте сюжетные узлы, что положительно сказывается на динамике повествования. Это хорошо видно на примере романа «По следу». Он рассказывает о попытке агентов западных спецслужб нанести удар по сельскому хозяйству СССР, применив методы биологической войны. Коварно используя наследие Дарвина и Мичурина, западные ученые в секретных лабораториях создают саранчу, обладающую повышенной прожорливостью. Диверсант с контейнером, в котором находятся голодные насекомые, вплавь пересекает границу. Действие перемещается на Южный

Урал. Молодой зоотехник Иван Алонов отправляется в одиночную экспедицию в поисках нового пастбища для совхозного скота. Удачно выполнив задание, он встречается в степи с группой вооруженных людей. Незнакомцы пытаются убить Ивана. По счастливой случайности пуля не попадает в него. Преодолев панику и растерянность, Иван решает не бежать, а вступить в схватку с врагами. Следует череда эпизодов, насыщенных перестрелками, погонями, засадами.

Очередной сюжетный поворот неожиданно разворачивает время повествования вспять. Читатель знакомится с событиями, предшествующими схватке в степи. В небольшом уральском городе, расположенный недалеко от совхоза Алонова, прибывает резидент иностранной разведки Сударев. Он отправляется к некоему Клебановскому, который во время войны служил немцам. В конце войны он бежал в зону оккупации «союзников», где и нашел своих новых хозяев. Сударев ставит перед Клебановским задачу: отыскать надежных людей для выполнения ответственного задания. Как понимает читатель, задание это связано с распространением модифицированной саранчи. Клебановский представляет руководству свой немногочисленный «актив»: уголовника и дезертира Фигурнова, бывшего дельца Хрипунова, Махмета-оглы — крымчака, высланного за пособничество оккупантам. Неожиданно один из них — «деловой человек» Хрипунов — озвучивает причины своего расхождения с советской властью:

В других странах законы дают свободу действовать по-своему, никто не мешает деловому человеку, никто к нему не лезет, не спрашивает. Уплатил налоги — будьте здоровы! Подумать — советуются с юристами, как уплатить меньше налогов, и никто не считает это зазорным. Честное состязание! Уж я бы сумел... А здесь — нечем дышать, нечем!.. — Хрипунов взволновался. — Здесь у них все — преступление!

Заметим, что, в отличие от прочих участников банды, Хрипуновым движет не банальная жажда наживы или животный страх за свою жизнь. В словах: «Здесь у них все — преступление!» — выражена человеческая, мировоззренческая позиция. Эти слова мы еще вспомним, когда будем говорить о «Желтом металле». А пока что, вооружившись, банда под предводительством Сударева отправляется в степь, где ей предстоит столкнуться с молодым зоотехником Алоновым...

Как мы уже заметили, в техническом плане Иванов сумел существенно продвигнуться вперед, написав крепкий, профессиональный текст, разбавив шпионский роман элементами вестерна, что, конечно, не могло не привлечь внимание читателей. Сегодня в Интернете мы можем найти воспоминания, свидетельства тех, кто не только прочитал роман, но и сохранил свои впечатления о книге на многие годы:

Первая повесть о шпионах, прочитанная мной аж во втором классе. В те времена в кино и приключенческой литературе еще лидировали произведения про шпионов и милицию. В кино с удовольствием ходили по нескольку раз на такие фильмы, как «Тень у пирса», «Голубая стрела», «Дело № 306» и другие. Поэтому книга была прочитана с большим вниманием и интересом.

Но и годы спустя, когда интерес к шпионской литературе заметно упал и книга должна была естественно «состариться», «По следу» чем-то цепляла своих, как правило, случайных читателей:

Когда-то, лет двадцать или даже больше назад, отдыхая на каникулах у деда, нашел у него в тумбочке под телевизором книгу. Хотя именно как книга она опознавалась с трудом, потому как корешок отсутствовал напрочь, а вместо обложки к ней были приклеены два листа толстой миллиметровой бумаги. Первые листы, видимо, были безвозвратно утрачены, как и кое-что еще, о чем я, к сожалению,

узнал несколько позже. Текст начинался сразу с первой главы. От нечего делать я начал читать ее и с удивлением заметил, что буквально проглотил несколько десятков страниц — так меня захватил сюжет. Читалась она очень легко, а отсутствие некоторых страниц ничуть не мешало восприятию текста.

Естественно, мы не собираемся поспешно причислять роман Иванова к жемчужинам отечественной словесности. Даже как жанровая вещь он остается приметой своего времени и вряд ли будет интересен современному читателю. Но в любом случае после выхода этой книги Иванов мог почувствовать себя настоящим писателем.

Следующая крупная вещь Иванова уже не могла быть напечатана на страницах журнала «Знание — сила» в силу очередного жанрового разворота автора. От фантастики и шпионского романа писатель неожиданно переходит к исторической прозе. В 1955 г. в первом выпуске «Мира приключений» был опубликован отрывок из его нового романа, который в том же году выходит отдельным изданием, — «Повести древних лет. Хроники IX века в четырех книгах, одиннадцати частях». Сегодня с большой долей уверенности можно предположить, что «неожиданный» жанровый поворот был частью изначальной писательской стратегии Иванова. Фантастические и шпионские опыты были не только способом «набить руку», но и платой за «входной билет» в литературу. Сферой подлинного интереса писателя всегда была история.

В те годы историческая романистика являлась объектом особого контроля, идеологического и политического. Привыкший за многие годы к осторожности, Иванов и здесь предусмотрительно оговорил «случайный» характер своего интереса к русской истории. В письме к А. А. Суркову — поэту и крупному литературному функционеру — Валентин Дмитриевич пишет:

Казалось бы, что обращение к теме более чем тысячелетней давности странно, неожиданно. На самом деле это объясняется просто. Как-то, совсем из других побуждений, интересуясь происхождением современной «теории высшей расы», я убедился, что не только гитлеровские «теоретики», но и нынешние англо-американские «ученые» сидят верхом на истории норманнов, их «героических» походов, их исторического влияния. И теперь, в 1954 году!

Позволим себе не поверить лукавому автору относительно наличия у него «других побуждений». Лучшее подтверждение нашему сомнению — текст самого романа, который убедительно свидетельствует о многолетнем подготовительном этапе, который смело можно отнести к «долитературному» периоду жизни Иванова.

Уровень писательских амбиций отражается уже в эпиграфе романа: вместо праведного цитирования классиков марксизма-ленинизма читателю предлагаются два высказывания. Одно принадлежит Гете: «Нет гения без длительного и посмертного действия». Другое, которое Иванов вынес в начало, предварив им цитату из автора «Фауста», вышло из-под пера Ю. И. Венелина — одного из основоположников панславизма. Последний в советской науке того времени аттестовался не иначе как реакционный и мракобесный. Не менее вызывающей была и цитата:

Русский народ всей своей громадной массой не мог вдруг в 862 году размножиться и разлететься сразу, как саранча, его города не могли возникнуть в один день. Это аксиома.

Подобная аксиоматика в те годы вполне тянула на идеологическую диверсию.

Сам роман, как и обещано в названии, рассказывает о событиях русской истории середины IX в. Иванов использует прием развертывания двух па-

параллельных сюжетных линий, которые, следуя геометрии Лобачевского, пересекаются в кульминации. Первая линия связана с историей экспансии вольных новгородцев на северо-восток будущей России. Индивидуальным триггером этого движения выступает молодой кузнец Одинец. В результате спровоцированного приезжими гостями конфликта он вынужденно убивает знатного нурманна Гольдальфа. Скрываясь как от мести сородичей Гольдальфа, так и от выплаты крупного штрафа, Одинец вместе с ватагой повольников — лично свободных новгородцев, промышленявших торговлей и зачастую разбоем, — отправляется на север за мехами и другой ценной добычей. В районе Северной Двины путешественники встречаются с местными жителями — биармами. Туземцы по уровню своего развития существенно отставали от новгородцев. Но повольники, несмотря на явное военное преимущество, не только не вступили в конфликт с биармами, но и сумели наладить с ними доверительные, почти родственные отношения, основанные на принципе справедливости:

Дорогие шкурки... Будь драка — они достались бы ватаге. А коль дело кончилось миром, так пусть каждый без помехи владеет тем своим добром, которое взял своим трудом.

Прочность этих отношений вскоре подвергается суровой проверке, что связано с развитием второй сюжетной линии. В ней речь идет о о нурманском ярле Оттаре. Под его предводительством викинги сначала готовят, а потом и совершают грабительский набег на земли биармов и новгородцев. Иванов всячески подчеркивает врожденную агрессивность викингов, которая может быть ограничена только ответной силой:

В Городе и в новгородских пригородах нурманны тихие: знают новгородскую силу. А дальше, во всех землях, по воряжскому берегу и другим, всюду, куда

можно приплыть на лодьях и в земли подняться по рекам, нурманны хуже черной чумы. Они, ничем не брезгуя, грабят имения, бьют старых, а молодых ловят в рабство.

В отличие от повольников-новгородцев, объединенных не столько узким корыстным интересом, сколько духом товарищества, викинги и в личных отношениях демонстрируют не самые лучшие человеческие качества:

Викинги были постоянно настороже, между ними не было братства, товарищества, а только боевое содружество, в котором каждый стоял за себя, а за других — лишь по деловой необходимости.

Этим двум противоположным силам и суждено сойтись в смертельной схватке, и на кону была не просто разовая добыча. Если викинги сумеют малой кровью победить новгородцев и биармов, то земли и поселения последних превратятся в объект постоянной жесточайшей эксплуатации, закрывающей дорогу любому развитию...

Переходя к литературному анализу романа, отметим сразу, что его уровень несопоставим с ранними вещами Иванова, даже с такими относительно удавшимися, как «По следу». Отсутствие живых характеров — «родимое пятно» предыдущих книг — сменяется рядом убедительно прописанных, литературно и исторически достоверных героев. Особая удача писателя — батальные сцены, поданные жестко и динамично. Не скатываясь в натурализм, Иванов воссоздает картину психологического состояния наших предков, когда первоначальная растерянность перед лицом коварного нападения прекрасно отлаженной военной машины викингов сменяется совсем другими мыслями и эмоциями. Возможная победа над захватчиками есть не только следствие владения воинским искусством, но и путь осознания собственной правоты, чувства родственной близости к соратникам по оружию.

Не бросать же товарищей. И нельзя долго думать.

— Эй, — хрипло сказал Отя. — Побежим, выручим сразу, тогда уплывем, — и у него заперло горло, присох язык.

Засадники побежали меж сосен и елей к ухвостью, к нижнему по течению голому концу острова. Выскочили на чистое место, а нурманны уже здесь и толпой добивают биарминов. Отенины глаза просветлели, все-то он видит, до черточки. Горло чистое, голос вернулся. Нет тоски и совсем ничего не жаль.

— Ну, берись! — выдохнул удалой охотник, взмахнул топором на длинном топорище и наискось, между латным плечом доспеха и низким краем завешенного кольчужной сеткой рогатого шлема, врубился в первую жилистую нурманнскую шею.

Именно этот роман и становится визитной карточкой Иванова при вступлении в Союз писателей в 1956 г. Сам автор прекрасно понимал разницу между своим первым историческим романом и ранними книгами. В 1962 г. в письме к читателю, отвечая на вопрос о собственной оценке написанного им, он скажет следующее:

Затем я написал исторический роман-хронику «Повести древних лет». Эту четвертую книгу я считаю своей основной. Я всегда любил историю, и не только одну русскую, всегда был убежден, что нам, русским, нечего стыдиться нашего прошлого.

Любопытно, что первая попытка вхождения в профессиональное сообщество тремя годами ранее у Иванова сорвалась из-за противодействия формальных «патриотов»: Н. Грибачева и В. Смирнова. Одной из причин этого мог выступать тот факт, что рекомендации «молодому автору» дали представители конкурирующего «либерального» клана: И. Эренбург и В. Гроссман. Но, как покажет ближайшее будущее, ошиблись в Иванове и те, и другие.

Обсуждение кандидатуры Валентина Дмитриевича прошло под знаком успеха его первого исторического романа, который был замечен как читателями, так и профессиональным сообществом, в том числе историками. Так, другой известный Иванов — Всеволод — особо отмечает языковое мастерство претендента:

Это очень интересная книга, написанная с большим знанием дела, патриотическая. И автор — очень талантливый человек. Очень хорошо знает старину, очень хорошо знает русский язык старинный, и не стилизует его, а по-новому его преподносит.

В несвойственном для ученого поэтическом стиле говорит о книге академик Б. Рыбаков:

Иванов знает душу народа и не только русского, он проник в три души — биарминов, которые для того времени тоже недостаточно известны. Мы знаем этот далекий северо-восток по рассказам IX века, пересказам легенд, рассказов о немой торговле, но в романе мы лучше узнаем эту душу. Наконец — душа норманнов.

Летом 1956 г. Валентин Иванов становится членом Союза писателей. Профессиональное достижение подкрепляется ударным трудом. В конце года в издательстве «Молодая гвардия» тиражом в девяносто тысяч экземпляров выходит новая книга Валентина Иванова «Желтый металл», ставшая причиной полузадушенного скандала, укутанного в тряпье докладных и служебных записок, невнятных постановлений и резолюций. В чем причина этого примечательно негромкого происшествия в советской литературе? Сам писатель несколько лет спустя в частном письме так говорит о причине обструкции:

«Желтый металл» всячески бранила наша критика. Сам я считаю, что бранили не за то, за что можно было бы. Дело

в том, что в «Металле» есть излишняя жесткость и жестокость: следствие того, что он слишком документален, слишком точен, слишком близок к фактам. Мне следовало бы глубже заглянуть в души людей, я же в отношении некоторых «героев» шел рядом со следователем и прокурором. Вот видите, какой парадокс получается: чрезмерная точность оказывается неточностью.

В этих словах можно увидеть многое, но не раскаяние. Заявленная авторская позиция подкрепляется эпитафией к роману из «Детских годов Багрова-внука» С. Т. Аксакова: «Интерес увеличивался тем, что это была не выдумка, а истинное происшествие...»

Книга начинается с описания восточносибирского золотого прииска, названного Сендунским. Время действия — начало 50-х гг. Автор знакомит нас с первым своим героем — Григорием Маленьевым, работающим на прииске съемщиком-доводчиком. Внешне Григорий соответствует сложившемуся в советской литературе тех лет образу «настоящего рабочего»:

Мужчина он телом сильный, лет ему тридцать пять, одевается по-рабочему чисто, усы и бороду бреет, и лицо его кажется крепким, литым.

Литома лицу соответствует правильная биография и мировоззрение:

Григорий Иванович, вернувшийся с войны сержантом артиллерии с наградами, человек грамотный, знал, что золото, как уголь, нефть, любая руда и каждое дерево в лесу, принадлежит рабоче-крестьянскому государству, или народу, что одно и то же. На войне Маленьев честно защищал общенародное дело.

Но, оказавшись после войны на прииске, бывший сержант безо всякой внутренней борьбы начинает утаивать часть добытого им золота, продавая его скупщикам. Себя Григорий оправдывает ничтожностью проступка на фоне при-

носимой им государству пользы. Вскоре он вступает в сговор с горным мастером Окуневым. Вместе со своим другом Луговым, работающим контролером, Григорий начинает систематические хищения «желтого металла», продавая его Окуневу по пять рублей за грамм.

Автор применяет интересный прием, прослеживая движение похищенного золота, стоимость которого возрастает по мере его перехода из одних рук в другие. Из Сибири ручеек золота перетекает в южный город С-и, который легко расшифровывается как Сочи. Там на берегу моря живет с дочерью Антонина Окунева — жена горного мастера Окунева. На деньги, вырученные за украденное золото, она покупает четырехкомнатный дом. Вместе с братом мужа Гавриилом Окуневым Антонина организует своего рода центр распространения нелегального золота. Среди постоянных клиентов преступного семейного клана особо выделяется Леон Томбадзе — ювелир и по совместительству любовник Антонины. Путь, приведший Томбадзе к криминальной деятельности, поражает какой-то органичностью и даже предопределенностью:

В юности лудильщик, затем ученик ювелира, Леон Ираклиевич после войны и демобилизации некоторое время промышлял мелкой работой и некрупной спекуляцией. После денежной реформы сорок седьмого года и усиления борьбы со спекуляцией Леон завел свою ювелирную мастерскую-чуланчик, где работал один. Когда и здесь возникли затруднения, он устроился в артель. Из него выработался отличный мастер. Он работал со вкусом и тонко. Под полой принимал заказы из «давальческого» серебра и золота, хотя это, по понятным причинам, и запрещалось законом. В компании с одним зубным техником Томбадзе наловчился изготавливать латунные коронки «под золото» для тех, кто хотел по дешевке блеснуть своим ртом.



Автор показывает, что теневая экономика в советском обществе представляла собой не осколок «проклятого царского прошлого», уродливость которого компенсируется его малостью. Нет, это был своеобразный мир со своей непροстой иерархией, законами и способами коммуникации, в который вовлечены в разной степени множество людей, коих нельзя назвать преступниками даже по суровым правовым нормам тех лет. Ярким примером тому выступает такой вроде бы проходной персонаж романа, как московская лифтерша Совина, у которой останавливаются по пути в Сибирь нечестные на руку старатели.

Эта женщина через два дня на третий обязана была сутки дежурить у лифта. Несложные обязанности лифтерши она с успехом совмещала с занятиями рукоделием: вязала крючком подзоры для кроватей, накидки для подушек, салфетки на комоды и подзеркальники и прочие хорошо выполненные и украшающие жизнь вещицы. На спицах она изготавливала из «жильцовской» шерсти варежки с цветными вставками, перчатки.

Неплохая мастерица, Совина без дела не любила скучать. В свободные дни Татьяна Сергеевна путешествовала по московским магазинам, соображая, что, где и почем. Исполняла поручения. В соседнем швейном ателье высшего разряда Совина отмечалась в списке очереди за тех гражданок, которые сами не имели времени.

Совина воссоздала себе профессию посредника, что ли, впрочем, старую как мир. Нельзя сказать, чтобы она занималась спекуляцией в ее классическом виде, то есть скупкой вещей с их последующей перепродажей в целях недобросовестного обогащения.

Совина своих денег, вложенных в «дело», не имела. Покупки, когда приходилось, она делала на деньги заказчиков. Совина получала мзду за услуги — действие, в уголовном порядке не наказуемое. Она продавала не вещи, а занятое ею место в очереди или чек, выписанный

продавцом. Эта женщина за некоторое вознаграждение отказывалась от принадлежащих ей прав без определяемого по какой-то шкале ущерба для кого бы то ни было. Сдавая комнату, Совина терпела неудобства от случайных жильцов за плату деньгами и натурой со стола постояльцев. Такова формальная сторона профессии Совиной.

Несколькими абзацами Иванов создает портрет целого социального пласта, о котором до него никто просто не говорил. Московская лифтерша не считает себя врагом советской власти, как и не воспринимает ее — власть — в качестве «прямой и явной угрозы» для себя. Совина «приспособилась», и эта адаптация потенциально опаснее для идеологического ядра власти, чем даже возможная подрывная деятельность сознательных противников «самого передового общества в мире». Вспомним слова героя раннего романа Иванова «По следу»: «Здесь у них все — преступление!» Именно эта «онтологическая узорность» советского режима толкает Хрипунова на путь шпионажа и предательства. Н. Митрохин, автор в целом интересной статьи о «Желтом металле», характеризуя позицию автора романа, называет Иванова «лабазником» — на основании того, что тот с явной симпатией описывает скрытые элементы рыночных отношений.

В 1987 г. вышел в свет сборник избранной публицистики и переписки Валентина Иванова под названием «Златая цепь времен». К сожалению, ограничения того времени не позволили в полном объеме представить читателю эпистолярное наследие писателя. Но даже то, что удалось напечатать, разрушает представление об авторе как типичном советском писателе. В переписке и внутренних рецензиях Иванов свободно цитирует В. В. Розанова и В. О. Ключевского, ссылается на Д. Рескина и У. Морриса, приводит малоизвестные сведения из европейской и, конечно, русской истории. Обычно сдержанный и даже скрытный,

писатель позволяет себе раскрыться, заявив, например, что не считает мистику вредной. Спустя несколько лет Иванов возвращается к этому своему замечанию, концептуально расширяя его:

Церковь давала верующим духовный свет, надежды, утешенья. Я, человек своего времени, говорю о таком «со стороны», но обязан удержаться от высокомерия. Упомянутые мною свет, надежды, утешенья суть нечто, необходимейшее каждому. Но — неопределимое. Очень и очень многие наши предки получали это неопределимое от своей религии. Как и утверждения, как и напоминание о позитивной этике, без чего, — без этики, — обществу не прожить.

Все это очень далеко от образа «лабазника». Позиция автора намного сложнее и интереснее. И тут мы снова должны вернуться к предыдущим книгам Иванова. Успех «Повестей древних лет» был связан не только с хорошо закрученным историческим сюжетом и прописанными характерами. В них писатель отобразил свой идеальный тип русского человека. Условием того, что новгородцы сумеют отбиться от нападения викингов, выступает их свобода. Говоря о свободе, писатель имеет в виду личную свободу, в пространстве которой русский человек достигает максимума самовыражения. При этом свобода не является синонимом эгоизма. Напротив, в отличие от тех же викингов, благодаря свободе устанавливается подлинное товарищество между ушкуйниками, очищенное от корысти и тщеславия. Из этой концепции писателя вытекает и главный драматический, а может быть, и трагический посыл романа «Желтый металл». Советская власть при всех ее несомненных исторических заслугах в итоге превращается в силу регламентирующую, ограничивающую личную свободу. Поэтому такое легкое, без внутренней борьбы, «сваливание» героев в незаконие следует понимать как попытку выхода за пределы установленного.

Хотя «нарушение границы» носит явно экономический характер, оно, несомненно, выступает как следствие, причина которого — в узости жестко лимитированного личного пространства. Сошлемся еще раз на письма Иванова:

Мне всегда казалось, что одной из типично русских черт был недостаток самонадеянности, самовлюбленности. Русский поэтому так охотно прилеплялся к идее. Я, например, не встречал настоящих стяжателей среди русских. Почти не встречал. Сколько угодно русских не прочь помечтать о миллионах. Упавших с неба. Но — чтобы отдаться карьере целиком — скучно.

Отслеживая движение «желтого металла», писатель фиксирует не просто возрастание его стоимости. Растет и опасность, тяжесть наказания в случае разоблачения. И это требует иного способа организации хранения, движения золота, нежели любительские операции Окуневых, пересылавших золото в валенках, и им подобных непрофессионалов, «неспособных отдаться карьере целиком». Гарантом относительной безопасности выступает замкнутость преступного сообщества, члены которого объединены не только совместной криминальной деятельностью: цементирующим началом выступает и этническая однородность преступников. Иванов на материале Кавказа и Средней Азии приводит несколько примеров функционирования, как бы сегодня сказали, этнических преступных сообществ. Но причиной будущего скандала становятся страницы романа, описывающие деятельность иного клана, участники которого живут практически в центре исторической России.

Эти страницы «Желтого металла» отводятся сатирическому описанию нескольких еврейских семейств, проживающих в провинциальном городе Котлове. Писатель подчеркивает спаянность, способность к иерархической мобили-

зации, свойственные еврейским кланам при любых признаках внешней угрозы. Эти свойства позволяют им благополучно решать проблемы, непреодолимые для других.

Перед войной дела шли особенно блестяще. И вдруг в сорок первом году, под самый новый сорок второй год, — взрыв! Владимир Борисович был арестован, как и некоторые общие знакомые Бродкиных. Был взят и тесть Бродкина, старейший Брелихман. Друзья арестованных пустили в ход все, что могли, добрались если не до самого Берии, то, во всяком случае, побывали где-то около него, и... улики против Бродкина и других не оказались, как значилось в бумаге под заголовком «Постановление о прекращении дела».

В условиях резкого ограничения экономической свободы после отмены НЭПа представители котловских кланов переходят к мелким финансово-торговым операциям, оставаясь формально в рамках действующего законодательства. Так, жена упомянутого часовщика Бродкина, несмотря на семейное благополучие, не без удовольствия встает за базарный прилавок.

Марья Яковлевна увлекалась хозяйством до того, что сама сбывала яйца на базаре, гордо говоря:

— Я никогда не отказывалась от труда!

Соседка за небольшую мзду могла бы торговать на базаре знаменитыми яйцами бродкинских кур, но Марья Яковлевна вздыхала с друзьями:

— Ах, моя дорогая! В наше несчастное время все эти пролетарии стали такими жуликами, такими хамами...

Но гипертрофированная экономическая активность фатально предопределяет выход за пределы мелкой базарной торговли. Среди незаконных операций манипуляции с украденным на сибирских приисках золотом занимают особое место. Возможность получения спекулятивного дохода на комиссионных услугах и по-

следующей перепродаже делают «желтый металл» непреодолимо притягательным для котловских бизнесменов. Практически все отступает, уходит на второй план перед жадной потребностью получения сверхдохода. Владимир Бродкин — супруг трудолюбивой Марии Яковлевны, страдает от серьезной болезни печени. Болезнь приводит к атрофии интересов и потребностей — вплоть до угасшего полового влечения: «спально своей супруги не навещал». К нему с предложением о покупке золота приходит Миша Трузенгельд. Последний является инвалидом с рождения: «его правая нога была короче левой на три сантиметра с лишним». По этому поводу отец Трузенгельда много лет назад, в первые послереволюционные годы, произнес прочувствованный монолог:

— Да, мой мальчик, — поучал отец. — Тебя не возьмут в эту паршивую Красную Армию, и воевать за тебя будут другие. Э, многие-многие заплатили бы тебе кругленькую сумму за такую ногу! Но я не посоветую нашему Мыше соглашаться. Такая сделка была бы еще глупее той, которую безголовый Исав заключил с мудрым Иаковом, уступив младшему брату права первородства.

Как мы видим, практически все проблемы имели для котловской «буржуазии» финансовое измерение. Встреча продавца-комиссионера Трузенгельда с покупателем Владимиром Бродкиным показывает, как вялый и болезненный бывший часовщик постепенно втягивается в торг, забывая о своих проблемах со здоровьем. Сцена ожесточенного спора по поводу пятидесяти копеек написана Ивановым весьма густо и выразительно:

Трузенгельд вернул ругательства с процентами и предложил Бродкину два кукиша, но торг вернулся опять к цене.

Изощряясь в доказательствах, волнуясь, споря, будто бы дело шло о жизни и смерти, они разошлись востро и «жили» полностью. Бродкин забыл о больной печени, жестикуюлировал, бегал из угла в

угол, выгнав комнатную овчарку Лорда, чтобы собака не путалась под ногами. Трузенгельд ковлял на месте, переваливаясь с длинной ноги на короткую и становясь то выше, то ниже.

Хватая друг друга за грудь, они одновременно хрипели, шипели, свистели, сипели, брызгали слюной.

И когда, наконец, сделка совершилась, Бродкин вместо крыльев обмахивал себя лапами халата, а Трузенгельд вытирался салфеткой, сорванной в пылу схватки со столика.

Приведем еще один пример торжества «желтого металла» над хрупкой человеческой плотью. Мария Яковлевна, лишенная вследствие болезни мужа нормальной сексуальной жизни, обращает свое внимание на его компаньона. И хотя Трузенгельд младше Бродкиной на пять лет и трезво оценивает внешность Марии Яковлевны, давно распрощавшейся как с молодостью, так и с женской привлекательностью, «отношения» начинают завязываться.

Деньги Бродкина... О них думал — не думал, но и не забывал Мишенька Трузенгельд. Не будь бродкинских денег, не было бы и Миши в этой спальне. Такова точная, деловая формулировка отношения Трузенгельда к бывшей Манечке Брелихман.

Раздобревшая, краснолицая, крикливая, грубо-чувственная Бродкина считала себя обаятельной. Не один Миша — льстили ей и Мейлинсоны и Гаминские. Но те просто говорили любезности богатой женщине, а Миша исходил из коммерческого расчета. Если не дни, то наверняка недолгие годы Бродкина были сочтены. Его жена была скорой наследницей большого капитала. Бродкинские деньги...

Чтобы избежать возможных обвинений в предвзятом изображении влиятельной этнической группы, Иванов создает и положительные образы евреев. К ним относится Анна — старшая сестра Владимира Бродкина, и ее дети. А Исаак Оси-

пович Кацман — супруг сестры, врач по специальности, во время войны, будучи военным медиком, попадает в окружение и участвует в партизанском движении.

Законспирированный, под чужим именем, сумев выдать себя за фольксдейче, он почти полтора года обманывал гитлеровцев, работал в больнице, держал в своих руках связи, под носом гитлеровцев устраивал в больнице раненых партизан. Он почти полтора года, как акробат, танцевал на тонкой проволоке, под которой не было предохранительной сетки. Семнадцать месяцев! С его мужеством и выдержкой он мог бы продержаться до освобождения Украины. Погиб, случайно опознанный предателем, человеком из В., знавшим его в лицо. Умер трудно, истерзанный гитлеровцами, озлобленными вдвойне и на советского партизана, и на фальшивого фольксдейче, на еврея, осмелившегося выдать себя за представителя высшей нордической расы.

Естественно, возникает вопрос: каким образом Исаак Осипович смог выдать себя за «представителя высшей нордической расы»? Ответ заключается в нетипической для евреев внешности военного врача. И это не просто физическое, внешнее отличие.

Отличие семьи Кацманов от их котовских родственников связано с эмансипацией. Напомним, что, по Марксу, эмансипация евреев связана с «эмансипацией общества от еврейства» — духа торгашества, который выражается в «рабской зависимости от эгоистической потребности». И здесь Октябрьская революция открыла перед евреями возможность выйти за пределы своего исторически сложившегося способа существования. Неподдельный энтузиазм еврейской молодежи того времени был связан не только с открывшимися социальными перспективами. Другим «внутренним двигателем» активности можно считать возможность отказа от традиций местечкового «окукливания». Именно таких борцов за новый строй,

равнодушных к житейским благам, любила изображать советская литература 20—30-х гг. (Э. Багрицкий, А. Безыменский, М. Светлов). К этому эмансипированному поколению и принадлежит семья Кацманов.

Приехавший по финансовым и лечебным делам в Москву Владимир Бродкин отмечает бедность, в которой живет семья старшей сестры: маленькая квартира в старом доме, в самой квартире «нет вообще ни одной “порядочной вещи”». Отсутствие общих интересов и отчуждение близких родственников восходит к «интеллигентности» Исаака Кацмана, который, несмотря на свою «денежную» профессию, никогда не стремился конвертировать ее в материальные блага. Симптоматично, что Владимир привозит сестре в подарок корзину с яйцами — теми самыми, которые с таким азартом продает на рынке любвеобильная Мария Яковлевна. Яйца можно понимать как символ разделения двух ветвей одной семьи. Сама Анна демонстрирует те же качества, которые были присущи ее супругу. Работа стоматологом, открывающая определенные финансовые возможности, не соблазняет Анну заняться сопутствующим бизнесом.

«Интеллигентность», «идейность» семьи Кацманов можно понимать как следствие одновременно и эмансипации, и вставания в более сложную социокультурную среду, в которой финансовые достижения не признаются единственным мерилем успеха. Это и позволяет Анне, как и безымянному московскому профессору-медику, к которому обращается за консультацией Бродкин, вырваться за пределы узкого душевного мира котловских деловых людей. Но включение в повествование сюжетного ответвления, связанного с московскими родственниками Бродкиных, в полной мере не компенсирует котловские сцены, выписанные с куда большим энтузиазмом по сравнению с московскими пресноватыми акварель-

ными зарисовками. В этом отношении негативная реакция со стороны либеральной общественности была предопределена.

Что касается откликов на роман, то формальный старт критической кампании был дан уже в начале 1957 г. В шестом номере журнала «Крокодил» была напечатана заметка «Аллюры хребца». Сегодняшний читатель может посчитать, что такая критика носила заведомо несерьезный, «юмористический» характер. Подобное представление просто ошибочно. Современный исследователь отечественной фантастики А. П. Лукашин, говоря о трудностях развития советской космической оперы, например, отмечает, что резкая критика со стороны журнала «Крокодил» означала «практически литературную смерть» как для отдельного писателя, так и для целых жанров. Данное высказывание не является преувеличением. «Крокодил» в иерархии советских СМИ занимал особое, специфическое положение, связанное с тем, что на его страницах появлялись материалы, выражающие позицию высшей бюрократии страны, которую по каким-либо причинам нежелательно было озвучивать в статусных изданиях. Интрига усиливалась тем, что заметка была напечатана анонимно, что напрямую указывало на «установочный» характер текста.

Безымянный автор или коллектив авторов начинают текст почти ласково:

Мы не будем размахивать критической дубиной. Как удалось установить, это вредно отражается на творческом росте не только юных дарований, но даже и писателей, которые считают себя без пяти минут классиками. Мы не собираемся также наклеивать ярлыки.

Вместо этого читателю предлагают оценить «избранные места» из книги, формально свидетельствующие о профессиональной непригодности Иванова как писателя. Честно говоря, большинство приведенных примеров не вызывают же-

лания назвать автора «Желтого металла» «без пяти минут классиком». С другой стороны, отдельные цитаты, вынесенные на суд читателя, не вызывают явного отторжения. Основная же цель подборки состояла в комбинировании отрывков из текста романа, в которых нарушались «принципы советского интернационализма».

Небольшая анонимная заметка должна была послужить стартовым выстрелом для о(б)суждения крамольной книги «неравнодушной общественностью». Были даже намечены площадки для проработки автора. Например, предполагалось, что критические материалы пойдут в журнале «Дружба народов». Но «внешняя» кампания так и не состоялась, в отличие от «внутренней». На наш взгляд, у этого были две главные причины. Первая состояла в неудобстве самого текста как объекта отрицания. Сравним его с известным романом В. Дудинцева «Не хлебом единым», кстати, вышедшим в один год с «Желтым металлом». Параллели с романом В. Иванова на этом не заканчиваются.

Как сообщал автор на одном из читательских обсуждений, основой сюжета этого произведения послужил действительный случай, произошедший в Сибири. Он, писатель, в журналистской командировке встретил изобретателя, которому долгое время не удавалось протолкнуть в жизнь свое изобретение.

Книга Дудинцева рисует картину неравного противостояния новатора Лопаткина и директора комбината Дроздова, который использует весь административный ресурс, чтобы затормозить внедрение изобретения Лопаткина в производство. Понять уровень прозы Дудинцева можно по отрывку, в котором описывается внешность Лопаткина:

На нем был военный китель, заштопаный на локтях, военные брюки навыпуск, с бледно-розовыми вытертыми кантами и ботинки с аккуратно наклеенными за-

платами. Все это было отглажено и вычищено. Изобретатель держался прямо, слегка подняв голову, и Леонид Иванович сразу заметил особую статность всей его фигуры, выправку, которая так приятна бывает у худощавых военных. Светлые, давно не стриженные волосы этого человека, распавшаяся на две большие пряди, окаймляли высокий лоб, глубоко просеченный одной резкой морщиной. Изобретатель был гладко выбрит. На секунду он нервно улыбнулся одной впалой щекой, но тотчас же сжал губы и мягко посмотрел на директора усталыми серыми глазами страдальца.

Борьба между консерватором директором и беспокойным изобретателем усугубляется тем, что к «страдальцу» уходит жена Дроздова. Лопаткина по ложному доносу арестовывают и приговаривают к восьми годам заключения.

Книга Дудинцева вызвала шквал отрицательных отзывов. Критики романа с удовольствием указывали на нетипичность образов Лопаткина и Дроздова, чрезмерный пафос в описании борьбы старого и нового. В любом случае, признавая даже известную правду жизни в изображении Дроздова, можно было сослаться на то, что показанная автором проблема может и должна быть решена. Не случайно финал романа написан в лучших традициях советской прозы того времени:

И хоть машина Дмитрия Алексеевича была уже построена и вручена, он вдруг опять увидел перед собой уходящую вдаль дорогу, которой, наверно, не было конца. Она ждала его, стлалась перед ним, манила своими таинственными изгибами, своей суровой ответственностью.

Трудность же критики «Желтого металла» заключалась в размытости того, что нужно прорабатывать со всей «суровой ответственностью». Объективно главной опасностью для строя представляли не «расхитители» и «спекулянты», которых можно найти и наказать. Про-

блема была в том, что, как мы уже сказали, внутри советского общества существовал целый социальный материк, не подчиняющийся законам этого общества. И здесь возникают почти гегелевские вопросы о соотношении количества и качества, формы и содержания. Преступники, выведенные в романе, — это неприятные, уродливые «осколки прошлого» или результат постепенного возвращения к нормам и ценностям этого самого мрачного наследия? А что если прошлое демонстрирует не просто змеиную живучесть, а свою необходимость в настоящем? Кто по отношению к кому является «инородным телом»? Из этого рождается следующий короткий и неприятный вопрос. Насколько реальный советский социум был идентичен своему внешнему идеологическому образу?

Эту проблему осознавал и сам автор, пытаясь отделить частично виновных от тех, кто заслуживает полноценного наказания. Показательно то, как Иванов распорядился судьбой Григория Маленьева. Он с семьей перебирается из Сибири в Центральную Россию, поселившись неподалеку от уже известного нам города Котлова. Переезд и новая работа неожиданно повлияли на его нравственный облик:

Вдали от гадких соблазнов легкой жизни, расставшись с пьяной компанией расхитителей золота, Григорий Маленьев зажил по-человечески. На работе поладил с начальством, с товарищами. Среди новых знакомых не оказалось пьющих: здесь бешеные деньги не лезли сами в карман и пьянство сулило не одно медленное и на первых порах мало ощутимое моральное падение, но и быстрое материальное крушение.

Чтобы полностью заретушировать в сознании читателя прошлые прегрешения Григория, автор несколько жульнически отправляет его после работы домой по берегу зимней реки, из полыньи которой он спасает мальчика и местного милицио-

нера. С последним у Григория завязалась крепкая мужская дружба. Совершенный подвиг, геройское фронтовое прошлое, чистосердечное раскаяние позволили ограничить наказание Григорию условным сроком. Интересно, что реальный срок заключения за спекуляцию получает Совина, про которую автор не забыл. Подобный писательский волюнтаризм еще раз свидетельствует о том, что наказание, определение степени виновности в подобной ситуации не может не быть субъективным. Несмотря на авторские подсказки, правильные идеологические вводные, у читателя возникало ощущение, что даже сети правосудия не позволяют выловить, поднять на поверхность всех, кто «заслуживает наказания».

Вторая причина ухода в тень критической кампании объяснялась как конкретной исторической ситуацией тех дней, так и личностными качествами самого автора. У большинства наших современников сложилось представление о безраздельном правлении Хрущева после XX съезда партии, которое было еще более упрочено разгромом антипартийной группировки Маленкова, Кагановича, Молотова в 1957-м. Это достаточно поверхностный взгляд. В реальности в партийной верхушке в это время шел активный процесс сегментации, размежевания на настоящие группы и группировки — в отличие от ситуативного союза стареющих партийных бонз Маленкова, Молотова, Кагановича. Именно с этого времени внешняя и внутренняя политика страны определяется балансом интересов различных групп и кланов.

Издание «Желтого металла» в силу заведомой скандальности содержания не могло состояться без помощи одной из подобных групп. Ее же активностью можно объяснить вывод из-под готовящегося шквального критического огня автора и тех лиц, чьими стараниями роман увидел свет. Интересно наблюдать за тем, как вращающиеся шестерни партийного аппа-

рата готовились перемолоть автора порочной книги. Рычагом, запустившим механизм, безусловно, являлась знакомая нам анонимная публикация в «Крокодиле». Отреагировал на «заметку в юмористическом журнале» П. Н. Поспелов — один из секретарей ЦК КПСС, относящийся к условно «либеральному» крылу в партии. Именно Поспелов в 1955-м году возглавил комиссию, выводы которой были озвучены в известном антисталинском докладе на XX съезде партии. Он отправляет письменный запрос с указанием на страницы романа, содержащие особую крамолу, заведующему отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам Ф. В. Константинову. Интересно, что запрос Поспелова «огibtает» законного адресата документа — заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по РСФСР. Им руководил В. П. Московский, бывший главный редактор «Красной звезды», сохранивший связи с силовым блоком, который традиционно считался выразителем отчетливо патриотических взглядов в советской номенклатуре. Поэтому Московский мог как минимум «затереть запрос», отделавшись формальной отпиской.

Обращение к Константинову запустило процесс написания отчетов и служебных записок со стороны тех, кто пропустил текст и не проконтролировал само издание. Редактор романа Г. А. Прусова в своей докладной записке делала упор на то, что Иванов — «чрезвычайно трудный и упрямый автор». Себе в заслугу редактор ставит то, что она сумела, несмотря на сохранившиеся в издании недостатки, исправить наиболее вопиющие огрехи, связанные с освещением в романе национального вопроса.

После доработки книги была усилена положительная сторона: доработаны образы Серго, Нелли, следователя Нестерова, семьи Кацманов, были вновь написаны большие куски текста, появились

новые положительные персонажи — милиционер Абашидзе, Алексей Зиморев, профессор, рабочий на приисках, разоблачивший преступников, и другие.

Прусова вновь ссылается на сложный характер Иванова, не позволивший довести рукопись до необходимых стандартов: «Автор принял многие наши замечания, в некоторых же вопросах он с нами не согласился».

Откликнулось на партийный запрос и руководство издания. Директор издательства «Молодая гвардия» И. Я. Васильев сослался на обман со стороны Иванова.

Автор рукописи «Желтый металл» В. Иванов 15 мая 1954 г. обратился в издательство с заявкой на новый роман. В заявке было сказано, что в новом романе автор намеревается рассказать о той борьбе, которую ведет советская милиция против преступников. По жанру роман был задуман как приключенческий. Редакция художественной литературы приняла предложение автора.

Но коварный писатель под видом приключенческого романа подsunул текст, в котором:

...Неправильно освещались многие важные стороны жизни советского общества, вопросы национальной политики. В рукописи были широко выведены преступники и отсутствовали положительные персонажи. Много возражений вызывал язык повести, пересыщенный вульгаризмами, циничными выражениями и т. п.

Из текста письма следует, что автору настоятельно рекомендовалось изменить расстановку действующих лиц, исправить дисбаланс в изображении национальностей героев. Именно так в романе появились многострадальная семья Кацманов и хороший милиционер Абашидзе. Как и Прусова, директор издательства сетует на сложный характер Иванова, упорно отстаивавшего исходный текст. Из цитируемых документов становится понятным,



что «Желтый металл» для Иванова, действительно, не просто очередной «приключенческий роман». В нем заложено и озвучено то, что по-настоящему думал и понимал писатель. Иванов вступает в игру: снимает одни рискованные сцены, перенося их в другие части романа, изъятые во время редактуры места чудесным образом воскресают в тексте после корректуры. Упорство автора в конечном счете побеждает. Привнесенные изменения в основном являлись косметическими, не затрагивающими основной посыл книги.

Вопрос о выходе крамольной книги рассматривался на Бюро ЦК ВЛКСМ, так как издательство «Молодая гвардия» ведомственно принадлежало комсомолу. Руководящие комсомольцы произнесли много грозных слов, в результате которых никто практически не пострадал. По старой доброй традиции была снята с работы редактор Прусова. На этом репрессии и закончились. Это не должно удивлять, так как именно в комсомольской верхушке находились явные и тайные сторонники писателя. Провалилась также попытка запустить волну общественного осуждения. По инициативе того же Попелова предполагалось опубликовать в журнале «Дружба народов» развернутый критический материал. Но А. Сурков, сменивший на посту главного редактора

Б. Лавренева, фактически отказался дать материалу ход, сославшись на необходимость детально изучить проблему. Были отбиты еще несколько более поздних попыток публичного осуждения романа и его автора.

Конечно, без высокого покровительства Иванову было бы трудно как ответить от себя обвинения в идеологической диверсии, оставаясь всего лишь «литературным хулиганом, допустившим грубые ошибки», так и сохраниться в профессии вообще. Благодаря этому мы можем читать его великолепную «Русь изначальную» — один из шедевров русской исторической прозы.

С другой стороны, стоит пожалеть о несостоявшейся публичной кампании вокруг «Желтого металла». Проблемы, поднятые в нем, на порядок серьезнее и актуальнее унылой борьбы новаторов и консерваторов в романе Дудинцева или гимназических страданий водянистых героев «Доктора Живаго», по поводу которых гремела пресса, металась идеологические молнии, шли читательские обсуждения по всей стране. В грубоватом и, признаемся, неуклюже скроенном романе содержались настоящая актуальность и подлинная злободневность. Но неудобный роман предпочли не заметить, снисходительно аттестовав его как литературный ляп переходного времени.



## СЮЖЕТ ВО ВРЕМЕНИ

*Беседа с художником Михаилом Омбыш-Кузнецовым*

*Михаил Омбыш-Кузнецов родился в 1947 г. в Барабинске Новосибирской области. В 1965 г. окончил класс художников-оформителей 74-й политехнической школы в г. Новосибирске, в 1970 г. — архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева. Живописец, член Союза художников с 1973 г., член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации. В 2004—2014 гг. — заведующий кафедрой монументально-декоративного искусства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии. Произведения находятся в общественных и частных собраниях России, а также Австралии, Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Израиля, Италии, Канады, Франции и Японии.*

...В детстве я любил рисовать крейсер «Аврора» с его дымящимися трубами, башнями, мачтами, пушками. Он не стоял у причала: двигался, действовал. Когда мне было лет пять-шесть, я наблюдал за электромонтерами, взбирающимися на деревянные столбы с помощью металлических когтей, и мне тоже хотелось нацепить их на ноги и подниматься вверх. Мы тогда жили в Барабинске, где деревянных столбов было много. Они стояли у каждого дома, задавали ритм улице, где мы с соседскими пацанами играли в «бабки». Я помню, что улица носила имя Розы Люксембург, а за углом была улица Пушкина.

Тогда я и не подозревал, что стану художником. Никто из родственников не занимался рисованием. Отец — журналист, писатель. Мать — медицинский работник. В большей степени моим воспитанием занималась бабушка Наталья Федоровна — заслуженная учительница, награжденная орденом Ленина.

Отец в то время учился в Москве в Высшей партийной школе, и мы с мамой приезжали к нему в гости. Мне было

где-то лет семь. После Барабинска Москва обрушила на меня лавину впечатлений: сырковая масса, лифт, в котором я сразу же умудрился застрять, потрясающий праздничный салют. А дальше еще интереснее: Кремль, Мавзолей Ленина и Сталина (тогда в Мавзолее они лежали друженько оба). Помню, очередь была длинная, стояли полдня, зато потом — дрезденская коллекция (она тогда еще была в Москве), Третьяковская галерея со страшной картиной с Иваном Грозным. Наверное, это были первые импульсы...

Потом — снова Барабинск, где я начал учиться в школе. Учился там, правда, всего одну четверть. Отца распределили в Новосибирск, где мы поселились рядом с оперным театром на улице Байдукова, переименованной затем в Депутатскую.

На день рождения мне подарили альбом и цветные карандаши; я тут же уединился и начал срисовывать с какой-то детской книжки животных — взрослым понравилось, и через некоторое время я отправился в изостудию, благо Дворец пионеров был рядом, в Доме Ленина.

Руководителем изостудии был Михаил Павлович Гнусин. Он начал преподавательскую деятельность в этой изостудии и всю жизнь посвятил художественному образованию детей. Через его изостудию прошли многие будущие художники Новосибирска.

Заниматься было интересно: мы ездили на пленэры в пионерские лагеря, жили месяц в Чемале и делали этюды. Посещали мастерские художников. Николай Демьянович Грицюк подарил нашей студии пару своих акварелей, и они всегда были перед нашими глазами. Для меня это стало началом школы Грицюка.

В школе на практике я сделал свою первую монументальную роспись в актовом зале, а потом начал сотрудничать с Внешторгиздатом, где оформил достаточно много рекламных проспектов и буклетов. Шрифты писал и делал цветные раскладки старательно — компьютеров тогда не было. Наверное, десятый класс школы можно считать началом моей трудовой деятельности. А еще в это время в школе-интернате я вел изостудию для младших школьников — тоже опыт для будущей преподавательской работы.

Наша учительница в школе по истории изобразительного искусства, искусствовед, попросила меня сделать копии с иллюстраций к книгам Эль Лисицкого, супруга которого была сослана во время войны в Новосибирск. Для меня творчество Лисицкого стало открытием — сколько чудных открытий случается в детстве! Из них и складывается будущее...

Было еще много важных детских впечатлений. Я был свидетелем создания Обского водохранилища, ездил по дну этого будущего моря через старый Бердск, который позднее был затоплен.

Потом в наше сознание круто вошел Академгородок, я был свидетелем его строительства, и это стало темой моего графического листа: двое рабочих, мужчина и женщина, стоят возле указателя «Улица Университетская», и мужчина

почему-то держит в руках большой гаечный ключ (видимо, это мое тогдашнее понимание стройки). Потом я повторил этот сюжет акварелью. Какой-то из них был отмечен на всесоюзной выставке детского творчества в Москве, меня поощрили поездкой в Артек. Я стал делегатом Второго всесоюзного слета юных пионеров.

В лагере — а мы жили в новом лагере «Морской», детище архитектора Полянского, — кругом были современные пластик, стекло, витражи и — море! Я писал этюды и даже помогал молодым московским художникам, оформлявшим лагерь. Эти встречи перевернули все мои представления об искусстве: после разговоров и совместной работы с москвичами из юного художника, мечтавшего стать пейзажистом, я стал жутким авангардистом, узнал про Малевича и Кандинского. У нас в студии в то время и про Сезанна то боялись говорить... В конце сезона я сделал персональную выставку акварелей, где побывал советский классик Борис Неменский. Он мне многое рассказал о работе с цветом, и это я запомнил на всю жизнь.

Еще к слову об «авангарде». Я написал портрет Гарика Леонтьева, с которым мы были в одном отряде, — написал почему-то на черном фоне, за что Неменский меня поругал. А Гарик Леонтьев — это сейчас Авангард Леонтьев, известный актер, народный артист РФ.

...Академгородок — это не только знак в моем детском творчестве, но и большая школа изобразительного искусства, и дух свободы, существовавший в городке, и художественные выставки, проходившие в Доме ученых: классики советского авангарда, Фальк, Лентулов, Альтман, Шевченко, наши современники — Михай Греку, Олев Субби, Николай Кормашов. А уж выставка Павла Филонова, первая в стране, — это вообще было потрясение!

Мы с моими друзьями из класса художников-оформителей (был тогда такой

в школе № 74) практически каждый день выезжали в Академгородок, наши учителя Виктор Семенов и Василий Кирьянов тоже попали под влияние Филонова, да и Николай Демьянович Грицюк обновил свои работы после знакомства с выставкой... Время было таким ярким! Вечера поэзии, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина (с ней я познакомился в Москве — у нее сохранились очень забавные воспоминания о Новосибирске), Булат Окуджава, побывавший в мастерской Грицюка...

С Александром Зражевским, затанцевавшим меня зачем-то в клуб-кафе «Под интегралом», мы помогали в оформлении фестиваля бардов с участием Галича. Его мы слушали ночью в кинотеатре «Москва» (ныне — ДК «Академия»).

Мы пробовали себя во всем, писали стихи, например, такие, как мой сосед по парте писал: «...Я чуть-чуть на Петрова-Водкина лысый в свитере похожу». Я пошел в литобъединение к Илье Фоминскому при газете «Молодость Сибири», там тогда занимались будущие звезды новосибирской поэзии: Нина Грехова, Нелли Закусина, Иван Овчинников, Валерий Малышев, Александр Плитченко...

Евгений Лазарчук был первым критиком моей подборки стихов — и, когда спустя много лет он вдруг вспомнил какие-то мои строки, я был удивлен.

\* \* \*

После окончания школы я поехал в Москву поступать в «Строгановку» — я видел себя монументалистом. Приехал задолго до экзаменов, потому пошел в Суриковский художественный институт — попробовать себя. В приемной комиссии, посмотрев мои работы, предложили поступать на графику. Был грандиозный просмотр работ абитуриентов (74 человека на место) — в основном выпускников художественных училищ. В комиссии, ознакомившись с моими картинками, рекомендовали мне все же

поступать на монументальное отделение «Строгановки».

У меня не было необходимых для допуска к экзаменам рисунков обнаженной натуры. Я не особенно расстроился и отправился в Строгановское училище, где и намеревался учиться. Посмотрели мои работы и говорят: «Хорошо, нам такие ребята нужны. А где рисунки обнаженной натуры?» Естественно, в школе мы обнаженку не рисовали, и я ушел в надежде подумать, как жить дальше.

По дороге к метро догоняет меня какой-то пацан и предлагает мне свои рисунки, — видимо, чем-то я ему понравился. А я такой честный, провинциальный мальчик, говорю: «Нет, я сам нарисую!» С горя пошел на Всесоюзную выставку в Манеж, где воодушевился картинами Евсея Евсеевича Моисеенко и свердловских художников Мосина и Брусиловского. Мощно! Еще больше захотелось стать художником. Побродил по Москве, погрустил и решил, хорошо подготовившись и порисовав обнаженку, поступать на следующий год.

Мне было тогда 17 лет, поэтому практически сразу же по приезде домой позвонили из военкомата и предложили поступать в артиллерийское училище, но я сказал, что поступаю в Сибстрин и на следующее утро помчался подавать документы в институт.

Экзамены сдал успешно, хотя готовиться не было времени. Но я был весьма самоуверенным: я ведь ездил в Москву!

Первое время учился не очень охотно, как бы коротая время и рассчитывая на следующий год опять ехать в «Строгановку». Рисовал много, ходил в мастерские к художникам — чаще всего к Семёнову, Наседкину, Грицюку, — это и были мои основные уроки. Но, нахватав двоек, напрягся и все экзамены сдал, а во втором семестре начал привыкать к архитектуре, узнав, что иногда архитекторы тоже становятся художниками. На следующий год никуда не поехал, все лето писал город-

ские этюды, абсолютно следуя Грицюку, бегая по тем же местам, где и он писал свои работы, а уже со второго курса института я начал участвовать в профессиональных выставках. Первая — зональная выставка «Сибирь социалистическая» в Омске. Мне даже грамоту секретариата вручили как самому молодому участнику. Я сдавал экзамены по высшей математике, сопромату, писал акварели, темперы, участвовал во всех областных выставках. Диплом защищал проектом «Дом знаний в Новосибирске» совместно с Яковом Яковлевым — будущим прекрасным офортисмом и не менее прекрасным епископом Иннокентием.

После защиты диплома мы с Яковом остались преподавать на кафедре рисунка в Сибстрине — пять лет работали и участвовали в выставках Союза художников, вступили в Союз. Тогда это было непросто, ведь мы не были выпускниками художественного вуза. Яков занялся офортом, хотя ему предсказывали путь живописца, а я стал живописцем, а не графиком — вопреки тем же пророчествам. Наше замечательное государство обратило внимание на молодых художников — создавались молодежные объединения, устраивались большие выставки.

\* \* \*

Примерно в 1974 г. мы с Виктором Бухаровым были приглашены для работы во всесоюзный Дом творчества «Сенеж» в Подмосковье, где когда-то была дача Левитана. Работали с молодыми художниками со всего Советского Союза. Руководили творческими группами известные художники Игорь Обросов, Олег Вуколов, Николай Ерышев и другие мастера. Много лет мы работали в «Сенеже», познакомились со многими художниками из союзных республик — теперь друзья у меня по всему свету. До «Сенежа» я в основном работал разными материалами по бумаге. Бумага — это графический материал, а в «Сенеже» я перешел на холст

и сразу же стал живописцем. Первая моя большая картина — «Мост», которую я шутя называю своим «Купанием красного коня».

Красный цвет преобладает в картине, придавая ей повышенную декоративность и монументальную значимость. Сейчас эта картина находится в краеведческом музее, и я ее непременно показываю на всех персональных выставках. Она — предтеча моих дальнейших индустриальных картин. Красный цвет я использую достаточно часто для выявления каких-то знаковых мест и ситуаций.

\* \* \*

Самая большая моя картина, одна из последних работ советского периода, — «Дорога». После всесоюзной выставки была оставлена на закупку Министерства культуры СССР. Но рухнуло все: Советский Союз, Министерство культуры, грандиозные замыслы... Задумано было много, но жизнь распорядилась по-своему. Мне удалось вернуть эту работу в мастерскую, и я счастлив, что сохранил картину из моей в то время активной творческой жизни — сохранил нечто значимое, что должно было стать отправной точкой для движения дальше. Даже название картины символичное! Сейчас она у меня и изредка покидает мастерскую, участвуя в больших выставках, поддерживает меня в работе — есть на что равняться.

Когда я делал свою первую большую юбилейную выставку в Новосибирске в 1987 г., мне удалось собрать большинство моих работ из разных музеев. Музей Министерства внутренних дел, ставший собственником моей картины «Дорога на Уренгой» (за нее я получил в 1981 г. премию Ленинского комсомола), не выдал ее на выставку, аргументировав это тем, что в их залах народа бывает значительно больше, чем в провинциальных музеях. Наверное, они были по-своему правы...

«Дорога» — это триптих; по большой стороне — более четырех метров. Центральная часть приспущена ниже основной линии, что позволяет главному герою картины, стоящему на коленях и выверяющему качество уложенных рельсов, притягивать к себе внимание зрителей. «Дорога» здесь понятие знаковое, хотя толчком для создания картины послужил банальный ремонт трамвайных путей на Коммунальном мосту. Один из героев четырежды возникает в картине, создавая внутреннее движение к линии горизонта, отсчитывая метры проделанной работы. Впервые я использовал такой прием повторов. Но главный герой — на коленях! Это вызывало множество споров о правомерности такого шага, ведь в картинах того времени обычно использовался прием предстояния главного героя.

\* \* \*

Основной прием, используемый мной в картинах, — монтаж разновременных ситуаций, своеобразный «документальный фильм» на холсте, позволяющий развить сюжет во времени.

Впервые я использовал этот прием в панно «Нефть Сибири» — совместной работе с Виктором Бухаровым для республиканской молодежной выставки 1976 г. в Москве. Наверное, теперь, спустя более сорока лет, в таких приемах уже нет ничего необычного — все изменилось и в жизни, и в технологии, широко используется компьютер, а уж реклама и давно заполонила наше сознание различными трюками...

В панно в единый организм слились разновременные факты и понятия: завод, прокладка трубопровода, фрагмент нефтешки, пейзаж, рабочие, движущиеся по холсту и исполненные почти в натуральную величину. Размер впечатляющий — более четырех метров. Все линии сходятся в одну точку, получается некий клин, вгрызающийся в неизведанный северный пейзаж. Освоение! Эскиз этого

панно — своего рода архитектурный проект, отголосок архитектурного образования.

Эту работу мы вынуждены были сделать в кратчайшие сроки — ЦК ВЛКСМ предложил нам написать панно к открытию молодежной выставки. Для выполнения этой работы нас и пригласили в Дом творчества «Сенеж». Но пока суть да дело, «добрые люди» отправили письмоцо в вышестоящие инстанции, что, мол, этим художникам, подверженным чуждым влияниям Запада, нельзя доверять такую ответственную работу, — и ЦК комсомола нам отказал! Но Союз художников СССР, Молодежная комиссия, секретарь СХ СССР Обросов Игорь Павлович нас поддержали, и с нами был заключен договор на создание этого панно и еще нескольких произведений.

Мои картины «Артерии Нефтехима» и «Хозяйка» были опубликованы в альбоме «Молодые живописцы 1970-х годов» и в журнале «Юность». Сейчас, возвращаясь к работам художников из этого альбома, видишь их вклад в советское искусство. Многие из них стали классиками, кого-то уже нет. Но живут их картины!

Панно «Нефть Сибири» мы написали за месяц. Работали днем и ночью, буквально засыпая за холстом: ткнешься пальцами в краску, глаза открыл и дальше — побеждать...

Открытие выставки проходило на фоне нашего панно. Нам даже вручили третью премию на республиканской выставке, а через пару месяцев на всесоюзной выставке наградили уже первой премией — после того, как комиссия ЦК партии положительно отнеслась к нашей работе (это к вопросу об идеологии). Бывали разного рода казусы и на других выставках: мы все время что-то и кому-то доказывали, но прежде всего, конечно, доказывали себе, утверждаясь в правоте своих принципов и поисков. Это было время, когда молодежь значительно

расширяла рамки искусства, и мы были в этих рядах. Панно «Нефть Сибири» — это прорыв в моем творчестве в понимании масштаба произведения.

Другая монтажная композиция — картина «Подъем водолаза» — из наблюдений на строительстве Димитровского моста, который не единожды становился темой моих картин того времени. Я всю картину разделил на кадры: вот появляется из воды скафандр водолаза, вот он уже весь виден над поверхностью воды, над замерзшими оголовками свай, вот он уже взлетает на фоне темной опоры моста и напоминает космонавта. И вот его встречают рабочие, и я, продолжая идею космоса, окрашиваю водолазное снаряжение в красный цвет и торжественно принимаю его возвращение на землю. И последний кадр — водолаз без шлема: обыкновенный наш мужик, но герой, но победитель!

\* \* \*

В том же году мы с обкомом комсомола пытались сделать портретную галерею передовых комсомольцев, и я пишу портрет токаря Лузина, но галерея не нашла продолжения, а написанные портреты были переданы в художественный музей. Спустя два года журнал «Юность» отправил меня в командировку на строительство железной дороги Сургут — Уренгой для создания портретов молодых передовиков. Там я познакомился с замечательными парнями из бригады монтеров пути под руководством Виктора Молозина, Героя Социалистического Труда.

Я видел, как здорово они работают, видел их энтузиазм и сначала подумал, что это показательное выступление для меня, но и завтра, и послезавтра парни продолжали работать в том же ритме, монтировать пути, продвигаться к Уренгою. Они гордились своей стройкой, считали, что они лучше, чем строители БАМа. Возможно! И для меня они стали настоящими — я написал заказные

портреты Молозина, Журавского, Волчка, Мозгового. Таким было задание... Но потом, вернувшись домой, все время мысленно возвращался к ним, и у меня возникло чувство, что я должен нарисовать эту стройку — и я сделал картину: там был Молозин и еще трое парней (один из них — новосибирец), которые вошли в нее любительским кадром, черно-белым, слегка размытым. И дружный порыв бригады, и их движение к горизонту, а дальше за горизонтом — пунктирная линия до Уренгоя. Это было новое решение темы, новое мое открытие, которое не все принимали, но отмечали довольно часто в различных изданиях и на выставках.

Портреты я показал художественному совету в Новосибирске. Мои коллеги сочли, что к искусству мои портреты никакого отношения не имеют, рисовать я не умею, а о композиции и говорить нечего. В знак протеста я отправил свои картины на Всероссийскую выставку «Мы строим БАМ», где портреты были приняты, экспонировались и даже были опубликованы в каталоге. Сейчас один из них находится в частной коллекции в Италии. Это как раз эпизод внутренних проблем, которые в то время были в новосибирском Союзе художников. И не случайно через несколько лет наш местный Союз разделился на два: повоевали, попортили друг другу нервы и разошлись. Живем теперь вполне миролюбиво. Надеюсь, другу другу не мешаем...

\* \* \*

Во многих картинах есть некий тайный смысл, который зритель должен разгадать, тогда встреча с картиной будет содержательной. Я берусь за картину, если она открывает для меня какую-то новую грань, — тогда мне ее и делать интересно, и есть новая высота, которую надо преодолеть. Когда-то я написал в статье для журнала «Искусство», что каждая картина имеет свою формулу, которую

необходимо выстрадать, вывести из своего предшествующего опыта, и доказать адекватность идеи формой.

Побудительных мотива у художника два: первый — переполненность каким-либо фактом (или группой фактов), заставляющим поделиться им со зрителем. Второй, вытекающий из первого, — необходимость физической фиксации этого факта в зримых образах с помощью пластических средств, понятных зрителю.

\* \* \*

Оглядываясь назад, вспоминаешь картины, за которые не стыдно, которые вызвали интерес зрителей и искусствоведов: это и уже упомянутые работы, и «Бригада» — о нефтяниках из Северного района НСО (находится в Комсомольске-на-Амуре), и «Сибирские нефтяники» — наиболее часто репродуцируемая в журналах и альбомах картина (в Кемеровском художественном музее), «Обь» — в Волгоградском художественном музее, «Верховые» — в свое время репродуцирована в журнале «Огонек», а тогда это было очень почетно, «Метро для Новосибирска» — в Новосибирском художественном музее, «Формула хлеба» — в мемориальном музее Ю. А. Гагарина и «Ответственные за хлеб» (это мое знакомство с ВАСХНИЛ) — в Америке, «Большие гонки» — в Великобритании, в коллекции лорда Б. Монтгомери (это мотогонки у Коммунального моста в Новосибирске), а работа «Большой город» закуплена Министерством культуры России...

Из последних — «День бега» (за этот полиптих я получил премию Н. Д. Грицюка на выставке «Красный проспект») и «Гнездо», которая осталась после выставки в Музее изобразительных искусств в Бишкеке.

Это, конечно, далеко не все. Я хоть и представляю себя человеком ленивым, за пятьдесят лет творческой деятельности кое-что сделал и кое-чего достиг.

Многие картины живут отдельно от меня в других городах, а некоторые и в других странах — в музеях, частных коллекциях. Почему я говорю «живут»? Потому что каждая из них (я имею в виду большие картины) — это часть жизни. К примеру, делаешь зимнюю картину, вживаешься в нее, а потом выходишь из мастерской, а на улице — лето. Или наоборот, что еще хуже...

Как бы хотелось увидеть свои картины чужими глазами! Видит ли зритель то, что ты вкладываешь, то, что ты чувствуешь?

\* \* \*

Практически со времени знакомства с творчеством Николая Демьяновича Грицюка, с выставки Павла Филонова в новосибирском Академгородке, с поездок на акварельные практики со студентами в Прибалтику я постоянно делал и делаю абстрактные работы. Для меня это эксперимент, иногда — отдых от большой картины, такой цветовой выхлоп из реалистической четкой выветренности делаемой композиции. Они бывают маленькие, большие, темперой, маслом... Скорее, они приближаются к супрематизму. Достаточно часто все-таки в них просматривается какой-то сюжет.

Вот картина «Ночной город» — город ночью загадочный и таинственный, с рекламными огнями и огнями движущихся машин: где-то абсолютно черный, а где-то ярко сияют освещенные фасады, где-то узнаваемый, а где-то — пугающий. Свободная композиция выполнена пастозно мастихином. Стихия цвета и ритмов. То ли это абстракция, то ли реальная городская неразбериха.

Я сделал много абстрактных картин, удачных и не очень, — и думаю, мог бы стать хорошим абстракционистом, если бы довольствовался минимумом задач абстрактной живописи.

Наиболее удачной из этого ряда я считаю картину «Советская икона». По



старой иконе динамичной диагональю проложена новая — «Рабочий и колхозница» В. И. Мухиной, ставшая символом социализма. Она выполнена в ритмах супрематизма. Зрители пока еще узнают этот символ, но и для моего творчества он может служить логотипом.

В пару этой картине я сделал «Торжественный выход», идея которого родилась во время пребывания в Америке. Обе картины повторялись трижды. Такой живописный рефрен на советское «Все выше, и выше, и выше».

Единственный раз я показывал эти картины полностью, именно в этой концепции в Центральном доме художника в Москве — такой большой стены в других залах не было, поэтому и возможности не было, да и картины разбрелись по разным местам и даже странам. Потом я несколько раз делал повторы: есть энтузиасты, которым этот сюжет близок.

Одновременно у меня появляется цикл картин с названием «Закрытые картины». Я трактую их как мои несозданные картины, закрытые от глаз зрителей. Время было такое — развал страны, многие идеи канули в Лету, и это по своей сути тоже были «обманки», но некоторые зрители и даже искусствоведы принимали их всерьез. Предполагалось, что я сделаю целую выставку, и даже планировался зал в Москве. Я должен был сделать порядка пятидесяти таких картин, но жизнь всегда корректирует базовые идеи: удалось собрать всего штук двадцать на персональной выставке в Кемеровском художественном музее. Выглядело забавно; и периодически я к этому циклу возвращаюсь. Последний такой объект застрял в Бишкеке. Название картин: «Объект I», «Объект II», «Объект III» и т. д., что своей неопределенностью погружает зрителей в раздумье.

\* \* \*

Достаточно большой цикл абстрактных картин появился в «замечательные»

1990-е гг., во время развала Советского Союза, когда государство отодвинулось от художников. Художники были востребованы и были уважаемы, когда было нужно их участие в идеологическом процессе. Правда, сейчас журналисты любят привирать, рассказывая о том времени.

Да, мы участвовали в художественном оформлении праздников, делали огромные плакаты для площадей, писали портреты вождей и членов Политбюро, создавали картины и монументальное оформление для Дворцов культуры, т. е. участвовали в формировании жизненной среды наших современников, — но это была и система зарабатывания денег, это был социальный заказ. Работы принимались художественными советами творческо-производственных комбинатов, потому качество произведений было достаточно высоким. Но никто нас не обязывал работать на комбинате: хочешь — работай, а на нет и суда нет...

И я тоже писал заказные картины через комбинат: пейзажи, сказки для детских садиков, картины «Прием в комсомол», «Праздник урожая», натюрморты для столовых, «Ленин с крестьянами», «Ленин с детьми». Нужно зарабатывать — зарабатывай, но заказные вещи практически никто не показывал на выставках. Существовало как бы два искусства: для выставок (а стало быть, для себя) и для зарплаты. Конечно, были и исключения. В любом случае к работе относились ответственно.

Выставки собирали только творческие работы — и вот здесь было все свое, родное, с чем мучились, экспериментировали, создавали собственное «я». Перед всесоюзными выставками произведения проходили через сито выставкомов: областных, зональных, республиканских и всесоюзных, поэтому всесоюзные смотры были настоящим событием, да и у художника была гордость за экспонирование работы рядом с Кремлем, в Манеже, а уж если они воспроизводились или при-

обретались, то это уже настоящее признание! Сейчас хотелось бы собрать все созданные картины вместе и посмотреть на результат своей жизни...

\* \* \*

Никто и никогда (как пытаются некоторые представить) не заставлял меня делать картины на индустриальные темы. Это было мое понимание искусства, мой вклад в искусство. Это был мой интерес, отчасти — архитектурное образование и жизненный опыт. Я жил в эпоху преобразований. Из этих впечатлений я и складывался как художник.

В начале нынешнего года я сделал крупную выставку в Новосибирском государственном художественном музее, показал результаты за пятьдесят лет творческой деятельности — более 200 работ. Конечно, это далеко не всё, но, по крайней мере, зрители могли увидеть картины и графику, дающие представление о моих размышлениях о жизни, об искусстве, о людях, с которыми я встречался. Жаль, конечно, что сейчас невозможно собрать произведения из разных коллекций — было бы самому интересно охватить все периоды творчества, поскольку творчество — это дневник, который можно читать и перечитывать заново, вспоминая, что происходило вокруг или стало событием твоей картины.

В экспозиции выставки были и портреты выдающихся новосибирцев. На мой взгляд, самая интересная работа этого цикла — портрет Николая Демьяновича Грицюка, художника, к творчеству которого я отношусь с большим пиететом, считаю его своим учителем.

В проект вошли и несколько портретов писателей: Владимира Зазубри-

на — одного из первых редакторов журнала «Сибирские огни», автора страшного романа «Щепка», расстрелянного в 1937 г., поэтому я пишу его стоящим у стены; Сергея Залыгина, главного редактора любимого в советское время журнала «Новый мир»; Николая Самохина, с которым мы познакомились и общались в мастерской Николая Грицюка; Анатолия Иванова, друга моего отца и соседа по даче, которому в детстве я выбил окна на веранде, за что он надрал мне уши. Приятно, когда это делает автор «Повители», а потом уже автор знаменитых романов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», лауреат Государственной премии и Герой Социалистического Труда.

\* \* \*

Художник Анатолий Николаевич Никольский не так давно привлек меня к поездке в Китай на международный фестиваль «Рисуем озеро Си-Ху» в Ханчжоу. Потом я побывал в Пекине, Нанкине, Шанхае, Харбине, где стал академиком Китайско-Российской академии художеств. Ну и поскольку китайцы предпочитают российский пейзаж — я все чаще обращаюсь к сельскому пейзажу. Видимо, впадаю в детство, в котором мечтал стать великим пейзажистом. Поэтому вспоминаются строки: «Я поэт до корней волос, а волосы вылезут — стану прозаиком». Но это, конечно, шутка — я все равно предпочитаю городской или индустриальный пейзаж.

...Коротко я подписываю свои картины: ОК и год создания. Кто-то видит за этим популярное «окей», то есть «все хорошо» — наверное, и правда, все хорошо.

*Записала Светлана Фролова*



## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2018 ГОД

### ПРОЗА

- Башкуев Геннадий.** Чемодан из Хайлара. Роман с одушевленными предметами. — 4, 5, 6.
- Бимаев Анатолий.** Великое посольство профессора Петрова. Рассказ. — 4.
- Блынская Екатерина.** Змий огнярый. Повесть. — 6.
- Бушуева Мария.** Кукольная старушка. Рассказы. — 12.
- Васильев Иван.** Горчаков в городах. Рассказ. — 3.
- Вегнер Александр.** Трудармия. Повесть. — 10, 11.
- Виський Юрий.** Солнце и Ночка. Рассказ. — 9.
- Владимиров Сергей.** Дама с чемоданом. Рассказ. — 11.
- Гильдина Эльза.** Чекаданов и Расчектаева. Рассказы. — 8.
- Делия Полина.** Любовь, это вы? Рассказ. — 12.
- Денисенко Александр.** Любить полным ответом. Рассказы. — 3.
- Денисова Полина.** Выкидыш. Рассказ. — 4.
- Егельский Святослав.** Музыка за стеной. Рассказ. — 3.
- Елизарова Наталья.** Плачущий Будда. Рассказ. — 4.
- Зарубин Дмитрий.** Пасха в Столбище. Рассказ. — 9.
- Злобин Владимир.** Как скрипит горох. Рассказ. — 4.
- Иваськова Ирина.** Время красных птиц. Рассказ. — 10.
- Игнатъев Андрей.** Облака на том берегу. Рассказ. — 7.
- Качемасов Всеволод.** Чернуха. Киноповесть. — 9.
- Козлов Юрий.** Белая буква. Повесть. — 1.
- Корниенко Игорь.** Шнурок. Рассказ. — 11.
- Короткова Наталья.** По долинам и по взгорьям. Повествование в рассказах. — 11.
- Кузичкин Сергей.** Рая, Ада и чистильщик. Рассказ. — 3.
- Кулишкин Георгий.** Сила жизни. Рассказы. — 12.
- Кунцын Владимир.** Две женщины. Рассказы. — 3.
- Лаванов Евгений.** В поезде времени. Рассказы. — 10.
- Лаптев Александр.** Отец. Повесть. — 8.
- Лобанова Елена.** Женщина в платье «коктейль». Рассказ. — 6.
- Луцкий Сергей.** Десяток ротанов на японской леске. Рассказ. — 12.
- Мамонтов Евгений.** А потом поедem в Ялту. Повесть. — 7.
- Москвин Игорь.** Несколько мгновений истории. Миниатюры. — 2.
- Мухачёв Антон.** Два глотка. Рассказы. — 2.
- Назаров Игорь.** Полет муниципальной птицы. Рассказ. — 11.
- Омаров Руслан.** В тени капустного листа. Рассказы. — 12.
- Палий Алексей.** Жизнь собачья. Рассказ. — 4.
- Петрова Валентина.** Птича. Рассказ. — 9.
- Поздняков Андрей.** В машине. Рассказ. — 9.
- Самохин Николай.** Любовь без мягкого знака. Маленькая повесть. — 5.
- Сапрыкина Татьяна.** Померанец. Рассказ. — 5.
- Сенчин Роман.** Банальщина. Рассказ. — 8.
- Слесарев Сергей.** Дурная война. Рассказ. — 12.
- Смирнов Михаил.** Позднее возвращение. Рассказ. — 5.
- Соловьев Алексей.** Птичий спорт. Рассказ. — 4.
- Стародубцева Мария.** Остров преткновения. Рассказ. — 10.

- Тарковский Михаил. Что скажет солнышко? Повесть. — 1, 2.  
 Титов Александр. Страсти по картошке. Рассказ. — 9.  
 Фофин Юрий. Проснешься ночью... Рассказ. — 10.  
 Хайрюзов Валерий. Бараба. Повесть. — 3.  
 Шалашова Александра. Почему у нас не было детей. Рассказ. — 9.  
 Шахназаров Давид. Гора. Рассказ. — 4.  
 Швецова Мария. Истоки. Рассказы. — 5.  
 Шелленберг Вероника. Жертва. Рассказ. — 5.  
 Шор Леонид. Дядя Сергей. Рассказ. — 12.

## ПОЭЗИЯ

- Аникина Ольга. До чебуречной. Стихи. — 9.  
 Антонов Андрей. Ода региональному поэту. Стихи. — 11.  
 Берязев Владимир. «Я устал забывать имена...» Стихи. — 4.  
 Болдырев Андрей. Чужих речей абракадабра. Стихи. — 7.  
 Домрачева Инна. «Копилась в воздухе вода...» Стихи. — 1.  
 Домрачева Ольга. Красный яр. Стихи. — 11.  
 Дьячков Алексей. Откос и облако в реке. Стихи. — 9.  
 Зулкарнаева Сагидаш. Прощание с пернатыми. Стихи. — 3.  
 Ибрагимов Александр. Одна вторая. Стихи. — 3.  
 Ивантер Алексей. «Из тех времен, где Волга-Волга...» Стихи. — 7.  
 Исакжанов Дмитрий. Сны с четверга на пятницу. Стихи. — 12.  
 Кармалита Кристина. Место теней. Стихи. — 12.  
 Кекова Светлана. «Бабочка бьется в стекло...» Стихи. — 5.  
 Коврижных Виктор. «За горьким хлебом в холода...» Стихи. — 10.  
 Комаров Константин. «Давай поговорим нарядно...» Стихи. — 9.  
 Краснов Борис. Облака на воздушном ходу. Стихи. — 7.  
 Куравский Павел. «Я патриот придуманных миров...» Стихи. — 10.  
 Куртмазова Ирина. «Вот покидают город птицы...» Стихи. — 1.  
 Легеза Дмитрий. Последний белый носорог. Стихи. — 11.  
 Ливинский Станислав. Белый дым. Стихи. — 3.  
 Мелодьев Мартин. Красный проспект. Стихи. — 3.  
 Михня Святослав. «Июля крапивное жженье...» Стихи. — 2.  
 Муханов Игорь. «...Все то, что существует без названия». Стихи. — 4.  
 Нацентов Василий. Убитые птицы полей. Стихи. — 7.  
 Немарская Марина. Сергород. Стихи. — 6.  
 Нервин Валентин. В кинотеатре повторного фильма. Стихи. — 6.  
 Новиков Андрей. На солнечной оси. Стихи. — 8.  
 Ноянов Никита. «Я патриот придуманных миров...» Стихи. — 10.  
 Павловская Анна. Неоткрытый космос. Стихи. — 1. В двух мирах. Стихи. — 11.  
 Переверзин Иван. «Не зря замолкли соловьи...» Стихи. — 10.  
 Подистова Лариса. Красный проспект. Стихи. — 3.  
 Полторацкий Иван. Советские стихи. Стихи. — 5.  
 Пузыревская Надежда. Красный проспект. Стихи. — 3.  
 Радашкевич Александр. На Эоловых островах. Стихи. — 4.  
 Рантович Михаил. «Я патриот придуманных миров...» Стихи. — 10.  
 Руденко Александр. Полюнь, полюнь... Стихи. — 9.  
 Румянцев Дмитрий. Ночные радиостанции. Стихи. — 6.  
 Рысенков Василий. Срок давности. Стихи. — 5.  
 Сайдаков Виктор. Снегирь. Стихи. — 2.  
 Сапрыкина Серафима. Нестрашный пока еще суд. Стихи. — 1.

- Теплякова Мария. «Господи, я трава...» Стихи. — 2.  
 Францев Александр. С краю империи. Стихи. — 8.  
 Хлебников Олег. «...С миром расставаться не обязан». Стихи. — 12.  
 Чемякин Евгений. Ласточка на балконе. Стихи. — 10.  
 Четвергова Ирина. «Я патриот придуманных миров...» Стихи. — 10.  
 Шевченко Ганна. Городские сезоны. Стихи. — 12.  
 Шелленберг Вероника. Снегопад в апреле. Стихи. — 4.  
 Шмакович Олеся. «Я патриот придуманных миров...» Стихи. — 10.

## ДРАМАТУРГИЯ

- Гортман Кристина. Угольная пыль. Пьеса. — 10.  
 Кузнецова Надежда. Почтальон не приходит в субботу. Пьеса в двух действиях. — 7.

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Зазубрин Владимир. Подкоп. Драма в четырех действиях, восьми картинах. — 2.  
 Магалиф Юрий. «Я все это видел и все это знаю...» Стихи. — 6.  
 Плитченко Александр. Дальнее синее море. Стихи. — 5.  
 Прашкевич Геннадий. Юрий Магалиф: писатель градообразующий. — 6.  
 Яранцев Владимир. Пьеса Владимира Зазубрина «Подкоп»: эпилог судьбы. — 2.

## ЖУРНАЛЬНЫЙ МИР

- Аргунов Алексей. Советский рок как социальное явление. — 6.  
 Высоцкая Татьяна. Памятник Маяковскому: люди, судьбы, эпоха. — 6.  
 Григорьева Ольга. «Звуки всех земных имен...» Стихи. — 8.  
 Денисенко Иван. «Звуки всех земных имен...» Стихи. — 8.  
 Ключанский Андрей. «Звуки всех земных имен...» Стихи. — 8.  
 Кордзахия Евгения. «Звуки всех земных имен...» Стихи. — 8.  
 Кузин Михаил. «Звуки всех земных имен...» Стихи. — 8.  
 Кузнецов Николай. «Звуки всех земных имен...» Стихи. — 8.  
 Лизунов Александр. «Звуки всех земных имен...» Стихи. — 8.  
 Румянцев Дмитрий. «Звуки всех земных имен...» Стихи. — 8.  
 Шелленберг Вероника. «Звуки всех земных имен...» Стихи. — 8.

## ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Алексеев Владимир. Слово о книгах, нарицаемых «редкие», и о судьбе их в стольном граде Новосибирске. К 50-летию Отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН. — 1.  
 Бусаргина Тамара. Вы снова здесь, изменчивые тени... Воспоминания о писателе Глебе Пакулове и других. — 8.  
 Гапоненко Константин. Праздник. Из жизни советской школы. — 1. Наши вернулись! — 5.  
 Гилева Екатерина, Гилев Александр. Ехать до тех пор, пока не кончится материк. — 12.  
 Глазов Анатолий. Чайки над свалкой. Чешские записки украинского батрака. — 9, 10, 11.  
 Заплавный Сергей. «Непроливашка» Липатова. — 4.  
 Копнинов Валерий. Ностальгия по настоящему. — 11.  
 Косарев Михаил. Поэзия «вх.» и «исх.». Фельетон в документах. — 11.  
 Косоуров Виктор. Все возвращается. Главы из книги. — 3.

- Подистов Андрей, Подистова Лариса.** Музыка и человечность. *Песня жизни Алексея Бороздина.* — 3.
- Прашкевич Геннадий, Соловьев Сергей.** Дуче. *Главы из книги.* — 7, 8, 9.
- Сараев Александр.** Генерал и губернатор. — 8.
- Сидоров (Амгин) Олег.** «Мной оставленные песни в столетиях сохранит народ...»  
О Платоне Ойунском. — 4.
- Скиф Владимир.** С байкальских берегов. О Леониде Бородине. — 7.
- Спивак Михаил.** Кристально чистый коммунизм. — 1.
- Узденский Анатолий.** Закадровый текст. *Актерские байки.* — 2.
- Фомичев Александр, Яковлев Роман.** Путешествие сибирских зоологов в Ирак. — 11, 12.
- Хлебников Михаил.** «Не бойтесь хвалы, не бойтесь хулы...» — 6.

## КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Измайлов Руслан, Кекова Светлана.** Крест и звезда. Духовные смыслы русской поэзии XX века. — 12.
- Китаева Мария.** Опередивший время. О двух самых известных произведениях А. Ф. Писемского. — 3.
- Куняев Сергей.** Русский беркут. *Главы из книги.* — 5, 6.
- Полежаев Олег.** К вопросу о поэтической критике. — 9.
- Хлебников Михаил.** В ожидании топота «боевых лосей». — 4. В поисках потерянной конгруэнтности. — 9. «Продолжал отстаивать свои ошибочные взгляды...» К истории одного забытого романа. — 12.

## КНИЖНАЯ ПОЛКА

- Никифоров Владимир.** Русский хор Геннадия Прашкевича. — 2.
- Подистова Лариса.** «Книжная Сибирь». — 2. В поисках главного смысла. — 4.
- Страхов Валентин.** «Зеленое море тайги» и его лоцманы. — 10.

## ИЗ ПОЧТЫ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

- Владимиров Сергей.** День Сибири: забытый праздник. — 6.
- Грунэ Татьяна.** Оптимистическая трагедия. — 1.

## КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

- Бусаргина Тамара.** О творчестве Евгения Богомолова. — 7. Вселенная Льва Серикова. — 11.
- Драница Тамара.** Заметки об экзистенциальном реализме Александра Москвитина. — 1. Иркутский портрет. — 3. Аркадий Гутерзон. — 4. Анатолий Аносов. — 6.
- Клушин Александр.** Искусство портрета Николая Смолина. — 10.
- Мосиенко Сергей.** О блондинках и ангелах Александра Шурица. — 5.
- «Нужна сказка, нужна былина...» *Беседа с художником Александром Кучерявенко.* — 8.
- Сюжет во времени.** *Беседа с художником Михаилом Омбыш-Кузнецовым.* — 12.
- Умбра Максим.** Сибирская палитра Николая Долгова. — 2.
- Чирков Владимир.** Георгий Кичигин и его «Фотоальбом деда». — 9.

## АВТОРЫ НОМЕРА

**Бушуева (Китаева) Мария** — прозаик, критик, автор нескольких книг, многочисленных публикаций в журналах и сетевой периодике. Окончила Высшие литературные курсы и аспирантуру Литературного института. Лауреат премии журнала «Зинзивер» (2017), вошла в лонг-лист международной премии им. Ф. Искандера (2016). Член Союза писателей России. Живет в Москве.

**Гилев Александр Юрьевич** родился в 1986 г. в Новосибирске. Окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Социолог, старший преподаватель кафедры социологии, политологии и психологии СибГУТИ. Живет в Новосибирске.

**Гилева Екатерина Валерьевна** родилась в 1985 г. в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный технический университет. Кандидат филологических наук. Доцент Новосибирского государственного технического университета и Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Автор трех книг прозы и поэзии. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

**Делая Полина Владиславовна** родилась в 1990 г. в Астрахани. Окончила Европейский университет в Санкт-Петербурге. Работала инженером, копирайтером, фотографом, маркетологом, журналистом. Живет в Милане.

**Измайлов Руслан Равилович** родился в с. Рошати Аркадакского района Саратовской области. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета. Кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин в Саратовской государственной консерватории. Автор ряда книг о теологии поэзии. Член Союза российских писателей. Живет в Саратове.

**Исакжанов Дмитрий Константинович** родился в 1970 г. в Омске. Окончил Омскую юридическую академию МВД РФ. Публиковался в журналах «Новая Юность», «Арион», «Крещатик» и др. Автор одной поэтической книги и одной книги прозы. Лауреат литературной премии им. Марка Алданова (2016).

**Кармалита Кристина Евгеньевна** родилась в 1984 г. в Новосибирске. Окончила сценарный факультет ВГИК. Стихи и пьесы публиковались в журналах «Сибирские огни», «Наш Современник» и др. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

**Кекова Светлана Васильевна** родилась в 1951 г. на Сахалине. Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета. Доктор филологических наук. Автор более десяти книг стихотворений, литературоведческих книг и статей. Лауреат многих литературных премий. Член Союза российских писателей. Живет в Саратове.

**Кулишкин Георгий Семенович** родился в 1950 г. в Харькове. Окончил филологический факультет Харьковского университета. Работал сапожником, строителем, токарем. Один из учредителей и

главный редактор альманаха «РХ». Публиковался в журналах «Юность», «Дон» и др. Живет в Харькове.

**Луцкий Сергей Артемович** родился в 1945 г. в с. Дзыговка Ямпольского района Винницкой области. Окончил Черновицкий индустриальный техникум и Литературный институт. Работал в Госкомиздате РСФСР, Литературной консультации Правления СП СССР, Министерстве печати РФ. Публиковался в журналах «Юность», «Октябрь» и др. Автор одиннадцати книг прозы. Лауреат ряда литературных премий. Живет в поселке Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

**Омаров Руслан** родился в 1975 г. в Ташкенте. По образованию экономист, специалист по финансовому анализу. Публиковался в журналах «Октябрь» и «Крещатик». Живет во Франции.

**Слесарев Сергей Анатольевич** родился в 1984 г. в г. Ош (Киргизия). Окончил Орловский государственный университет и Московский государственный индустриальный университет. Юрист. Живет в Мценском районе Орловской области.

**Фомичев Александр Анатольевич** родился в 1992 г. Аспирант Алтайского государственного университета. Арахнолог, специалист по фауне и систематике пауков Центральной Азии. Автор более тридцати научных работ. Живет в Барнауле.

**Хлебников Михаил Владимирович** родился в 1974 г. Кандидат философских наук. Автор книг «Теория заговора. Опыт социокультурного исследования» (2012) и «Теория заговора. Историко-философский очерк» (2014). Живет в Новосибирске.

**Хлебников Олег Никитич** родился в 1956 г. в Ижевске. Окончил Ижевский механический институт и Высшие литературные курсы при Литинституте. Кандидат физико-математических наук. Работает в «Новой газете». Автор двенадцати книг стихов и книги мемуаров и эссе. Живет в Переделкине.

**Шевченко Ганна** родилась в 1975 г. в г. Енакиеве Донецкой области. По профессии бухгалтер. Работает редактором в издательстве. Публиковалась в журналах «Арион», «Дружба народов» и др. Лауреат ряда литературных премий. Автор пяти поэтических сборников. Член Союза писателей Москвы. Живет в Подмосковье.

**Шор Леонид Александрович** родился в 1971 г. в Краматорске. Окончил медицинское училище и филологический факультет Ростовского государственного университета. Работает санитаром. Публикуется впервые.

**Яковлев Роман Викторович** родился в 1974 г. в Барнауле. Окончил Алтайский государственный медицинский институт. Энтомолог, специалист по систематике и зоогеографии чешуекрылых. Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Алтайского государственного университета. Автор двенадцати монографий и более двухсот научных работ. Участник и организатор ряда экспедиций в Латинскую Америку, Африку, Монголию, в азиатские регионы России. Живет в Барнауле.



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

### ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [сибирскиеогни.рф](http://сибирскиеогни.рф)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 29.10.2018. Дата выхода № 12 за 2018 г. в свет 03.12.2018.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.